

**Д е н ь**

**П О Э З И Я**

**1968**



19  
День  
поэзии  
68



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1968

*Главный редактор АЛЕКСЕЙ СУРКОВ*

*РЕДКОЛЛЕГИЯ: Олег Дмитриев, Станислав Куняев, Валентин Португалов, Сергей Смирнов, Борис Слуцкий, Владимир Соколов, Александр Михайлов, Владимир Цыбин, Нина Эскович.*

*Художник Д. С. МУХИН*

**1**  
**HOBDE**  
=====



# Александр Яшин

## ИЗ КНИГИ «ДЕНЬ ТВОРЕНЬЯ»

### МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ

В голоде,  
В холоде  
В городе  
Вологде  
Жили мы весело —  
Были мы молоды.

Я со своей богоданной  
Ровесницей  
Под деревянной  
Под жактовской лестницей.

В крошке сторожке,  
В сарае ли — помните?  
Нам-то казалось:  
В отдельной комнате.

Были мы молоды,  
Незапасливы:  
В голоде, в холоде —  
Все-таки счастливы.

Крови давление,  
Сердца биение  
Были нормальными  
На удивление.

Как чудесами  
Кичились крылечками,  
Да туесами,  
Да русскими печками.

Окна в узорах,  
Кровли с подкрылками,  
Охлупни в небе  
С коньками,  
С кобылками.

Не горевали,  
Что рядом на площади  
С сеном, с дровами  
Тонули лошади.

Мы колеи бутили  
Полеьями,  
Мы тротуары мостили  
Каменьями.

И терпеливы были,  
И сметливы,  
Неприхотливы,  
Непривередливы.

Как нам любилось!  
Как улыбалось!  
Самое-самое  
Близким казалось.

Не на «Победах»  
И «Волгах» — где уж там! —  
На велосипедах  
Катали девушек.

И у Матрешек  
Вместо сережек —  
Серпы и молоты,  
А вместо брошек —  
Значки наколоты:  
Ценилось не золото, —  
Мы были молоды!

Что нам мохнатые  
Бобры да пыжики? —  
Гордились ребята  
Буденовкой рыженькой.

Не о зарплате,  
Не о распреде —  
О мировой  
Радели победе.

Не было крова  
Под флагом  
Сутяге.  
Честное слово  
Равнялось присяге.

В голоде,  
В холоде  
Жили мы в Вологде.  
Но были молоды,  
Глупы и молоды!

Ах, до чего же  
Были мы молоды!

## ЧЕГО ЕЩЕ СЕРДЦЕ ПРОСИТ?

Я видел большую воду —  
Апрельский разлив и спад,  
И как журавли в непогоду  
Домой, под обстрел, летят.

Свободна  
И судоходна,  
Как Млечный Путь широка,  
Река, будто пену, к сходям  
Накатывает облака.

Луга замедляет илом,  
Бьет бревнами кручам в грудь...  
Позднее ей не под силу  
И жерновок повернуть.

Я видел, как из-под снега,  
Размытого добега,

Неведомого побега  
Проклевывалась игла.

Подснежников появление,  
Березовых почек рост  
Я сравнивал по значенью  
С рождением новейших звезд.

Жестоких желаний женье,  
Любовь и остуду знал,  
И ненависть, и примиренье,  
Смиряться и бунтовал.

Все видел:  
Весну и осень  
И зиму — во льдах, в снегу.  
Все в памяти берегу.  
Чего еще сердце просит?  
Чему удивляться смогу?

## С ДОБРЫМ УТРОМ!

Я люблю, когда при встрече  
Мы знакомым и родным:  
«С добрым утром!»,  
«Добрый вечер!»,  
«Доброй ночи!» — говорим.

Если к чаю или к обеду  
В дом войдем —  
Не люблю, что ль,  
Поклонясь, сказать соседям:  
«Чай да сахар!»,  
«Хлеб да соль!»

Не от тяги к суесловью  
И сложилось не вчера  
Это братское, с любовью,  
Пожелание здоровья,  
Пожелание добра.

Хорошо и путь-дорогу  
По обычаю начать:  
У родимого порога  
Посидеть и помолчать.

Не спешу с моралью строгой,  
Коль в дорогу кто-нибудь  
По привычке скажет:  
«С богом!»  
«С богом!» — тоже «В добрый  
путь!».

От души желаю счастья  
Всем товарищам своим,  
Молодым — в любви согласья,  
Долголетия — пожилым.

Рыболовам,  
Звероловам —  
Теплой ночи у костра,  
И — богатого улова,  
И — ни пуха ни пера.

Пусть людей во всех заботах  
Ждут удачи и успех,  
Чтоб работалось с охотой  
И гулялось без помех.

Даже стае журавлиной,  
Улетающей от нас,  
По обычаям старинным  
Мы кричим:  
«В счастливый час!»

И живется вроде лучше,  
И на сердце веселей,  
Коль другим благополучья  
Пожелаешь на земле.

## ТАМ НЕБО ВЫШЕ

Снег тает быстро  
В лесу и в поле.  
Он звал нас в Истру,—  
Поедем, что ли?

С ним так недолго  
Мы вместе были,  
Ни слова толком,  
Лишь водку пили.

А с этой дрянью  
Ни вдохновенья,  
Ни пониманья,—  
Одно мученье.

Уж мы проселки  
Пешком прошли бы,  
А там —  
До Волги,  
До свежей рыбы.

Там небо выше,  
Длиннее сутки.  
Над самой крышей  
Летают утки.

Там птичьи свисты  
Тревогу лечат...  
Поедем в Истру,  
Весне навстречу!

## ЭКО ДЕЛО!

Дерево пожелтело.  
С этого началось:  
Что-то в нем задубело,  
Сдвинулось,  
Надорвалось.

Может, слоев смещение,  
Скрытое до поры,  
Как при землетрясенье —  
Складок земной коры?

И потекла живица  
Лавой  
К ногам ствола,  
Чтоб янтарем сгуститься;  
Может, начало зла

Было в безмерном росте:  
К небу вознесено.  
Стронцием-90  
Дерево облучено?

Или жучки-короеды  
Взяли его в полон?..  
Сверху валились беды,  
Снизу,  
Со всех сторон.

Кто-то инициалы  
Вырезал на стволе,  
Сук в снегопад сломало...  
Мало ль какие шквалы  
Гнули его к земле!

Желтые в хвое пятна —  
Желтая сыпь в бору.  
Поналетели дятлы,  
Выстукали кору.

Выдюжит ствол могучий,—  
Жалко его рубить!  
Может, на первый случай  
Следует полечить?

Может, лишь отдыхает,  
Не умирает оно,  
Просто наряд меняет,  
Стужей обожжено?

Просто чуть приболело.  
Справится —  
Не бревно!

Но уже все решено:  
— Дерево?  
Эко дело!  
Лесу вокруг полно,



## СВОЕ ДОБРО

Кончились радости осени. Дождь.  
Небо слезится,  
Тучи, как дым.  
Ты меня в город, домой, зовешь,  
Ждешь, как отходника.  
С возом каким?

Груз мой — корзины да пестери,  
Не из-за моря —  
Свое добро.  
Хочешь, бочонок груздей бери,  
Туес брусники,  
Клюквы ведро.

Как говорят, чем богат, тем и рад.  
Что уродилось,  
То и везу,

Разбогатеть не смог, виноват,  
Не за границами жил — в лесу.

Чем занимался?  
Да просто жил,  
Сил набирался,  
Жил и дышал.  
Рад, что ничьих не вытягивал жил,  
Людям на горло не наступал.

Не говорю, что горе прошло, —  
Свыкся.  
У всякого свой удел.  
Все-таки что-то произошло:  
Тучи, как дым, и дождь,  
А светло.  
Осенью даже лес посветлел.

## ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

...Дописать или оборвать —  
Горе горькое догоревать?  
Сам с собой не всегда в ладу.  
По своей  
Иль чужой вине  
Так живу, как сквозь строй иду,  
Что ни день —  
Горю на огне.

Книга жизни...  
Только ль слова?  
Сколько лет я сижу над ней!  
Пожелтели страницы в ней,  
Как трава в сентябре,  
Как листва,  
Поседела моя голова.  
Но вдвойне дается трудней  
Заключительная глава.



Что сын родной, безгласных зон  
разведчик,  
Там, на переднем космоса краю,  
Всемирной славой, первенством  
навечным  
Сам озаглавит молодость свою.

И неизменен жребий величавый,  
На нем горит печать грядущих дней.  
Что может смерть с такой поделать  
славой?  
Такая даже неподсудна ей.

Она не блекнет за последней гранью,  
Та слава, что на жизненном пути  
Не меньшее, чем подвиг, испытанье, —  
Дай бог еще его перенести.

Все так, все так. Но где во мгле  
забвенной  
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,  
Не тот, венчаный славой нетленной,  
А просто человек среди людей;

Тот свойский парень, озорной и милый,  
Лихой и дельный, с сердцем не скупым,  
Кого еще до всякой славы было  
За что любить, — недаром был любим.

Ни полуслова, ни рукопожатья,  
Ни глаз его с бедовым огоньком  
Под сдвинутым чуть набок козырьком...

Ах, этот день с апрельской благодатью.  
Цветет ветла в кустах над речкой  
Гжатью,  
Где он мальчонком лазил босиком...

## Николай Грибачев

### ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ

1

Было — горе, были — мор и голод,  
Жизнь без смысла, казни без вины.  
И опять ты, шар земной, расколот,  
И дурные знаменья видны.

Не овцой двухглавой, не кометой  
Явлены они. Ах, вовсе нет, —  
Радиоволной, строкой газетной,  
Термоядерным рычаньем недр.

Знаю, знаю — зло добра боится,  
Да к поре ли прописи долбить...  
Что ж там для грядущего таится?  
Как с вопросом — быть или не быть?

Что там, где сиянье голубое  
Спутало прозрений рубежи, —  
Поле маков — или поле боя?  
Поле смерти — или поле ржи?

2

Мы все из атомов, а глубже взять —  
Так вовсе из частиц элементарных.  
Рожденье наше — тайное из тайных,  
А смерть... Нас может и дурак разять!

Удар — и всё. А там, само собой,  
В расплав. И все протесты бесполезны.  
И все же мы, — как будто мы железные! —  
Врываемся в космические бездны,  
С землей и небом принимаем бой.

Включая электронные умы,  
Вплываем мыслью в звездные потоки.  
Так из чего и кто такие мы?  
Не знаем.

Некогда.

Пускай решат потомки!

Седлай, рассвет, зеленого коня,  
Взвивай, заря, малиновое знамя!  
В достатке я потешил душу снами,  
В достатке сил набрался у огня.

Но срок пришел, и перетлели ветки,  
И по росе стучат перепела.  
Не все назад приходят из разведки,  
А мне в разведку трогаться пора.

В разведку — боем и в разведку —  
чувством  
На будничной, без выстрелов, войне.  
Какие грозы зреют в небе чуждом?  
Какие вихри в отчей стороне?

Мне самому не так все это важно,  
Я вдосталь пошумел и пожил всласть,  
И осени, вздыхающей протяжно,  
Передаюсь безбоязно во власть.

Но я за тех, что породил, ответствен:  
Им с нами дом, быть может, малость  
тесен,  
Но мир без нас пустыней может стать.  
И, значит, действуй, жги себя и трать,

Как всем первопроходчикам привычно,  
Иди, ищи, тори тропу первично,  
Пока в последний раз, о том не зная,  
Не ляжешь у последнего огня...

Взвивай, заря, малиновое знамя,  
Седлай, рассвет, зеленого коня!

## Владимир Туркин

### ПЕТРИЩЕВО

Я посетил Петрищево опять:  
У обелиска новый снег лучится...  
Мне никогда, наверно, не понять,  
Как это все могло случиться.  
Ее босую на снегу пытали.  
И где ступала теплая нога,  
Не только здесь — по всей земле  
растаять,

Расплавиться должны были снега.  
Ее водили по сугробам этим.  
В лицо хлестал ей ветер до утра...  
Не только здесь — на целом белом свете  
В ту ночь должны были свистеть ветра.  
Ее босую по снегу водили —  
Лишилось человечество стыда...  
Все парни, всех фронтов и всех  
флотилий,

Должны бы были ринуться сюда.  
Мы не успели... Санные полозья  
По снегу проложили новый след.  
Петрищево... Здесь все еще морозит  
С той черной ночи двадцать с лишним  
лет.

Но ей уже не холодно. Она  
Застыла, превратившаяся в камень,  
Со связанными тонкими руками,  
По-прежнему вперед устремлена.  
Уста молчат. В лице сокрыта сила.  
Но скульптор не сумел, не показал,  
Как она жестко губы прикусила,  
Когда смотрела палачам в глаза.

Веснушчатый мальчишка близоруко  
Глядит в нее, не отрывает взгляд...  
О, как он хочет развязать ей руки, —  
Они еще, наверное, болят.  
Но камень мертвый. Камень — это  
камень,  
Как ни был бы он гладок и красив...

И всё стоят мальчишки с рюкзаками.  
И всё отходят, губы прикусив...

## ОБУГЛЕННАЯ ГРАНИЦА

Я над зимней землей на самолете  
взлетаю.

Восхожу  
На высокогорный простор  
Ала-Тау.

За Алма-Атой  
у стадиона Медео,  
на самой вершине,

Встал,  
Обращаясь  
К каждой женщине на земле  
И к любому мужчине.

Как об этом расскажешь!!  
Буду суше и проще...  
Третьего января только что ушедшего  
года

На границе Камбоджи  
в разбитой банановой роще

Стоял я,  
Не веря глазам,  
У подземного входа,  
Над лазом в нору,  
что слабой мотыгой отрыта,  
Над бедным убежищем  
в зарослях переплетенных,

И видел  
Кровавые пятна  
На красной земле...  
На пожарищах темных  
Матери стонут, качая пустые корыта.  
Черные груди набухли

по детским губенкам,  
Сквозь серые пальцы пропущены  
черные косы,

Женщины спрятали лица  
В стенанье негромком...  
Подкошены стебли смрадным,  
горючим покосом.

Пальма  
После напалма  
Стоит, словно плаха.  
Измочалены кроны, бескровно  
повисли.

Вокруг опаленные, смятые  
хижины из банановых листьев.

Женщины стонут и стонут  
От горя и страха.

Америка, слушай.  
Прислушайся к стону и плачу.  
Через искусственный спутник  
Земли  
я веду передачу.



Позавчера,  
В первый день европейского года  
(Не знали об этом, не знали,  
не помнили кхмеры),  
Проснулось селение Ба-Тху  
в ореоле восхода.

Простодушные люди,  
Полные радостной веры,  
Не знали,  
Что американцы свой Новый год  
отмечают,

Что в это утро они  
Особенно по любимым скучают,—  
Женщина зачерпнула воды  
И рукой своей сильной  
Ступку взяла,  
Мужчина склонился над доской  
молотильной,  
Девушка сноп подала,  
и пошла вековая работа —  
Светлый рис  
Побежал,  
Словно капельки светлого пота.  
Несмышлениши ползали,  
глаза рассиялись, как угли.

Гольши собирались к ручью  
в двух шагах от Вьетнама.

Но вдруг  
Зашатались и потемнели  
вечнозеленые джунгли.  
И полыхнуло в сердца  
смертоносное пламя...

Сорок вертолетов  
на сорок жителей —  
на каждого по вертолету.

На смуглокожую женщину,  
прикрывшую девочку, —  
два вертолета,

Один вертолет — на мужчину.  
К светлому поту  
Кровь прикипела.

Так началась новогодняя эта охота.  
Белокурые боги спустились  
надменно и гордо.  
Стреляли из автоматов,  
Детей извлекая из нор, хохотали  
в три горла.  
Сорок вертолетов на сорок  
жизней. !  
(Богатая все же страна!)  
Такой персональной опеки  
Еще не знала война.

Стоим и молчим.  
Утешение — пусто и ложно.  
Кровь на земле.  
Отгремевшие гильзы.  
Бутылки от виски.  
Женщины плачут.  
Шипят одиноко, тревожно  
Магнитофоны международной  
комиссии.  
Кружатся диски.

Едем  
Рядом с войной,  
Вдоль границы,  
по дорогам изрытым.  
Едем.  
За нами грузовичок с пулеметом  
зенитным.  
Жгучее солнце зимы  
пронзает зеленые толщи.  
Мостик из красного дерева  
вдрогнул под нами.  
Где-то рождается гул,  
И растет,  
И тревожит все больше.  
И вот —  
бомбовозы  
Над партизанским Вьетнамом.  
Кинулись сразу, и книзу —  
в зеленую замять.  
Капают черные капли в полете  
отвесном.  
Мы ссыпались в заросли,  
И рисовала мне память:  
«Юнкерсы» над Ельцом  
Обдают нас огненным переплеском.  
Я думал: прошло двадцать пять —  
четверть века —  
от сорок второго,  
И опять я прижался к земле,

Не в Ельце, а в далекой Камбодже,  
На границе Вьетнама.  
Все непривычно и ново.  
А это — гудящее сверху —  
Похоже.  
Похоже.

Джунгли пылают.  
Что осталось там,  
в зарослях душных!  
Только люди и могут,  
люди и выдержат это.  
Звери давно уж  
От грохотов, смертью подувших,  
Сюда побежали  
В бликах зловещего света.  
Эвакуированные слоны  
слоняются в поисках водопоя,  
Незнакомые с местностью,  
в кхмерские входят селенья,  
Обезьяны бегут.  
Птицы перелетают — нет им покоя.  
Бок о бок —  
пантеры и заяц, —  
Ноев ковчег во время переселения!  
О, люди Вьетнама!  
Вьетнам, я ведь помню —  
В разгаре сезона зеленого риса  
на празднике детском  
Твое ликованье.  
Когда же ты небо обидел,  
Почему на детей твоих рухнуло  
с громом и треском!..

В двух шагах от войны  
Вдоль границ продвигаемся  
молча.  
И в контрабандную барахолку  
влетаем с разгона.  
В другую стихию стратегии волчьей,  
В семидесяти километрах  
прямого пути  
до Сайгона  
Ошметки этой войны перелетают  
через барьеры  
На черный рынок  
В виде американских антиболотных  
ботинок.  
Солдатских поношенных брюк  
на любые размеры.  
В виде  
Марихуаны — царицы наркотиков  
крепких.

Суточных рационов, завернутых  
в целлофане,  
и прочих объедков.  
Гамаков с антимоскитной сеткой,  
с застрявшею веткой.  
В виде  
резиновых жвачек  
и других эластичных  
изделий.

В виде изданий,  
открыток,  
духов «Дипломат».

— А пистолет вам не нужен?  
— Есть новый еще автомат...  
(Торгуют те, кто побогаче,  
и атомной бомбой  
Или ракетой под американскою  
пломбой.)

В виде  
чесоточных нижних рубашек...  
Чего только нету!  
И все это  
Спекулянты  
Разносят по белому свету.  
Ошметки войны  
торгаши продают без отказа,  
Завихренье постыдной войны —  
Эта грязь и зараза.

◆  
Под звездами  
На переправе  
Тропической ночью,  
Навалившись на поручни,  
я передумал о многом.  
Вспоминал этот путь  
по камбоджийским дорогам  
И все, что увидел  
Не на страницах газет, а воочью.  
Камбоджа,  
летел я твоей красотой  
обновиться.  
Я видел цветенье твоих городов  
и селений,  
Пока не предстала обугленная  
граница  
Угрозой  
Для твоих поколений.  
Все, что во снах повидало  
веселое детство,  
Все, что, как сказка, перевиделось  
легкими снами,  
Горит  
в героическом, непобедимом  
Вьетнаме,

В Камбодже уже обожгло  
роковое соседство.  
Слушайте, люди,  
эхо разбуженной бури, —  
Не отвертеться —  
бей в барабаны и гонги,  
Где бы ты ни жил.  
Глянь —  
накалилась Миссури  
От головешек,  
пылающих в дальнем  
Меконге.  
Во мне полыхало  
все,  
Что я видел своими глазами.  
Смогут ли выплакать это  
Женщины мира  
Своими слезами!

◆  
Весь год,  
День за днем,  
С того новогодья в Камбодже,  
Все боли земли  
я слышал на собственной  
коже.  
Хотелось шептать о любви,  
О волненье великом,  
Что наполнило сердце.  
А боль эта высилась криком.  
Велел я себе:  
Из памяти черное вырви! —  
Но в Индии вдруг возникало  
и виделось в Бирме,  
Хотелось страдать одиночеством,  
тяжким разрывом.  
Но все обрывалось  
Памятным  
Бомбовым взрывом.  
Земные красоты  
И счастье задумчивой Волги  
Меня возвращало туда,  
возвещало о долге.  
Я в Венгрию ехал;  
К поэзии рвался упрямо.  
Но слышалась мне  
горячая правда Вьетнама.  
Качало меня македонское озеро  
Охрид,  
Но все возникало сначала,  
Как вызов.  
Как окрик...  
Здесь, на вершине заснеженного  
Ала-Тау,  
У стадиона Медео,

Не в облаках я витаю.  
 Сюда я взошел не затем,  
                                 чтоб стихи  
                                 осенили, как милость,  
 Меня подняла  
 Насущная необходимость.  
 Стыд за Америку  
                                 сердце мне жжет немотою,  
 Если не расскажу,  
 Значит —  
 Жизни не стою.  
 Слушай, Америка.  
 Прислушайся к стону и плачу.  
 Через искусственный спутник  
                                 Земли  
 Я веду передачу.

*Алма-Ата — Москва*

## Маргарита Алигер

### ВОСПОМИНАНИЕ О ПАРИЖЕ

#### 1. КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

Когда померкнет день, уже почти  
                                 вчерашний,  
 гордясь ли чем, жалея ли о чем,  
 кого ты ищешь, Эйфелева башня,  
 бесплотным и негнуцимся лучом?  
 Он мечется,  
                                 он судорожно шарит,  
 ломаясь о деревья и дома,  
 пока Париж свои бифштексы жарит,  
 собак выводит,  
                                 смотрит синемá.  
 Он словно занят, кажется порою,  
 какой-то сумасшедшею игрой.  
 Кого он ищет?  
                                 Может быть, героя?  
 Какой герой?  
                                 Откуда тут герой?  
 Еще чего?! Да и кому он нужен?!  
 Его б не разглядели все равно.  
 День догорел.  
                                 Его венчает ужин,  
 салат да сыр да красное вино.  
 День прожитый, как поднятая пашня.  
 Его не стало. Он уже вчера.  
 Чего ж ты ищешь, Эйфелева башня,  
 ворочая свои прожектора?

Не чуда ли?  
                                 А что за радость в чуде?  
 Не мельтеши, — в Париже нет чудес.  
 Еще чего?!  
                                 Пусть отдыхают люди,  
 от споров отказавшись наотрез.  
 И нечего заглядывать в жилища,  
 в бистро и в бары.  
                                 Придержи свой луч.  
 Или скажи хоть мне, чего он ищет?  
 Начистоту. Всю истину. Не мучь.  
 Виновников? Обрывка тайной нити?  
 Тех праведников, что решают спор?  
 Поступков?  
                                 Откровения?  
                                 Событий?  
 Законов, позабытых с давних пор?  
 На все недоумения ответа?  
 Великодушья?  
                                 Не томи меня!  
 Надежды?  
                                 Вдохновения?  
                                 Огня?  
 Еще чего?!  
                                 Лишь проблеска рассвета.  
 Лишь обещанья завтрашнего дня.

## 2. СТИХИ ДОМЕНИК

Шумит, как речка, улица Муфтар, —  
спустить бы лодку да закинуть сети.  
На ней с утра до вечера базар,  
который год, которое столетье.  
Разложен как положено товар.  
Все по старинке. Никаких новинок.  
Но кажется, что улица Муфтар  
не столь торгует, сколь играет в рынок.  
Как будто бы... Какой уж там доход!  
Все не всерьез... А время-то идет.  
Одна игра... Глядишь, и минул год.  
Одна забава... Так и жизнь пройдет.

А над гуденьем рыночных забот,  
за дымкой голубиною и зыбкой,  
под крышей и над крышами живет  
художница с огромною улыбкой.  
Откуда эта радость, этот свет?  
Почем они, определять не надо.  
Поди купи, когда цены им нет.  
Она свободна и тому лишь рада.  
Беспечной птичьей вольности права,  
купи попробуй, выторгуй попробуй!  
Ах, эта молодая голова,  
веселый теремок высоколобий!  
Художница бросает на холсты  
мазки цветные, словно перья птица,

и смотрит с поднебесной высоты,  
как там Париж шумит и суетится,  
как там торгует улица Муфтар,  
не получая прибыли с торговли.  
Ах, этот анилиновый пожар! —  
закат упал на грифельные кровли,  
закат коснулся старых черепиц,  
он, как и ты, лишь ярких красок ищет.  
На уровне паренья вольных птиц,  
как гнездышко, висит твое жилище.  
Что из того, что комнатка тесна!  
Не много места надобно для чуда.  
Тут раньше начинается весна,  
и утро занимается отсюда.  
Не уходи отсюда, Доменик!  
Не соблазнись, не допусти ошибки.  
Париж лукав, опасен и велик.  
Не пожалеет он твоей улыбки.  
Она погаснет в рыночной толпе,  
пойдет на уговоры и уступки.  
А здесь ты как орешек в скорлупе.  
Орешек, не разбей своей скорлупки!  
Свобода — это только божий дар,  
Она дается избранным и даром.

...Шумит, как речка, улица Муфтар,  
лукаво притворяется базаром.

## 3. ВСЮ НОЧЬ

Куда всю ночь спешите вы, французы?  
Какие назначенья или грузы?  
Куда?  
Какая радость или беда  
баранку держит, знает направленье?  
И почему всю ночь, всю ночь,  
всю ночь?  
Незримый, неустанный,  
неумолчный,  
ночной широкошумный океан...

...А я, одна, лежу на берегу,  
на кромке океанского прибоя,  
и волны, начинаясь издаля, —  
откуда? —

набегают то и дело,  
меня захлестывая с головой,  
и долго удаляются...

Куда?

Их шелест затихает, как вода  
в песке прибрежном,  
в воздухе ночном,  
и остается звук сначала треском,  
потом канатом, —  
он все тоньше, тоньше,  
и, наконец, на миг он словно волос,  
но все же он присутствует, он жив.

Меня опутывают эти звуки,  
и, словно притороченная ими,  
мне кажется, я связана навеки,  
неотвратимо,  
с ночью и с Парижем,  
с его деревьями, с его домами,  
с его французами, с его судьбой.

Незримые, придуманные узы...  
Мне стоит шевельнуться лишь

чуть-чуть,



# Андрей Алдан-Семенов

## БЕССОННИЦА СТРАНСТВИЙ

Заря — вполнеба.  
И на ней стволы  
Деревьев,  
проступающих из мглы.  
Малиновой становится вода,  
И старый грач  
из старого гнезда  
Ударил в небо,  
словно черный ком.  
На улице слегка  
горчит дымком.  
Ты спишь еще.

А по стеклу окна  
Кристаллами сползает тишина.  
Я думаю:  
тебе,  
наверно,  
снится  
Звонящая без усталости синица.  
Я радуюсь,  
что существуют сны  
С грачами  
и синицами  
весны.



Ежевика над сонной Тарусой,  
Папоротник в дубовом лесу,  
Укоряют меня, словно труса...  
Я действительно их не спасу  
От живых прощелыг,  
от бездушных,  
Обдирающих почву машин,  
Я и сам себя чувствую душно  
В торопящемся шелесте шин.

Говорят, что вредна ежевика,  
И волкам объявили войну.  
Говорят, журавлиные крики  
Отнимают в садах тишину.  
Говорят, что опасно соседство  
Красноротых, веселых грачат.  
Разоряют их гнезда,  
и детство,  
Как лесную Тарусу, зорят.

# Белла Ахмадулина

## ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,  
неграмотным я рыщу взглядом.  
Я мало смыслю в декабре,  
что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад — не различить,  
Здесь свадьба двух стихий творится.  
Их совпадение разлучить  
не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь  
не вклинится! Им не заметен  
медопролитный крах плодов,  
расплющенных объёмом этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!  
Погибнут дождь и сад друг в друге,  
оставив мне решать судьбу  
зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь  
для мимолетной щели светлой,  
чтоб птицы маленькая дрожь  
вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,  
что в промежутке их раздора  
мне б следовало втиснуть дом,  
где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна  
два раза вытерпеть усладу:  
страдать от сада и дождя  
и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нем все мертво!  
Не я ли совершила это?  
Приют сиротства моего  
моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,  
но все ж не той и не настолько,  
чтоб выпрошенной мной бедой  
чужие вышибало стекла.

Все дождь и сад сведут на нет,  
изгнав из своего объема  
не обязательный предмет  
вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нищей конуре  
так возгордиться духом слабым,  
чтобы препятствовать игре,  
затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,  
с ее деревьями и мглою,  
чужое место на земле,  
некстати занятое мною?

## Эдуард Балашов



День сегодняшний только мой.  
Я пришел вместе с ним домой.  
И за пазухой у меня  
Все события этого дня...

Я от грохота встал поутру  
На работу в аэропорту.

Засмотрелся, как солнце встает.  
Вслед за солнцем летел самолет.

Что сработал — не помню, забыл.  
День рабочий не долог мне был.

Но, когда возвращался назад,  
Наблюдал я холодный закат.

Совершая по схеме заход,  
Вслед за солнцем летел самолет...

Я почувал под сердцем тоску.  
Сел в экспресс и уехал в Москву.

Брел и слушал шаги по снегам,  
Соразмерные чьим-то стихам.

Тайный голос во мне, осмелев,  
По словечку сложился в напев

И, изведав души тайники,  
Запросился на волю в стихи:

«Я на поле на летном стою.  
Я, как солнце, над полем встаю.  
И земля, накрываясь, плывет.  
Вслед за солнцем летит самолет.

Это радость — тепло раздавать!  
Это счастье — дарить благодать,  
Отражаться в водинке морской,  
Золотить купола над Москвой,  
Освещать позаснеженный сад,  
Оставляя на прощанье закат!  
Совершаю по схеме заход.  
Вслед за солнцем летит самолет...  
Я на поле на летном стою,  
В самолетном счастливом краю.  
До чего ж эта жизнь хороша —  
Прямо в небо взлетает душа!»

...Над Москвой занималось кольцо.  
Засветили мне окна в лицо.

Колыхалась вьюжная ветвь.  
Замыкалась Садовая ветвь.

И унес меня теплый экспресс.  
И обнял меня Внуковский лес.



Знали б, что на свете есть неволя,  
Знали б все сейчас не из газет.  
Говорю об этом в сердце с болью,  
А вообще-то вами я доволен,  
Что у вас в душе смиренья нет.

Радуюсь, на юных модниц глядя,  
Глядя на патлатых пареньков:

И они живут не моды ради,  
И у них пятерки есть в тетрадах!  
Час придет — заменят стариков.

Час придет — Курчатовыми будут,  
По следам Вавилова пойдут,  
И свои построят Днипробуды,  
И отцов своих не предадут!

## Михаил Беляев

### СЛОВО О ЛИВЕНСКОЙ ВОДЕ

Мороз ударил молодой —  
И лес  
И поле сжал до хруста.  
А над водою ключевой  
Молочный пар  
Бушует густо.

Ныряют ведра в той воде  
И, леденя,  
Стонут, стонут.  
По селам ливенским —  
Везде  
Снега водою обожжены.

В буграх  
И летом  
И зимой,  
Она стоит  
Живым морозом:  
Хлестнет — и человек немой,  
Хлестнет — горошинами слезы.

Такую ставишь на столе  
И ждешь:  
Вот-вот взлетит поземка.  
Такую воду на земле  
И хвалишь  
И ругаешь громко.

Такую свадьба не пройдет,  
Такая вспомнится у гроба.

Она —  
И холод перебьет,  
И зной перекосит ознобом.

Она,  
Протертая в камнях,  
Слепит  
И зренья возвращает,  
Она —  
Как лезвие в руках:  
И радуется,  
И угрожает.

Хлебну —  
Темнеет синева,  
Как будто выжигает боли.  
И не глотки,  
А жернова:  
Едва повертываю в горле.

Что черноземом ей дано? —  
Булавками играет в квасе,  
И кровь гоняет, как вино,  
И в стариках задор не гасит.

И высоту,  
И чистоту  
Взяла —  
В ней капля миром стала.  
Я к ней,  
Как к матери, приду  
И голову склоню устало.

# Елена Благинина

## СТАРИКИ

Спят старики и не боятся стужи,  
Укрытые последней тишиной.  
Старуха дремлет, думая о муже,  
А он лежит к своей судьбе спиной.

Тяжел и смутен лик его оплывший,  
Венцом седин объята голова.  
Но для нее он — прежний, он —  
любивший,  
Он — говоривший древние слова.

Через детей и внуков он — вернувший  
Великое младенчество свое...  
Он тут, он рядом, не навек уснувший,  
Не навсегда покинувший ее.

Теперь она с бессонницей не сладит:  
Кому из них и скоро ль уходить?..  
И край его рубашки гладит... гладит —  
Так... еле-еле, чтоб не разбудить.

## МНЕ ЖАЛЬ

Мне жаль суровых и надменных,  
Пусть мир их сложен, пусть богат.  
Они чудес обыкновенных  
Не видят, видеть не хотят.

Им хлеб — не в сласть,  
Вода — не в милость.  
Им ночь — не в отдых,  
День — не в свет.

В них как бы радуга затмилась,  
Весь пыл ее сошел на нет.

А мы, не мудрствуя лукаво,  
Стоим на страже простоты,  
Даря налево и направо  
Житейской радости цветы.

## ТВИСТ

А наши тоже танцуют твист. Какая  
же это гадость!  
*Из письма*

Как два цветка, как две священных  
рыбки,  
Как два самозабвенных божества,  
Они друг перед другом — без улыбки,  
Легчайшие — почти без естества.

Четыре глаза, тающих топаза,  
В которых тонут дикие зрачки...  
Под жестковатые синкопы джаза  
Вдруг шевельнулись руки-плавнички,

И заскользили, чуть сгибаясь, ноги,  
Изогнутые дрогнули тела...  
И чудится — языческие боги,  
Завидуя, глядят из-за угла.

Их оглушают саксофоны, трубы,  
Перуновы костры горят в крови...  
И древние девические губы  
Полураскрыты в таинстве любви.

## МАДОННА

Июльское солнце  
Катилось пылающим шаром.  
Пречистая мать  
Младенца вела по бульварам.  
Короткая юбка,  
Прическа копной золотистой,  
И шпильки,  
И профиль — прохладный и чистый.

А следом за нею —  
Два юных, два грустных солдата.

— Пречистая мать, —  
Промолвил один виновато, —  
Позволь нам с младенцем твоим  
Пройтись по дорожке! —  
И мальчик, смеясь, протянул им  
ладошки.

И шли эти четверо,  
Благословенны и святы, —  
Мадонна с Петровки,  
Младенец ее  
И солдаты.

## ДАРОНОСИЦА

Как дароносицу — транзистор  
Парнишка пред собой несет.  
И по лицу его блуждает  
Восторг фанатика-жреца.

Представить он себе не в силах,  
Как тяжек скудный культ его  
Для тех, кто рядом совершает  
Простое таинство житья.

## Виктор Боков



Родина моя — бугры да кочки,  
Крутояры с камнем и песком,  
Перелески хвойные. Да почты  
Километров пять, и все пешком!

Там и жили пахотные предки,  
И молились пахотным богам,  
Им была черемуха на ветке  
Лучшая приправа к пирогам.

Дед считался силы непомерной,  
Ни локтем, ни словом не задень!  
Я теперь совсем обыкновенный,  
Жму на силомер, стыжусь глядеть!

Родина моя — гармонь на зорьке,  
Взмах косы над тихой травой.

А еще она — стальные дзоты,  
Вражий самолет над головой.

Голошенье бабье: — Да неужто  
Одолеет нас проклятый фриц? —  
А потом вопрос: — Вернулся  
муж-то? —  
И ручьями слезы вдоль ресниц.

Родина моя — я твой, я кровный!  
Бил меня свинец, огонь, тротил.  
От тебя я в век наш электронный  
Зренья своего не отвратил.

У родного дома — ниже, ниже  
Гну я куст рябины огневой,  
И земля родная ближе, ближе, —  
И по мне бежит огонь живой.

## СНЕГА РОССИИ

Я люблю снега России,  
Как твои, мой друг, большие,  
Очень ясные глаза,  
Без которых жить нельзя.

Я люблю снегов сверканье,  
Непрерывное мельканье  
Голубых подков коня,  
Что к тебе несут меня.

По душе мне лёд на речке,  
Снег немятый на крылечке,  
Тишина и сон снегов,  
Бодрый скрип твоих шагов.

Снег лежит, как белый хлопок,  
На снегу так много тропок,  
А одна из них моя,  
Значит, милый, и твоя.

## СЛОВО В ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

Жизнь меня била,  
Жизнь меня мяла, как лен,  
Вы посмотрите, —  
Вот синяки с двух сторон.

Ломаны ребра,  
Плечи потерты,  
Сердце в крови.  
Черные хлебы  
С подовыми корками —  
Торты мои!

Мама!  
Печаль моя,  
Ты во земельке сырой.  
Не беспокойся,  
Твой сын не сопьется,  
Он труженик,  
Мастеровой.

Фартук на нем —  
Не передник разносчицы вин,  
Грубый, пеньковый,  
Для кузницы  
И для равнин.

Мама!  
Я у тебя проходил  
Деревенский лицей.  
Вся твоя лекция:  
— Все, что угодно,  
Но только не пей!

— Ох, эти пьяницы!  
Видела их на веку!  
Если захочется пить,  
Ты, сынок, к роднику!

Свежесть, прохладу  
В ладонях скорее пригубь,  
Светлые радости,  
Счастье  
К тебе прибегут.

Песни проснутся,  
Начнут луговой хоровод,  
Кудри завьются,  
Твоя балалайка пойдет!

Смелство, весельство,  
Душевность, открытость —  
Все будет с тобой.  
Только не пей,  
Не губи себя,  
Милый ты мой!

Мама!  
Законом мне стал твой завет.  
Не забудыга я,  
Не завсегдашай шалманов —  
Трезвый поэт!

Слово твое,  
Как священное знамя,  
Несу я вперед.  
Мне его дал твой родник,  
И оно не умрет!

Как половодье,  
Бушует, бурлит вокруг меня бытие.  
Музыка жизни,  
Музыка слова —  
Вот пьянство мое!

# Анатолий Брагин



*Глебу Еремееву*

В войну мне выдали бесплатно  
Американское пальто.  
Во всей округе, вероятно,  
Такого не имел никто.

Неловко было к оборванцам,  
К друзьям-приятелям моим,  
Вдруг заявиться иностранцем  
Или начальником каким.

Пальто и спереди, и сзади.—  
Не веришь, матушку спроси,—  
Я до того отделал за день,  
Что хоть тряпишнику неси.

За это мать со мной вожжами  
Поговорила.  
Но зато  
Уж никого не раздражало  
Американское пальто.



Отца забрали на войну;  
Мальчишка — шпингалет,  
Но враз прибавила ему  
Война так много лет.

— Так что же, мать,  
Так, значит, мать,  
Я в доме голова?  
Ты начинай белье стирать,  
А я — колоть дрова!

Ты говоришь, дровец чуток  
Осталось.  
Так и быть,  
Продай слона,  
Продай свисток! —  
Без них ведь можно жить!

Продай матроску, говорю!  
Теперь не до тряпья!  
Ты только, мама, не горюй,  
Не брошу я тебя!

# Владимир Бурич



Удивительно  
что я делал  
в то время  
как ты стала такой большою

что я делал

кажется  
бегал за хлебом  
нет  
клял камень на камень  
а может быть шел по ступеням  
стоял  
одевался  
оглядывался  
передавал сдачу  
пропускал идущий транспорт  
садился обедать  
хоронил маму  
восемь лет хоронил маму

бегал за хлебом

как странно  
мы рядом  
тебе никогда не догнать меня в этом беге  
я не могу тебя ждать  
я способен лишь мчаться

ты прекрасна  
но что мне с тобою делать  
с тобой нельзя ни плакать над прошлым  
ни с надеждой смотреть в будущее  
которого  
все меньше

Мы машем друг другу руками  
как плавниками  
в аквариумах  
разъезжающихся трамваев





# Лариса Васильева

## ИНЕЙ

Смотрит сыто и осоловело  
с петухом пробудившийся день.  
Приморозило. Заиндевело.  
Потеплее пальтишко надень.

Колкий куст убеленного сада,  
голубинога снега крыло  
или свет долгожданного взгляда —  
что такое в окне зацвело?

Безупречной природы причуда,  
откровенно — ни снег, ни вода,  
этот иней возник ниоткуда,  
солнце встанет — уйдет никуда.

Будет в окнах и чисто и праздно,  
будто в гладких и громких словах,  
закачается четко и ясно  
сизый голубь на черных ветвях.

# Петр Вегин

## СИРЕНЕВАЯ НОЧЬ

Сирень, по стихам ударенья проставив,  
чернильной помаркой на старый Тифлис  
упала — и день проскользнул и растаял,  
как пахнувший полем велосипедист,

и солнцу в велосипедные спицы  
корявую палку вставила ночь...  
Не спится. И с красными клювами  
птицы,  
как авиапочта, уносятся прочь.

Тбилиси. Сирень. Два талантливых  
брата.  
Застольные речи красней, чем костер.

Бесшумно, как грек пронося контрабанду,  
сирень перепрыгнула через забор.

Сирень хулиганит. Сирень захотела  
меня доконать, прежде чем доцвести:  
раскрыла окно, распахнула портьеры  
и скомкала ночь в пятипалой горсти!

Сирень, перестань! — разбудила  
Тбилиси,  
к нам в окна стучит почтальон восковой,  
и вся его тысяча утренних писем  
забрызгана синей твоею росой...

## В СОРОК ШЕСТОМ

Цыганки сторублевками хрустели,  
веселые вертелись карусели,  
аплодисменты фокусник срывал.  
Ростовский рынок — шельма и  
шарманщик.

В дырявые карманы лез карманщик,  
и кто-то пьяный скрипочку терзал.

В том рынке было что-то от Ходынки.  
Хрипели довоенные пластинки.  
Шла женщина высокая в слезах.

Взывал: — Купите корень жизни! —  
знахарь,  
и кто-то соль хотел сменять на сахар,  
и крест нательный продавал монах.

И, маленький, как черная дробинка,  
стоял я, семилетний, среди рынка —  
среди фокусников, знахарей, жулья.  
Еще мне соль соленой не казалась,  
еще со мною скрипка не терзалась,  
креста не нес, цыганка не старалась,  
и женский плач касался не меня.

# Евгений Винокуров

## МОНГОЛ В КРАКОВЕ

На камни костелов, откаркав,  
Садится, кружась, воронье...  
Задумчиво смотрит на Краков  
Монгол, опершись на копье.  
Морщинисто и безусо,  
Лицо наконец расплылось...

...А синие ноги Иисуса  
Гвоздями пробиты насквозь.  
Мучительней и смертельней  
Легенды не знали века...  
И лик выплывает из терний  
Трагического венка.

В соборы идут краковчане...  
Но всадника мучает смех,

Трясутся цветы на колчане  
И лисий ободранный мех.

Как вкопанный, прямо с галопа  
Он замер. Ладони простри:  
Лежит пред взором Европа —  
Деревни и монастыри.

В ней всякие странные вещи...  
В свой первый, единственный раз  
Монгол наблюдает злоеще  
Европу сквозь прорези глаз.

...От Тихого океана,  
Как будто бы чувствуя зуд,  
Храпят табуны окаянно,  
И чадно кибитки ползут.



Я понимаю все как есть...  
Завёт «убей» передавая  
Друг другу, люди жили. Месть  
Торжествовала родовая!  
Копьем коллегу феодал  
Прокалывает на турнире!  
Под гнетом крепостной страдал.

Чума все пожирала в мире.  
Еретика ввели в тюрьму,  
А он глядел чудно и шало...

Но одного я не пойму:  
Любовь, кому ты помешала?

## ЖЕСТ

Идет в сберкассе иль садится есть  
Поэт, в сонете о себе поведав...

И все же что-то варварское есть  
В таких лохматых обликах поэтов!

И то, как говорит, и то, как ест,  
В нем только человека выявляет...  
И все-таки великолепен жест,  
С каким подчас он кепку поправляет!

Тот иль не тот? И сразу вскрикнешь:  
— Тот! —

Когда он вдруг, наглежа понемногу,  
С размаха навзничь в кресло упадет  
И на ногу когда закинет ногу.

## ПОЛЕМИКА С ВЕКОМ

Я крупно очиняю  
Чернильный карандаш:  
Я с веком начинаю  
Давнишний диспут наш.  
Коптит фитиль на нарах,  
Конъюнктивит слезя...  
Такого и в анналах,  
Поди, найти нельзя!  
Как винное брожение  
Бушующее до зари

Мое воображение  
Давало пузыри.  
Никто ведь, может статья,  
До тех не шел высот?!  
Безумье святотатца  
Меня всю трясет.  
Губу поджал сурово,—  
Но он неумолим.  
Я победил!.. Но слово  
Последнее за ним.

## Игорь Волгин



Сойди у Покровских ворот.  
Стучи в те ворота, не медли!  
Но даже и ржавые петли  
не скрипнут Покровских ворот.

По Марьиной роще броди —  
ни Марьи давно там, ни рощи!  
Но жить не становится проще  
от этого,  
как ни крути!

И праздные вязы цветут  
от века до века — все реже.

И красные кони в Манеже  
не рвут коновязей, не ржут.

Но что невзначай ни задень —  
все это неверно двоится.  
И властно

ложится  
на лица  
какая-то странная тень.

И круто берет в оборот  
тот ветер,  
что дует все жестче —  
на просеках Марьиной рощи,  
в пролетах Покровских ворот.



Все пройдет. И останутся только  
от дарованных жизнью щедрот  
эти очи, глядящие горько,  
этот тронутый временем рот.

Я представил тебя молодою  
по прошествии множества лет.  
Молодою — и очень седою,  
хотя логики в этом и нет.

Нету логики в этом, о боже!  
И не знаю я сам,  
отчего  
те черты мне родней и дороже  
молодого лица твоего.

# Ирина Волобуева

## ЛЕНИН

Нет, Ленин ни секунды не уснул  
В граните, на котором слово «Ленин».  
Сменяется почетный караул,  
Сменяются года и поколенья.

Стирается булыжный камень плит,  
Звонят куранты, новый час отмерив,  
А Ленин, чуть прищурясь, все глядит  
Глазами тех, кто в Ленина поверил.

Проснется солнце, спустится ли мгла,  
Событьям век распахивает двери,

А Ленин все болеет за дела  
Сердцами тех, кто в Ленина поверил.

Салют цветным ли выстрелом в эфир,  
Клубится ль дым, над городами рея,  
А Ленин продолжает строить мир  
Руками тех, кто в Ленина поверил.

А жизнь преобразается вокруг,  
Растет Отчизна в зелени деревьев,  
И на земле все больше глаз, и рук,  
И тех сердец, кто в Ленина поверил.

## МУРОМ

Там, за хвоей, за рябиной,  
За травую-муравой,  
Муром, Муром — град старинный  
Мирно окает Окой.

Был он лавочно-торговый,  
В крутобоких куполах,  
Град — литейщик гирь пудовых,  
Град в лабазах на замках.

Он не ведал и не чаял,  
С коромыслами, с печами  
Дремно вросший в тупики,  
Что, взметнувши кумачами,  
Жизнь сорвет с него замки.

Что, гордясь своей обновой  
Пред соседкою Окой,  
Он предстанет юно-новый,  
Электрический, садовый,  
Тротуарный, заводской.

Свет, лучась, стеклом играет,  
Лес антенный подпирает  
Голубую высоту.  
...В старину глухих окраин  
Пыльной улочкой иду.

Над церквами кружат галки,  
Окна с кружевом резьбы.  
Густо муромские бабки  
Приросли к дощатой лавке,  
Как древесные грибы.

Дальше — вниз тропкою длинной...  
Вдруг сдается — в тишине  
Едет Муромец былинный  
Из былины на коне.

Повернул на город круто,  
Поглядел из-под руки  
На огни, на мост Оки  
И воскликнул: — Вот так чудо  
Сотворили земляки!

## Николай Глазков

### КРАСНЫЕ ЦВЕТЫ

Помню себя в шестилетнем возрасте  
В поезде крымского направленья.  
Я наблюдал из окна поезда  
Алых маков цветенье.

Меня поразил один военный:  
На ходу ловко спрыгнул он,  
Алые маки сорвал и мгновенно  
Юркнул в последний вагон.

Потом он в наш вагон возвратился  
И букет, что был ослепительно ал,  
Какой-то женщине передал.  
Я смелым поступком его восхитился...

И стал мечтать: когда подрасту,  
Спрыгну с поезда на ходу,

Красных цветов понарву и с цветами  
Возвращусь тогда к своей маме...

Возвращаюсь из Алма-Аты.  
В знойной степи Казахстана  
Вижу солнечные цветы —  
Огненные тюльпаны.

Мамы моей... в живых уже нет,  
Мне идет пятый десяток лет...  
Все ж на тюльпаны смотрю огневые,  
Ибо в степи их увидел впервые.

Но за цветами не спрыгну с поезда.  
Не потому, что подводят лета  
И рзучился я прыгать, а попросту  
Скорость теперь не та!



Я с детства не любил лото  
И в нем не принимал участия.  
Я не любил его за то,  
Что вся игра велась на счастье.  
Свое удачное число  
Другой вытягивал как милость, —  
Я не хотел, чтоб мне везло,  
А ратовал за справедливость.

Я с детства в шахматы играл,  
Был благородным делом занят,  
На то надежд не возлагал,  
Что мой противник прозевает.  
И я не чувствовал тоски,  
Когда сдаваться приходилось.  
На клетках шахматной доски  
Немыслима несправедливость!

*Кандидату в мастера Евгению Ильину*

## Александр Говоров



Лань пугливая, свет печальный,  
Словно стон замирает вдали.

Что сказать тебе на прощанье,  
Если все слова отцвели?  
Пожелтели и потускнели,  
Как сентябрьские листья висят.

Не во сне,  
А на самом деле  
Я забрел в бессловесный сад.  
Огрубело там нежное слово,  
Лань пугливо взвилась на дыбки...

Но с настойчивостью я снова  
Отрываю слова от тоски.  
Все напрасно!  
И хватит прощаний.

И себя я утешу навек:  
Если нету переживаний,  
Значит,  
Кончился человек.

И прости тебя бог за это,  
Свет печальный,  
Пугливая лань,  
Что теперь  
Как в кольчугу одета  
Вся моя задушевная дань.  
И теперь,  
Если что потеряю,  
Не склоняю безвольно главу...

Если трудно свой век проживаю,  
Значит,  
Праведно я живу.

## Дмитрий Голубков

### МУЗЫКА

Где-то в улочке ночной,  
Растолкав авоськи, свертки,  
Вдруг из чьей-то темной фортки  
Хлынет светлую волной!  
Станешь — и застынешь вдруг  
В тесноте примолкших зданий.  
Как неожиданное свиданье —  
Этот вырвавшийся звук...

Так вот в пестрой суетне —  
Взгляд летящий, профиль белый —  
И застынешь, оробелый,  
Словно падая во сне.  
И не надобно вослед;  
И опасно, и напрасно  
Миг удерживать прекрасный.  
Есть лишь миг, а века — нет.  
Все разрознено в миру:  
Красота, добро и счастье.  
Лишь отрывки. Только части.  
Только листья на ветру.

И тебя манил и влек,  
Как фрагмент всеобщей тайны,  
Жест метели, взор случайный,  
Дальней музыки намек.  
Ты ее ловил, как дождь  
В детстве жадными губами:  
Нота — капля голубая,  
Неба крошечная дочь...  
Склеивал и подбирал  
Ленты песенной обрезки,  
Воздух нежный, воздух резкий  
Ненасытной грудью рвал.  
Накопил ты много их,  
Прикасаний и оттенков.  
Как малиновка, оттенкав,  
Отлетает стихший стих...

Обождите же чуть-чуть  
На осеннем перепутье.  
С эхом молкнушим побудьте,  
Собираясь в шумный путь.

## Юрий Гордиенко



Беспокойный сосед  
жил за стенкой в квартире.  
Неприятно сперва  
мы друг другу платили.

Я не знал старика,  
жил он, тихий и кроткий, —  
досаждал  
молотка  
стук с утра по колодке.

Говорили: — Набил  
самоучкою руку,  
чтоб куском самому  
обеспечить старуху.

Очень я не вникал,  
К деловитому бою  
молотка  
привыкал,  
как к морскому прибою,

как на даче —  
к соседнему аэродрому,  
как на фронте еще —  
к орудийному грому.

Как у речки, на мельнице,  
к жернову в детстве...  
И не видел уже  
неудобства в соседстве.

Нынче стал замечать:  
«Что такое со мною?»  
Утро. Время стучать...  
Не стучит за стеною.

Катит жизни поток  
волны вдаль неустанно...  
Не стучит молоток —  
человека не стало.

## ПЕРЕПРАВА

Им в голову кидалось молоко —  
на выжженной стерне рожавшим бабам.  
За глинистой рекой  
прозрачно и легко  
тянулись опустевшие составы.  
И осыпался лист.  
И доносился плач.  
Глотая пыль и дым,  
аукались теплушки.  
И вечер,  
как зачерствленный калач,  
крошился в алюминиевые кружки.  
И, расписанием, как веткой, вороша,  
надсадно харкали горящие перроны.  
И прорастал ленивый молочай  
из крыш  
расщепленных в щепу вагонов.

А там, а там —  
огнем вставала рожь.  
В лоскутья изумленного тряпья  
рядились женщины.  
Несли — святую дрожь  
ресниц.  
И корку хлеба.  
И ребят.  
Им в голову кидалось молоко.  
Овраги. Броды. Тишина и гомон.  
И юркий месяц, месяц молодой,  
как скользкий сом,  
нырял в глубокий омут.  
И закипала каша за рекой —  
за кромкой век уснувшей переправы.  
Как странный сон,  
прозрачно и легко  
тянулись опустевшие составы.



И снова  
со скрипом качнулись весы,  
уткнулась в бессонницу  
строгая стрелка.  
И внял я  
гриппозному зову весны —  
в проталинах сладких,  
в морозных побелках.  
И внял я  
пахучему дыму земли,  
чуть горьковатому  
и овсяному.  
И губы мои  
о траву обожглись,  
и руки запутались  
в мокрой соломе.

И шел, задыхаясь,  
и падал я в грязь,  
и в бурю оттепель,  
в сумрак лиловый,  
я видел,  
как звезды крошатся,  
искрясь,  
и превращаются  
в точное слово.  
Удел наш —  
качнулся за сотню с нуля  
и снова пошел  
с пустым коромыслом  
за смыслом,  
которым богата земля.  
За смыслом.

## КОЛОДЕЦ

Улыбайся, кричи что придется,  
Пальцем ткни, хохоча и глупя!  
Мы склонились над срубом колодца  
И тотчас разглядели себя.  
Как на старых времен акварели,  
Мы застыли на миг — я и ты,  
Наши добрые лица смотрели  
Из воды, просветленно-чисты.  
И в свеченье глубокого фона  
С чуть заметным лукавством игры  
Ты глядела легко и влюбленно,  
Как красавица давней поры.  
А потом ты смеялась и пела,  
И гудело колодца нутро.  
А потом колесо заскрипело,  
И на воду упало ведро...

Наши лица вода разметала,  
После старчески сморщила их,  
Чтобы мы ощутили, как мало  
Нам оставлено лет молодых.  
Долго терпкую воду мы пили,  
Понимая ясней и больней,  
Что вчера еще жизнь торопили,  
Не считали утраченных дней.  
В летний день было просто жестоко  
Вдруг заметить, что жизнь коротка,  
Что бездонное времени око  
Равнодушно глядит в облака, —  
Словно тяжесть мы взяли на плечи,  
Чтоб до старости помнить о ней...  
Жить нам будет, конечно, не легче,  
Но и вправду сказать — не трудней.

## ПРОХОЖИЙ

А. М.

Когда народ на площадь валом  
Из трех театров повалил,  
Весенний вечер театралам  
Поэта бледного явил.  
Он шел один в размытом мраке.  
Глаза, зелено-горячи,  
Сверкнули вдруг, как у собаки  
Фосфоресцируя в ночи.  
Он не нуждался в узнаванье,  
И легковесный славы груз  
Ему претил не меньше званья  
Поэта и любимца муз.  
Он и не мыслил быть кумиром,  
Кого заметят за версту, —  
Стаканчик вафельный с пломбиром  
Небрежно поднося ко рту.  
Он шел, дитя твое, столица,  
Он шел, твой выкормыш, Москва,

Ни в чьи не вглядываясь лица,  
Ни чьи не слушая слова.  
Но видит бог, за сорок с лишним  
Годков — в Москве и на войне —  
Он поувидел, поуслышал  
Вполне достаточно, вполне!  
Он отдал дань труду и бою —  
Его боксерский ежик сед,  
И разговор с самим собою  
Нужней приятельских бесед.  
Нужнее чувство отрешенья,  
Чем жадный поиск новизны,  
Когда идешь сквозь мельтешенье  
И какофонию весны.  
Стаканчик вафельный с пломбиром.  
Простое бледное лицо.  
Да не ему же целым миром  
Считать Садовое кольцо!

## ДВЕ РАБОТЫ

Не стесняюсь нынешнего дела,  
Выбранного честно ремесла,  
Но душою скука овладела  
В марте тридцать первого числа.  
Чаще вспоминается работа —  
Не ночные бденья за столом,  
А леса, озера и болота.  
Белые поляны. Бурелом.

Это вспоминается как праздник —  
 Лето в пятьдесят шестом году:  
 В сапогах промокших, в брюках грязных,  
 Чертыхаясь, по лесу иду.  
 Спит змея на валуне покато,  
 А для устрашения комарья  
 Ядовитым диметилфтолатом  
 В пять слоев лицо намазал я.  
 Но мошка стоит стеной молчащей,  
 Колыхаясь в такт моим шагам, —  
 словно кто-то спичкою горящей,  
 Как фашист, проводит по губам!..  
 Бросил карандашик иностранный,  
 Отодвинул толстую тетрадь.  
 Начал вдруг с улыбкою престранной  
 Старые блокноты разбирать.  
 Где они исписаны? В кабине,  
 На бревне, на пне, на валуне...  
 Строчки так наивны, но поныне  
 Что-то отзывается во мне.  
 Что же понял я, в конечном счете,  
 В марте тридцать первого числа?  
 Что счастливо в трудной той работе  
 Будущая тяжкая жила.  
 Что сегодня прежний труд мне дарит  
 Ощущенье счастья и тепла  
 В те часы, когда на сердце давит  
 Страшный груз иного ремесла!

## Николай Доризо



Выходит  
 возраст мой  
 на линию огня.  
 Как дом  
 С порога,  
 Как роман  
 С пролога,  
 Газету начинаю  
 С некролога,  
 Живых  
 друзей  
 все меньше  
 у меня.  
 Выходит  
 возраст мой  
 на линию огня.

Так  
 високосный год мой  
 начался.  
 Друзья уходят,  
 остаются жены  
 И те ж,  
 без измененья,  
 телефоны,  
 Все те же цифры,  
 но не голоса...  
 Так  
 високосный год мой  
 начался.  
 Чужая смерть  
 страшна мне,  
 как своя.

И, расставаясь  
у могилы  
с другом,  
Как ни грешно,  
я думаю с испугом,  
Что сам умру когда-нибудь и я.  
Чужая смерть  
страшна мне,  
как своя.  
Есть только вечность.  
Вечной славы нет.  
И даже вы,  
бессмертные поэты,  
В конечном счете,  
смертны,  
как планеты,

Как солнце  
через сотни тысяч лет.  
Есть только вечность.  
Вечной славы нет.  
Ко мне пришло  
мое начало дня.  
Пока живу,  
я все-таки бессмертен,  
Хотя бы тем,  
что вновь забыл о смерти.  
Есть мысль,  
есть труд,  
есть слово у меня  
И возраст мой  
на линии огня.

## Сергей Дрофенко

Ровесник живет в Костроме,  
работает трудно и честно,  
а я колесил по стране,  
и цель только богу известна.  
А я суетился, спешил.  
Всегда мне нашептывал дьявол:  
«Покинем жилище! Сбежим!»  
Летал. Сумасшестввовал. Плавал.  
В вагоне торчал у окна.  
Осенняя пыль моросила.  
И всюду встречала одна  
тревога, судьба и Россия.

Но кто из нас пользу принес?  
Надвинулось время и судит.  
Наш век совершался при нас.  
Так с нас же и спрошено будет.  
Распахнут внезапный простор.  
И долго ль в живых оставаться?  
А выбор и вовсе простой:  
уверовать или сдаваться.  
Попробуем в братстве своем  
былого держаться зарока.  
Хорошую песню споем:  
«Раскинулось море широко...»

Ударили к ночи морозы.  
Скрипит под ботинками снег.  
И надобна пристальность прозы,  
чтоб все описать без помех:  
как лепится голубь к карнизу,  
как едет на санках дитя,  
как дым расстилается книзу,  
от ветра в испуге летя,  
чернея густыми клоками  
на марле январской фаты,  
как, лязгая хищно клыками,  
голодные бродят коты,

как дальняя звездная карта  
некрепким сулит старикам  
в трамваях инфаркт миокарда  
и липнет железо к рукам.  
Я шторы раздвину пошире,  
увиджу, что рядом луна.  
Наверно, в Коломне, в Кашире  
похоже сияет она.  
Похожее снежное море.  
Похожий безвестный поэт.  
И труд. И удача. И горе.  
И только спокойствия нет...

◆ ◆ ◆  
День долог, а ночь коротка.  
Не жалят промокшие осы.  
В садах моего городка  
шумят торопливые грозы.

Пронзительно пахнут цветы  
очнувшихся яблонь и вишен.  
Над речкой повисли мосты.  
Высок самолет и не слышен.

Ничто у меня до сих пор  
не вызвало зла и печали.  
Однажды увиденных гор  
покой у меня за плечами.

Спокойна земля и чиста.  
Ни ран, ни сиротства, ни ссылки.  
Под тонкою кожей листа  
видны напряженные жилки.

В зеленом моем городке  
распахнуты настежь ворота.  
Здесь сходятся накоротке  
хранимые в сердце широты.

Иначе и жить для чего,  
о долге твердить, о призвании,  
на свете не видя его —  
того городка без названья?..

## Евгений Евтушенко

◆ ◆ ◆  
Цвет статуи Свободы —  
                                он все мертвенней,  
когда, свободу пулями любя,  
сама в себя стреляешь ты,  
                                Америка.  
Ты можешь так совсем убить себя!  
Опасно выйти  
                                в мире этом дьявольском,  
еще опасней —  
                                прятаться в кустах,  
и пахнет на земле всемирным  
                                Далласом,  
и страшно жить,  
                                и стыден этот страх.

Кто станет верить в сказку  
                                лицемерную,  
когда под сенью благостных идей  
растет цена на смазку револьверную  
и падает цена на жизнь людей?!  
Убийцы ходят в трауре на похороны,  
а после входят в дельце на паях,  
и вновь  
                                колосья, пулями наполненные,  
качаются в Техасе на полях.  
Глаза убийц под шляпами и кепками,  
шаги убийц слышны у всех дверей,  
и падает уже второй из Кеннеди...  
Америка, спаси своих детей!

И у чужих детей седые волосы,  
и хжины,  
разбомблены во сне,  
как хартия твоей —  
не чьей-то вольности,  
горят в твоём же собственном огне.  
Ты обещала быть для мира совестью,  
но у позорной бездны на краю  
не в Кинга ты стреляешь —  
в совесть собственную,  
бомбишь Вьетнам,  
а с ним и честь свою.  
Когда с ума опасно сходит нация,  
то от беды её не исцелит  
спокойствие,  
прописанное наскоро.  
Ей, может быть, одно поможет —  
стыд.  
Историю не выстираешь в прачечной.  
Ещё таких машин стиральных нет.  
Не сходит вечно кровь!  
О, где он прячется,  
стыд нации,  
как будто беглый негр?!  
Рабы — в рабах.  
Полно убийц, раскованных.  
Они вершат свой самосуд,  
погром,  
и бродит по Америке Раскольников,  
сойдя с ума,  
с кровавым топором.

Эй, старый Эйби<sup>1</sup>,  
что же люди делают,  
усвоив подло истину одну,  
что только по поваленному дереву  
легко понять его величину.  
Линкольн хрипит в гранитном кресле  
раненно.  
В него стреляют вновь!  
Зверье — зверьем.  
И звезды,  
словно пуль прострелы  
рваныс,  
Америка,  
на знамени твоём!  
Восстань из мертвых,  
сколько раз убита,  
заговори,  
как женщина и мать,  
восстань,  
Свободы статуя пробитая,  
и прокляни свободу убивать!  
Но к небу,  
возывая о растоптанности,  
не отерев кровавых брызг с чела,  
свое лицо зеленое утопленницы  
ты,  
статуя Свободы,  
подняла...

<sup>1</sup> Так звали в народе Линкольна.

## Глеб Еремеев

### ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Я тоскую осенней тоской,  
Золотой и такой бессловесной.  
Я измучился болью людской  
И спасаюсь в печали древесной.

Мне не жалко, что падает лист,  
Но дымок от костров за садами  
Горьковат и болезненно-мглист,  
Как улыбка твоя со слезами.

Я спокоен, дыша золотым  
Увяданием нашего лета.  
Так зачем же за садом пустым  
Этот отблеск багрового света?

Для чего это? Властью какой  
Золотая печаль расставанья  
Превращается в горечь страданья,  
В горький дым целой жизни людской?

## НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ

Женщина кормила лебедей,  
Мягкий бублик медленно ломая.  
В сорок третьем, на исходе мая,  
Схоронила женщина детей.

Умерли от голода мальчишки,  
И, когда ударил первый ком  
По неструганой тесовой крышке,  
Вдруг упала женщина ничком.  
И поплыли вновь перед глазами  
Сорок первый год, зеленый май.  
«Мам, а ты баранку разломай.  
Мам, а если мы покормим сами?»

И они кормили лебедей,  
Теплый бублик натрое ломая,

В сорок первом, на исходе мая,  
Двое было у нее детей.

Были б у нее теперь и внуки.  
Выйдя с ней на Чистые пруды,  
Брали б мягких бубликов по штуке  
Для забавы, а не для еды.  
Теплая раскрошенная мякоть  
Тихо уплывает по воде.  
Женщина не плакала нигде,  
Но сюда весной ходила плакать.

И всегда кормила лебедей,  
Бублик с маком медленно ломая.  
В сорок третьем, на исходе мая,  
Схоронила женщина детей.

## натолий Жигулин



А. Яшину

Иду в полях. Куда — не знаю.  
Межой хрустящею иду.  
Я все о чем-то вспоминаю,  
Я все чего-то не найду.

Наверно, я ищу рябину,  
Степной обветренный дичок.

Вот подойду и сердце выну,  
Повешу сердце на сучок.

И буду жить без слез, без тягот.  
Дроздов веселая семья  
Обрадуется цвету ягод,  
А это просто — кровь моя.

## В БОЛЬНИЦЕ

Л. О.

Поднимается белый, холодный рассвет.  
В мерзлых лужах  
Пожухлая стынет трава.  
Словно в жизни хорошего больше и нет.  
Только грудь все болит  
Да болит голова.

Обещая сиянье сентябрьского дня,  
Скоро хлынет заря —  
На больницу, на парк...  
Милый доктор! Домой отпустите меня.  
Я бы с сыном сегодня пошел в зоопарк.

Посмотрели бы белых полярных лисиц  
И попили с печеньем в кафе молока.

Покормили бы первых осенниц синиц  
На площадке подростшего молодняка...

И плясал бы медведь.  
И смеялся бы сын.  
Очень весело было бы мне и ему.  
Я бы очень толково ему объяснил  
Все его бесконечные «как?», «почему?»...

Полыхает заря,  
Тонко-тонко звеня.  
В нежном розовом свете березовый парк...  
Милый доктор!  
Домой отпустите меня —.  
Я бы с сыном сегодня  
Пошел в зоопарк.

◆ ◆ ◆  
Вот и снова мне осень нужна —  
Красных листьев скупое веселье,  
Словно добрая стопка вина  
В час тяжелого, злого похмелья.

Вот и снова готов я шагать  
По хрустящим бурьянам за город,  
Чтобы долго и жадно вдыхать  
Этот чистый, целительный холод.

Тяжелее струится вода,  
Горизонт недалек и прозрачен,  
И полоскою тонкого льда  
Тихий берег внизу обозначен.

А вокруг ни единой души,  
И обрывы от инея белы.  
И в заливе дрожат камыши,  
Словно в сердце вонзенные стрелы.

◆ ◆ ◆  
Душой распахнутой приемлю  
Седой от стужи березняк,  
Морозом скованную землю  
И дальний-дальний лай собак.

Бежит вперед веселый Рыжик,  
С которым я едва знаком,  
И белый снег с опаской лижет  
Горячим красным языком.

И грустно-грустно, чисто-чисто  
У яркой лыжницы в руке  
Поет игрушечный транзистор  
На итальянском языке...

И впереди, за черной елью,  
Вместила солнечная даль  
Скупое русское веселье  
И итальянскую печаль.

◆ ◆ ◆  
Заколоченные дачи.  
Дятел будит тишину.  
Талым снегом сосны плачут,  
Чуют близкую весну.

И идет со мной Татьяна,  
И о чем-то говорит.  
Это весело и странно  
Называется: «кадрит».

Эх, Татьяна! Хвостик рыжий,  
Челка лисьего огня.

Ни черта не закадришь ты  
Волка старого, меня.

Это все когда-то было:  
И ресницы, и глаза.  
Это все, как прежде, мило.  
Жаль, что вечно так — нельзя.

Жаль березу, ту, чье семя  
Пало в снежную постель...  
Жаль, что время, время, время  
Разбивается в капель.

# Тамара Жирмунская

## В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ

Архив Ларисы Рейснер жив,  
лишь библиограф из отдела  
на нем проставил новый шифр,  
все прочее не устарело.  
Тут каталоги с трех сторон,  
чтобы в пути не заблудиться:  
такой-то «фонд»,  
а в нем «картон»,  
а в том «картоне» «единица».  
Почти как сказка про яйцо,  
в котором спрятана иголка...  
Я — постороннее лицо,  
но мне и сладостно и горько,  
как записи позднейших лет,  
снимать с портрета лак и деготь  
и властно извлекать на свет  
то, что спокойнее не трогать...  
Не путеводная ли нить  
в листах, моей рукой согретых:  
Архив не может говорить  
сегодня так, а завтра этак.  
Есть у архива свой резон:  
на самой дальней полке лежа,  
и невостребованный он  
все говорит одно и то же.

# Анатолий Заяц

## СЛОВА

Есть праздник слов,  
Когда они, лучась,  
Исторгнут семицветное свеченье.  
И постигают люди в светлый час  
Огромный смысл их,  
Высшее значенье.

Но вот случись —  
Не приведи господь —  
Слова твои прекрасные ослепнут,

Когда они  
Вдруг потеряют плоть,  
Внезапно полиняют и поблекнут.

От них уж не кружится голова,  
Они приходят,  
Словно наказание.  
Когда звучат кощунственно слова,  
Приходит пусть  
Целебное молчанье.

## ФУТБОЛ

В серьезный век наш,  
Горла не жалея,  
Махнув рукой на возраст и на пол,  
Болеет половина населенья  
Болезнью с кратким именем футбол.

Спешит народ,  
Толкаясь и судача,  
Кляня «Динамо», бредя «Спартаком»,  
Покинув общежития и дачи,  
Туда, как неизбежностью, влеком,  
Где взлет страстей,  
Где изумруд газона,  
Где звон мяча бодрит, как кислород.  
Все превосходства дачного сезона  
Готов за гол отдать честной народ.

Шумим, молчим, в победу веря тайно,  
Команде милой  
Все грехи простив,

Забыв заботы ровно на два тайма,  
Трибуны до предела заселив.

А там гляди —  
Хоть устращай потопом,—  
Страдает, восторгается, не спит,  
Сидит у телевизоров Европа,  
И Южная Америка сидит.

И вот он — гол. Великое мгновенье.  
И крупным планом мяч. Во весь экран.  
И встали,  
Утверждая единенье,  
Болельщики больших и малых стран.

Кому за гол блистательный обидно?  
И от игры не отвести лица.  
Идет турнир.  
Конца ему не видно.  
Страданьям сладким, значит, нет конца.

## Леонид Завальнюк

### ОБЛЕПИХА

Куст облепихи до поры не облетит.  
Багряным облаком,  
Огромной красной гроздью  
Забрел он с осени в сыпучие снега.  
И тает озверевшая пурга,  
Наткнувшись на него.  
И капель гвозди  
Вбивает наискось в окостеневший наст.  
Нет, облепиха стяг свой не отдаст  
Среди зимы ни недругу, ни другу.  
Все переждет она —  
Морозы, слякоть, вьюгу.  
И лишь весной, почуяв жизни соки,  
На миг короткий горько загрустит  
И, осыпаясь, голосом высоким  
Начало новых ягод возвестит!

## Вера Звягинцева



Я любила земли другие,  
Но ведь родина-то одна,  
И зовется она — Россия.  
Навсегда она мне дана.

Куст шиповника, день погожий  
И направо в саду скамья,  
Улыбающийся прохожий,  
Улыбающаяся я...

Всё — Россия, — и в детстве алый  
Куст шиповника у крыльца.  
Хоть давно уж куста не стало,  
А любви к нему нет конца.

Рожь под солнцем и непременный  
Чистый холод декабрьских дней, —  
Всё — Россия... Как несравненно  
То, что крепко связано с ней!



Разбушевалась планета,  
Грозные взрывы нам слышатся...  
Жаждающим доброго света  
Трудно живется и дышится.

Мудрая наша отчизна  
Славится честною славою.  
В мире же черные тризны,  
Дикая сила неправая.

Шара земного круженье  
Стало ускоренней, яростней.  
Вечно в походе, в движении,  
Не замечаем мы старости.

Счета нет горьким потерям,  
Все же мы верим в грядущее,  
Твердую верою верим:  
Станет планета цветущею.



Пойдете пешком на кладбище,  
Над письмами просидите ночь,  
А было так просто нищему  
Медным грошом помочь.

*Из книги «На мосту», 1922*

О, как говорят над могилой,  
Как горестно машут рукой, —  
Он был и любимый и милый,  
Сердца обжигал нам строкой.

Десятую долю — не больше —  
Сказали б ему, когда жил, —  
На сколько он прожил бы дольше,  
Стихов еще сколько сложил!

Твержу, как заклятие, снова:  
Любите живых горячей, —  
Нужнее живому два слова,  
Чем мертвому десять речей.

## Михаил Зенкевич

### ЧУДО ГРУЗИИ

В подвалах прохладных в ночи подземелья  
Хранятся огромные бочки, чаны, —  
В них целые тонны вина и веселья  
И песен и музыки заключены.  
Там чудо творится: извечно, как эти  
Струи Алазани снегами вдали,  
Живит виноградное царство Кахетии  
Вином, претворенным из гроздий долин.  
И там, как московским гостям в Цинандали,  
Прохладу сменив на полуденный жар,  
Грузинские лозы и солнце нам дали  
Испить драгоценный, целительный дар.  
В беседе я слышал рассказ очевидца,  
Простой, без прикрас и без выспренных

слов,  
Но правде такой, как легенде, дивиться,  
Ее воспевать и в стихах я готов!  
Шел год юбилейный, октябрьский десятый,  
И в Грузию, не для коммерческих дел,  
Из Франции прибыл ценитель завзятый,  
Известный искусством старик винодел.

Грузинские лучшие вина на месте  
Отведать хотел дегустатор француз,  
Чтоб после, как винам Шампани, без лести  
Оценку им дать на изысканный вкус...  
Пригубит и сплюнет — давайте другого...  
Такому нельзя угодить на авось.  
Ужель у грузин не найдется такого  
Вина, чтоб француз по вкусу пришлось?  
Нашлось... И чудесная влага сверкала,  
А сам дегустатор, ценитель вина,  
Смакуя и пробуя, пил из бокала  
До капли последней, до самого дна...  
Лицо старика просветлело мгновенно,  
И, молвив, помолодел он на вид:  
«Да будет веками благословенна  
Земля, что вино вот такое родит!»  
Тут речь чужеземца вдруг стала понятна,  
И поняли все, что он внятно сказал, —  
Когда, преклоняясь, француз троекратно  
Грузинскую землю облобызал!

### ИВАН ГРОЗНЫЙ И ПЕТР ПЕРВЫЙ

Взор Грозного не вспыхнет гневом снова,  
Железный жезл не остановит смут,  
Не слышно сдержанного Годунова,  
Болтает Шуйский, старый плут и шут...  
Но государству прочная основа  
Заложена — ее не потрясут.

И Петр не слышит, как над невской рябью  
Не государыням — ему салют,  
Киями ощутив их немощь бабью,  
Балтийские фрегаты залпом шлют...  
Когда забудут лесть и зависть рабью,  
Всю правду скажет всенародный суд.

## Натан Злотников



Ради этого длинного дня  
Ты вернешься под полог скрипучий,  
Из случайных составишь созвучий  
Строчку первую, вспомнишь меня.

В летнем доме ночует зима,  
Остальное все без перемены,  
Лишь болят деревянные стены,  
Одиночество сводит с ума.

Ульи внесены с осени в дом.  
Снег горит за окном не сгорая.  
И пчелиная жизнь, замирая,  
Все ж течет, как река подо льдом.

Вот ты слушаешь, смотришь в окно.  
И вздыхаешь легко и знакомо.  
И уходишь из нашего дома.  
И в нем делается темно.

◆ ◆ ◆  
Моя тоска по Украине,  
По белым мазанкам, тиха.  
Когда-нибудь она остынет  
И в глубь души уйдет, тоска.  
И притаится там до срока,  
И будет выжидать свое,  
Моя пустынная морока —  
Под самым сердцем острие.

Но если слух заденет снова  
Незабываемая мова!..

Когда-нибудь я перестану  
От этой речи замирать,  
Как бы доверившись обману,  
Какой придумывает мать.  
И, слава богу, не постигну  
Секрета, сколько буду жить!  
Но Украину не под силу  
Уже во мне переменить.

Там шлях, где хлопцем желторотым  
Я притаился вдалеке,  
Там, там за плавным поворотом  
Скрипят мажары належке,  
И три крыла пронесит низко  
Согбенный, как старик, ветряк,  
И солнце, круглое, как миска,  
Летит по небу в буерак.

Но тот ветряк и те мажары  
Закрыли годы и пожары.

О, неужели невозможно  
Нам быть поближе к тем местам,  
Где кочет смотрит осторожно  
Вослед годам и поездам,  
Где нэньки стирающее платье  
Светлеет на шляху пустом,

Где отчий край и отчий дом  
И степь открыта, как объятъя.

◆ ◆ ◆  
Движение и шум толпы  
Пристанционной. И калитка,  
И белые в лесу столбы,  
И провод, тоненький, как нитка.

И телефонный разговор,  
Скользкий сквозь листы резные, —  
Как сквозь окрашенный забор, —  
В места родные, но иные.

Там чьи-то тихие слова,  
Прошелестевшие в металле,  
Как эта поздняя листва,  
Держаться над землей устали.

Им хочется круженья всласть,  
Сходящего на нет движенья,

Земли. Им хочется пропасть,  
Как пропадает отраженье.

Листва редет что ни миг,  
И быстрая толпа редет.  
И время движет напрямик  
И всеми чувствами владеет.

Когда еще я так смогу  
Мир ощутить единым зреньем,  
Как здесь, на низком берегу,  
В предзимнем месяце последнем?

Где откровенен разговор,  
Река прозрачна и опрятна  
И по реке уплывший взор  
Не возвращается обратно.

### ПРЕЧИСТЕНКА

Когда перспективу от монастыря  
До темного льда над рекой  
Пронзит остывающий звук декабря,  
В котором любовь и покой,

И свет, упadaющий на тротуар  
Из окон и гаснущий вдруг,  
Коснется души, как внезапный удар,  
Мгновенный восторг и испуг, —

«Не ты это вовсе пришел — твой  
двойник», —  
Мне скажешь. И, словно кольцо,  
Твой белый, как снежная пыль,  
воротник  
Сверкнет, освещая лицо.

И, странная женщина, ты в этот миг  
Легко отойдешь в темноту,  
И белый, как снежная пыль, воротник  
Сверкнет от меня за версту.

## Фазиль Искандер

### ДОМ МОЕГО ДЕДА

Да пребудут прибыток и сила  
В том крестьянском дому до конца.  
Его крыша меня приютила,  
Не от неба — от бед оградила,  
Без него моего нет лица.

Славлю балки его и стропила,  
Как железо, тяжелый каштан.  
Червоточиной время точило  
Его стены,  
Войною когило  
Душу дома,  
Да выжил, чудила,  
Хлебосол, балагур, великан!

Так пускай же огонь веселится,  
Освещая могучие лица  
Молчаливых, усталых мужчин.  
Приопущены женщин ресницы.  
Веретена кружат. Золотится  
Старый, дедовский добрый камин.

Дым очажий во мне и поныне.  
Он со мной. Он в крови у меня,  
Обжитой, горьковатый и синий.  
...Дом стоял на широкой хребтине,  
Как седло на спине у коня.  
Двор округлый, подобие чаши,  
Алычою да сливой обсажен.  
Под орешней раскидиста тень,  
Мытый ливнями череп лошажий.  
Он на кол на плетневый насажен.  
Нахлобучен, надет набекрень.  
Неба мало столетнему грабу.  
Тянет яблоня мшистую лапу,

Ядра яблок бодают балкон.  
По накрапу узнай, по накрапу  
И на щелканье и на звон  
Зрелый плод.  
Он румяней и круче.  
Чаще в полдень звездю падучей  
Детству под ноги рушится он.

Слева ульев пчелиных колодки,  
Крепким медом грузенные лодки.  
Пчелы пьяны от сладкой росы,  
Но, однако, с хозяином кротки,  
Кружат, путаясь в сивой бородке,  
Как в траву, заползают в усы.

Утро раннее.  
Зов бригадира.  
Закусив простоквашей и сыром,  
Все уходят, тропую пыля,  
Кто в бригаду к девчонкам-задирам,  
Кто на ферму, а кто на поля.  
Теплый вечер, и сумрак лиловый.  
Блеют козы. Мычит корова.  
К ней хозяйка подходит с ведром.  
Осторожно ласкает имя,  
Гладит теплое, круглое вымя,  
Протирает, как щеткой, хвостом.

Жадно пальцы сосцы зажали.  
Зазвенели, потом зажужжали  
Струйки синего молока...

...Я не знаю, что это значит:  
Храп коня или лай собачий  
Все мне слышатся издалека.

И когда мне теперь неуютно  
И какая-то горечь паскудно  
Лезет горлом, сжимает виски,  
Глядя в плотную темень ночную,  
Тихо-тихо сквозь зубы шепчу я:  
— Милый дедушкин дом, помоги!

Помоги мне! Неужто напрасно?  
Или чем-нибудь веку опасна  
Родниковая ранняя рань?  
Дай мне силы расправить плечи,  
Слово вымолвить по-человечьи,  
Первородною свежестью грянь!

## РАЗЛУКА

Когда летит на черноморские долины  
Усталый запах вызревших плодов,  
Тогда кончается сезон перепелиный,  
Охотники пускают ястребов.

Что ястребу? Ему бы в небо взвиться,  
Но, странную тревогу затая,  
По-своему грустит и плачет птица  
И не спешит в далекие края.

Бездомный дух, горячая истома,  
Дух перелета головы пьянит,

А ловчий ястреб кружится у дома  
И даже сесть на руку норовит.

И, на него в смятении похожий,  
Предчувствием хозяин оглушен:  
Ведь что ни говори, товарищ все же...  
Еще один окончился сезон.

Что ястреб мне? Что ястребиный  
коготь?

Свою беду не выдам никому.  
Но та привязанность не может не  
растрогать,  
Хотя она, конечно, ни к чему.



Сирень и молнии и пригород Москвы,  
Вы мне напомнили, а может, и не вы...  
Сирень и сполохи, и не видать ни зги,  
И быстрые по гравию шаги,  
И молодость, и беспризорный куст,  
И самый свежий, самый мокрый хруст,  
Где кисти, тяжелея от дождя,  
Дрожмя дрожали, губы холодя,  
Дрожмя дрожали, путались, текли...  
И небом фиолетовым вдали  
Твой город, забегая за предел,  
Библейским небом грозно пламенел  
И рушился, как реактивный вал.  
И в памяти зияющий провал.  
Так, значит,— всё? Так, значит,—  
отрешишься?

Но я свою хочу додумать жизнь,  
Когда дожить, в бесчестие не впав,  
Нет признаков, мой друг... Иль я не прав?  
Но почему ж так хлещут горячо  
Сирень, и молнии, и что-то там еще,  
Похожее на плачущую тень?  
Кто ты? Что ты? Я все забыл. Сирень...

## Римма Казакова

### СЛОВА

Меня слова ночами мучили,  
как зубы, не давали спать.  
То я их находила, лучшие,  
а то теряла их опять.

Но вот живу в избе, что прадедом  
еще поставлена была.  
Живу по деревенским правилам,  
и жизнь такая мне мила.

Я вижу, как хозяйкам весело,  
как все приветливо с утра,  
когда звучит коровья песенка  
в хлеву, во глубине двора.

Мне эта песенка несложная  
так благодатна, так сладка,  
как будто деревянной ложкою  
хлебаю щи из чугунка.

Как будто тихо и уверенно  
в меня перелилось с зари  
все это луговое, клеверное,  
светящееся изнутри.

И, становясь какой-то новою,  
с надеждой, робкой и большой,  
как пес над хитрой лисьей норкою,  
стою над собственной душой.

Ищу слова — уже не запросто,  
не так, как по воду бегут, —  
как рубят лес, вгрызаясь в заросли,  
как сеют, косят, хлеб пекут.

Те добрые, во всем подобные  
тебе, земля, тебе, трава, —  
те самые — как из подошника —  
парные, теплые слова...

## Алексей Кафанов

◆ ◆ ◆  
Я не знаю, может, отменили  
Или позабыли тот обряд, —  
Но какие свадьбы раньше были!  
И не так уж много лет назад.

По Талгарской улице под крики  
Опохмельных вполупьян парней  
Вылетали кони — тройка диких,  
Азиатских мешаных кровей.

В колокольцах расписные дуги.  
Вожжи забирая в пятерню,  
Сам жених, бледнея от натуги,  
Бег дает заглавному коню.

В бантах-лентах расписные дуги.  
Белый шелк да пламень кумача.  
При невесте в полный круг подруги,  
А невеста плачет в три ручья.

Я тогда — мальчишка, малолеток —  
Слез ее не мог уразуметь.

Я полжизни б отдал, чтобы этак  
Взалихват на тройке прогреметь.

Отзвенели колокольцы эти.  
Я давно женат-переженат.  
У меня уже такие дети —  
Им самим жениться в аккурат.

Я не знаю, может, запретили  
Тот обряд, а может, позабыт.  
Мы бы нынче свадьбу закатали,  
Так, чтоб искры враз из-под копыт.

Чтоб жених, лицом со мною схожий,  
Пиджачок накинув на плеча,  
Гнал коней, натягивая вожжи,  
А невеста — слезы в три ручья.

А вослед грохочущей упряжке  
Крики, смех да легкая вьюга —  
Карамелек яркие бумажки  
И каленых семечек лузга.

## Инна Кашежева

### ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Еще отцу всего четыре года  
(потом, потом отнимет их война...),  
еще холодным лезвием луна  
не отсекала с зазубрин гор восхода.  
И нет на свете матери моей,  
ей долго ждать счастливого прихода  
в мир, где не будет сельского прихода  
и поп не окунет ее в купель.  
Еще один мой дед творит намаз,  
другой, в России, не крестясь ложится...  
Им суждено во мне соединиться,  
все наши предки оживают в нас.  
Но обо мне замолкнем до поры, —  
моих времен историку касаться...  
Еще летят двуглавые орлы  
с кандалным звоном по Москве  
кабацкой.  
И нет Москвы, что мы зовем Москвой,  
Москвы и молодой и легендарной,  
но дата есть на створке календарной:  
семнадцатый стоит как часовой.  
И есть Нева, и это мой исток,  
а на Неве еще молчит «Аврора»,  
она еще молчит, но очень скоро...  
вот только чуть окрасится восток.

## Дмитрий Ковалев

### СОЛНЕЧНЫЕ СНЕГА

Сыпуче, зимне в сосняках.  
В полях — сугробные торосы.  
В молочно-солнечных снегах —  
телесно теплые березы.

Их осязаю как твою  
земную близость —  
всею сутью.  
И затемно еще встаю —  
чтоб выйти к людям по безлюдью.

Не сам в себя, не в забытьё.  
Люблю я не в толпе, не в спешке.  
Чтоб жизнь сама, а не житьё.  
Мне люди дороги, не пешки.

Когда от них я отдаюсь —  
отчетливее вижу лица.  
Собою с ними я делюсь,  
прошу со мною поделиться.

Чистейший ранний мир дорог,  
пылающие печи в хатах,  
как ты естественно далек  
от суесловных и предвзятых.

Твои заботы к сердцу льнут.  
И солнце видится сквозь иней.  
И ход несуетных минут.  
И яркость телеграфных линий.

Она — как мел по синеве.  
А высоко над проводами  
плывут, как думы в голове,  
не тучи — годы за годами.

Ни нареканий. Ни хвалеб.  
Работа радует и роздых.  
Сугробы обещают хлеб.  
А к хлебу есть вода и воздух.

Так в мире хочется дружить.  
Так счастье дорого людское.  
Пусть из лучей прядется нить  
и ткется полотно покоя —

того, в котором бури мрут,  
посевам вырастать несорно,  
того, в котором зреет труд  
и мудрость наливает зерна.

## НЕДОЛГИЙ ДЕНЬ

Рань — словно прозревает из веков  
старинной позолотой образов.  
И вся она — как будущего зов  
за силуэтами грузовиков.

Они бегут, отчетливо видны,  
как по черте чернильной, по шоссе,  
иссиня-фиолетовые все,  
сияньем розовым обведены.

Меня навстречу мой рабочий мчит.  
А по другую сторону пути  
петух горланит и телок мычит,  
гогоцут гуси...

Восемь без пяти.  
В неотогретости ночной густой —  
луг выплывший над бледностью речной,

свет бирюзы в телесности, как зной...  
И всё — течение, а не застой.

Сквозь золотистость сизую, светясь,  
молочно проступают стены хат.  
Прикрытая ледком, на лужах грязь  
горит.  
И пахнет дымом талый сад.

И женственны в леске осин тела.  
Постелью неопавшею листва.  
И всё с запасом до весны тепла.  
И столько у меня со всем родства.

И нераздельны эти лед с огнем.  
И пятна крыш, что камешки на дне...  
О спелом, о моем, недолгом дне —  
о нем все это, все о нем, о нем...

## ВОДА ГОРИТ

На красном черный танкер в черноте.  
Торпедой вырвало ему железный бок.  
И пламя, как морской с трезубцем бог,  
на горизонтной высится черте.  
Задрал воитель нос. Но не от спеси, нет.  
Поникла свастика. Идет ко дну.  
И расплылось пятно, и хлынул свет,  
где тьма была, как море в глубину, —  
теперь хоть каждую сочти волну.  
Вода горит — и никого нигде...  
Но кто их звал сюда?..  
Вода горит.  
Сыпучим дымом в пламени курит...  
И мы уже не те,  
совсем не те.  
Нам многое видней при вспышках волн.  
Нам многое ясней со всех сторон.  
У перископа командир один.

Но видим всё в отсеках,  
видят все:  
лицо глубин в трагической красе.  
Ни волн морщин, ни вспененных седин,  
все нефть разгладила.  
Тих океан и дик.  
Воронку радугой заволокло.  
Кровавится зеленых струй стекло.  
У стрелок на приборах нервный тик.  
И очистительна огня слюда —  
нам жутко весело в пожаре тьмы.  
Мы дико радуемся, что вода горит,  
и что ни крика их и не следа —  
что мертвые они,  
что живы мы...  
И совесть нас за это не корит.

1943 — 1967

# Александр Коваль-Волков

## МОРЯК С «АВРОРЫ»

*Сыну Славе*

Моряк военный, тот, что Зимний брал,  
Что на Дворцовой площади упал,  
На площадь Революции, в метро,  
Спустился и взошел на пьедестал.

Перепоясан лентами бушлат,  
И на ремне холодный стук гранат,  
Здесь, будто перед штурмом, он присел,  
Чуть в стороне от остальных ребят.

Сидит и думу думает свою,  
Проверенную сердцем в том бою,

В его руке увесистый наган,—  
Я моряка с «Авроры» узнаю.

А перед ним в зовущие года  
Пронесятся по рельсам поезда,  
Их добрым взглядом провожает он,  
Свой пост не покидая никогда.

И каждый проходящий мальчуган  
Протиснуться спешит к его ногам,  
И морячок дает ему тайком  
Потрогать легендарный свой наган...

## СЫНУ

Коль грянет бой —  
Ты станешь рядом.  
Отец и сын  
шли рядом в бой  
На баррикадах Пресни,  
в пятом,  
В октябрьском штурме  
над Невой.  
И мне доказывать не надо:  
На той войне  
сам  
видел я,  
Как умирали часто рядом,

С отцами рядом  
сыновья.  
Как возле города Берлина,  
Победы  
затянув кольцо,  
Отец сжимал в объятьях сына,  
И сын был горд своим отцом.  
Мужайте, мальчики,  
за нами  
И свято помните о том:  
Тогда  
мы были сыновьями,  
Отцами стали мы потом.

# Яков Козловский



Как ждут погоды под дождем,  
Неравнодушные к потерям,  
Разочарованные — ждем  
И очарованные — верим.

И в двадцать лет, и даже в сто,  
Таков характер человека,  
Все верят в лучшее, — никто  
Не верит в худшее от века.

И в очарованном строю, —  
Пусть многих это озадачит, —  
Иной в душе печально прячет  
Разочарованность свою.

Надежда, будь моим вождем,  
Не покидай высокий терем.  
Разочарованные — ждем  
И очарованные — верим.

## ЗАИМОДАВЦЫ

Нам годы, как заимодавцы,  
В долг все бесценное дают.  
И ни пройдохи, ни лукавцы  
Вкруг пальца их не обведут.

Вначале,  
        верные подъему,  
Дни не спешат.  
        И потому  
Вначале кажется иному,  
Что все навек дано ему.

Но сокращается дорога,  
Дни словно ускоряют ход.  
И каждый новый год намного  
Быстрее, чем минувший год.

И ближе друг от друга вехи,  
Покатист путь, как аналой.  
Ах, где вы, прежние утечи,  
Безумства удали былой?

К листве опавшей, к тучке белой,  
К лугам зеленым возле рек  
Уже, бросая взгляд не беглый,  
Присматривается человек.

Но жизни чашу круговую  
Он не допьет наверняка:  
Сведут, как в яму долговую,  
Заимодавцы должника.

## Алексей Кондратьев



Какие добрые снега  
Обняли все вокруг, --  
И белой речки берега,  
И каждый тихий звук.  
А вдоль дороги тополя,  
Спокойны и просты,  
И лес глядит через поля  
На зябкие кусты.



Незначай, по прихоти судьбы,  
Вот сейчас тебя увидеть мне бы  
Без упрека, грусти и мольбы,  
Женщина — мое второе небо!

Не сердись, что позабыть не смог  
Темнотой испуганные руки,

Тела твоего живой поток,  
Двух сердец ночные перестуки.

День, прожженный горечью насквозь,  
Вечера холодную усталость...  
Так забыть тебя и не пришлось,  
Ты прости, что ты во мне осталась.

## Коржавин



Видать, была любовью  
Ты все ж в моей судьбе.  
Душой, губами, кровью  
Тянулся я к тебе.

И жизнь внезапно цену  
Иную обрела.  
И всё твоя измена  
Под корень подсекала.

Ну что ж! Живу теперь я  
Неплохо. Ничего.

Не верю в счастье. Верю,  
Что можно без него.

И жизнь на сон похожа,  
И с каждым днем я злей.  
И ты, наверно, тоже  
Живешь не веселей.

Безверье и усталость  
В душе, в судьбе, в крови...  
Приходит рано старость  
К живущим без любви.



В Кишиневе снег в апреле,  
Неожиданный для всех.  
Вы чего, господь, хотели,  
Насылая этот снег?

Он от вас, с небес, слетает,  
Сыплет с серых облаков,  
Неприятно охлаждает  
Теплый город Кишинев.

И пускай он тут же тает,  
Он сгущает серость дня.  
Чем, конечно, угнетает  
Всех на свете и меня.

Очень странно видеть это, —  
Снег без счастья, без игры.  
После солнца, после лета,  
После света и жары...

...Холодов терпеть не может  
Этот город летних снов.  
Как в ущелье, расположен  
Он на склонах двух холмов.

А сегодня снег в ущелье,  
И туман на лицах всех...  
Вы нам что сказать хотели,  
Насылая этот снег?

Что пора забыть про ересь?  
Вспомнить вновь, как вы сильны?  
Непонятно. Давит серость.  
Давит скука в дни весны.

Все во мне с тем снегом спорит.  
Серость? Скука? — Чепуха!  
Я ведь помню: этот город —  
Город светлого греха.

Здесь — два месяца уж будет —  
Без венца — о чем скорблю —  
Я живу — простите, люди! —  
С той, которую люблю.

С той веселой и капризной,  
Смех вносящей на порог,  
Без которой счастья в жизни  
Я не знал. И знать не мог.

С той, что может быть серьезной,  
Но не прочь и чушь молоть...  
С той, к кому вы сами поздно  
Привели меня, господь.

В Кишиневе снег в апреле  
Сыплет мрачно, давит всех...  
Доказать вы что хотели,  
Насылая этот снег,

Возбуждая эти мысли?..  
Что у страсти дух в плену?  
Что права я все превысил?  
Лямку честно не тяну?

Зря. И так ознобом бродит  
Это все в крови моей.  
От себя меня уводит,  
И от вас, и от людей.

От всего, чем жил сурово,  
Что вдруг стало ни к чему...  
И от слова. Даже слову  
Я не верю своему.

В Кишиневе снег в апреле  
Ни за что терзает всех...  
И зачем вам, в самом деле,  
Нынче нужен этот снег?

Разве честно мстить за страсти?  
Не от вас ли дух и плоть?  
Не от вас ли это счастье,  
Что открылось мне, господь?

Так за что вконец измучен  
Я лишением души?  
Что вам — вправду было б лучше,  
Чтоб и впредь я жил во лжи?  
Иль случайный приступ злости —  
Снег, что с неба к нам слетел?

... Часто кажется,  
  что просто  
Удалились вы от дел  
И, внезапной власти рады,  
С упоением ребят  
Небо ваши бюрократы —  
Ваши ангелы — мутят.

## Алла Коркина



Мы встретились с подругою. Она  
была худа, серьезна, некрасива.  
Цветли кусты дворянского жасмина  
в знакомом украинском городке.  
А были мы с предначертаньем добрым —  
две дурочки из студии балетной,  
две дудочки из звучного ореха.  
Какую песню замышляет жизнь?

## Григорий Корин



Хорошо ели летчики на войне,  
Белый хлеб ели, шоколад.  
Хорошо ели летчики на войне,  
Только был аппетит плоховат.

Хорошо спали летчики в эту войну —  
На матрасе, на простыне.  
Хорошо спали летчики в эту войну,  
Только вслух говорили во сне.

Хорошо пили летчики в эту войну, —  
Им за каждый полет — чистый спирт.

Хорошо пили летчики в эту войну,  
Да приказ был особый — не пить.

Хорошо награждали — полно орденов.  
Орден не жалели и звезд.  
Хорошо награждали — полно орденов,  
Да не каждый до дому донес...

Сколько летчиков пало в эту войну?  
Знают только поля и леса.  
Сколько летчиков было в эту войну?  
Было больше, чем звезд в небесах.

## Владимир Костров



Землею пустынной, сырую  
в деревню,  
и в песню,  
и в стих  
с войны возвращались герои  
в бессмертных шинелях своих.  
В своих семимильных обмотках,  
тяжелых почти как судьба.  
И звезды на рыжих пилотках  
колюче светили со лба.  
Сжимали детишек бездомных  
легко в беспощадных руках,  
искали подарки в бездонных,  
на тысячу лет, рюкзаках.  
Тушёнку, как чью-то душонку,

вскрывали солдатским штыком,  
совали солдатскую ложку  
со съеденным косо носком.  
Ласкали своих неумытых,  
узнавших и холод и страх,  
и кашу варили в пробитых,  
в заклепанных тех котелках.  
Но, видно, в кустах динамита,  
в том минно-снарядном ерше,  
жестокая наша обида  
еще не остыла в душе.  
Я в синем дыму самосада,  
в сверканье наград боевых,  
почти не выдерживал взгляда  
тяжелых зрачков голубых.



Встань к Уралу лицом —  
слева будет тайга,  
и Архангельск,  
и тундра.  
Справа — Астрахань,  
Крым и Кавказ,  
и шагни за порог —  
на дорогах Сибири,  
идущих круто и трудно,  
отпечатай в пыли  
скороходный кирзовый сапог.  
Слева злые ветра,  
хулиганя, просвищут в три пальца,  
шевелинется букашка,  
и дверь проскрипит поутру,  
и собаки забрешут,  
и станут сороки трепаться,  
гренадерские сосны станут  
на солнечном царском смотре.  
Справа горы застыли  
в мусульманском святом разговоре,

копошится пчела на развернутом  
чайном листке,  
шоколадные женщины  
выходят из Черного моря  
и шуршат, как пироги,  
на крупнозернистом песке.  
Прямо — волки, как урки,  
идут на сохатых облавой.  
И задумали селезни  
пушистых весенних утят.  
Наплывают огни  
разномастной веселой оравой,  
как гитары строителей,  
высоковольтки гудят.  
Ты пройдешь через лето,  
азиатскому гнусу перечая,  
приживая детей,  
наживая друзей и врагов,  
и однажды под осень  
опустятся тихо на плечи  
лейтенантские звезды  
серебряных русских снегов.

# Анисим Кронгауз

## БИТНИКИ

Есть и в Стокгольме старые заборы,  
Где в стороне от суетной толпы  
Юнцы рисуют (мне бы их заботы!)  
Ругательства, эмблемы и гербы.

И на заборе временном и вечном,  
Какие я в московском детстве знал,  
В соседстве со звездой пятиконечной  
Один нарисовал фашистский знак.

Мне показалось:  
Бомба разорвалась!..  
Но с прежним безучастием текла  
Лиловость век,  
Коленок розоватость —  
Воскресная вечерняя толпа.  
Вчера о каждом рассказала

внешность —

В каких кварталах выросал малыш.  
Сегодня классовую принадлежность  
Здесь по заплатам не определишь.

Запутался я в воскресенье сам же, —  
Не прежнее, не внешнее ищи:  
Шли рагеры —  
Простые парни в замше,  
Шли битники —  
В заплатках богачи.

Без туфель, в джинсах вытертых  
«босячки»,  
Хотя машина каждую ждала...  
Нарядная от вечной недостачи,  
Рабочая девчонка робко шла...

Здесь целовались на ходу лениво  
И безучастно, словно через фильтр, —  
Девчонка за мальчишескою гривой  
Зажала в желтых пальцах  
«честерфильд».

Толпа струилась медленно и мерно,  
Белеса, не грустна, не весела,  
Счастливое бесстрашие модерна  
Вблизи забора старого несла.

Они и не заметили рисунка.  
И свастики соседство со звездой  
Ничуть не возмутило их рассудка,  
Души, как ранний вечер, молодой.

В их необыкновенной пестрой массе  
Так непривычно, странно стало мне,  
Как человеку первому на Марсе  
Или посланцу Марса на земле.

# Эльмира Котляр

## ЯКИМАНКА

Якиманка!  
К тебе явилась я, беглянка.  
В моем окне шестого этажа  
уже другая теплится душа.  
Здесь каждая щербиночка знакома,  
как фотография семейного альбома:  
толстовская читальня —  
моя исповедальня!  
Почтовое окошко,  
аптека, неотложка.  
О парикмахерское чудо!  
Меня ты украшало худо.  
Как под окном  
знакомая шарманка,  
поет мне Якиманка.

## СИРЕНА

Пятнадцать лет!  
Я любила балет.  
Я на свидание  
пришла заранее.  
У меня беретик  
как маков цветик.  
Я танцевала  
вальс-бостон,  
крутила патефон.  
И вдруг  
над головой  
сирены вой!..  
Я выглянула из окна.  
— Все кончено! —  
мне крикнула война.

◆   ◆   ◆

Моя телефонная трубка,  
 в себя ты впитала,  
 как губка,  
 друзей и знакомых призывы:  
 — Мы живы!  
 — Мы живы!  
 — Мы живы! —  
 И радостный вздох узнаванья,  
 в мембране мое ликованье.  
 И голос чужой,  
 барабанный:  
 — Незванный, незванный, незванный...—  
 И вновь возвращенье на круги:  
 — О други,  
 о други,  
 о други!

## Валентин Кузнецов

### СОКОЛ

Упади на плечо мое, сокол,  
 Голос неба в когтях принеси.  
 Сколько слышал ты песен высоких,  
 Сколько ты бедовал по Руси!

Что тебе еще в жизни осталось?  
 Пусто в небе. И в поле серо.  
 Притупляется зрение. Старость.  
 Выпадает седое перо.

К молодым не пристать.  
Не пробиться.  
 И об этом ты знаешь давно.  
 И тебе, моя верная птица,  
 Умереть в небесах суждено.  
 Ты свое отлетал. Отработал.  
 Много сам повидал на веку.  
 Для тебя. Для последнего взлета  
 Я последний заряд берегу.

### ГОРОД-ЛЕС

В город-лес приедешь. Глянешь. Ах!  
 Мол, такого не видал от веку:  
 Соловьи поют на этажах,  
 Этажом считай любую ветку.

Походи. Послушай. Подивись.  
 Сумерки шуршат в кустах ежами.  
 Тишина крадется, словно рысь  
 С мягкими, пушистыми ушами.

Здесь брусника туго налита,  
 Тронешь пальцем — лопнет от пореза.  
 Топчется медведем темнота  
 В самой глубине сухого леса.

По утрам по лесу — тарарам:  
 Город мой встречает хлебосольно.  
 Здесь зверям живется как царям  
 И пернатой вольнице раздольно.

Оторви попробуй-ка меня  
 От цветов, от лиственниц, от луга!  
 Своего зеленого коня  
 Ни за что не уступаю я другу.

Город-лес таит мой первый шаг,  
 Как же мне ему не поклониться...  
 Соловьи поют на этажах  
 В северной захвоенной столице.

## Светлана Кузнецова

◆ ◆ ◆

Заря на снега не брызгала,  
Страна не платила по акциям,  
И в нас не вбивалось сызмала  
Самосознание нации.  
Но мы-то ночами длинными  
В годы те все равно  
Снились себе былинными  
И знали, что нам дано —

На зверя ходить с рогатиной  
Среди глубокой зимы,  
Что вскормлены медвежатиной  
И спиртом вспоены мы.  
И стоило нам ночами  
В даль повести очами,  
Как родина роковая  
Вставала, себя узнавая.

## Татьяна Кузовлева

◆ ◆ ◆

Ночь майская темным-темна.  
Пушистых листьев говор пряный.  
Но есть один квадрат окна,  
в ночи сияющий упрямо.

Там бьется полдень на лету,  
как птица белая, среди ночи.  
Что делать, если нету мочи  
принять благую темноту?

Что делать, если так далек  
наипоследний всплеск накала,  
когда содеянного мало,  
чтоб просто перейти порог?

И вот, к спасению ключи  
неся с собой, сольются мудро  
огонь, бунтующий в ночи,  
со светом завтрашнего утра.

И может быть, на стыке тех  
двух нетождественных явлений,  
как будто первородный грех,  
таится сущность обновлений.

Снисходит истина шутя  
в короткой полотняной робе,  
и к свету просится дитя,  
весь день носимое в утробе.

## Станислав Куняев

◆ ◆ ◆

Стадион. Золотая пора.  
Шум толпы. Ожидание старта.  
Лихорадочной крови игра.  
Вкус победы и ярость азарта.  
Кто-то дышит за правым плечом,  
что ни шаг — тяжелее шиповки.  
Все равно я тебя, Толмачев,  
обойду и не выпущу к бровке.  
Каждый финиш и каждый забег  
были по сердцу мне и по нраву,

я любил этот жалкий успех  
и его эфемерную славу!  
А когда у пустынных трибун  
я с тобой по ночам расставался, —  
этот гул, этот свист, этот шум  
над моей головой продолжался.  
Стадион заполнялся луной,  
и глядели холодные тени,  
как кумиры мои по прямой  
финишируют прямо в забвенье.

◆ ◆ ◆

Еще осталась тишина  
в домах, где облупились ставни,  
где тлеет огонек герани  
в проеме низкого окна.

Еще осталась тишина,  
ушедшая в сады, в заборы,  
в калитки, в ржавые запоры,  
в полуживые времена.

Была веселая пора:  
от голубятни, со двора,  
трехпалый посвист разливался,

и у колонки звон ведра  
на всю округу раздавался.

А если траурный оркестр  
вдруг нарушал покой округи,  
сходились жители окрест  
и провожали эти звуки.

Печаль светилась торжеством,  
у лошадей лоснились крупы.  
Плыл катафалк. Звенели трубы,  
сверкающие серебром.

◆ ◆ ◆

Голубь ворочается в гнезде,  
горная речка скулит по-собачьи.  
Где бы ты ни был, мой друг, тебе  
я в этот вечер желаю удачи.

Шум водопада стоит в ушах,  
переполняет меня постепенно.  
Малые дети на ишачках  
едут домой с охалками сена.

Вспыхнула искоркою звезда,  
горестно закричали птахи:  
малый птенец упал из гнезда,  
смотрит на человека в страхе.

Без толку, глупый, чего пищать?  
Если уж вылупился — что делать?  
Мир не удастся перекричать,  
жизнь не получится переделать.

Что-то случилось: с недавних пор  
я полюбил бессловесных тварей...  
На горизонте вершины гор  
медленно тают в розовой хмари.

Там золотится Афганистан,  
тянется в Индию черная складка,

мимо зеленой горы Чильдухтар,  
к снежным россыпям Туполанга.

Множество самых прекрасных  
чувств  
время смелѐ, словно листьев грудю,  
только шиповника алый куст,  
странное дело, не позабуду.

Как он расцвел на исходе дня  
цветом пламенным и воздушным  
и растерял лепестки огня  
в мире нежном и равнодушном.

А в камыше цикады звенят,  
а у арыка шакалы воют.  
Чувствую: время придет — и меня  
воздух родины успокоит.

Что-то я недоволен собой,  
мысли заняты посторонним.  
Все осторожничаю с судьбой,  
словно я заболел здоровьем.

Пламя свечи. Шорох травы.  
Южное небо. Ветер. Прохлада.  
Тихо сливается шум в крови  
с шумом горного водопада.

# Юрий Левитанский

## ИЗ КНИГИ «КИНЕМАТОГРАФ»

### ВРЕМЯ, БЕССТРАШНЫЙ ХУДОЖНИК...

Время, бесстрашный художник,  
словно на белых страницах,  
что-то все пишет и пишет  
на человеческих лицах.

Грифелем водит по коже.  
Перышком тоненьким — тоже.  
Острой иглою гравера.  
Точной рукою гримера.

Таинство света и тени.  
Стрелы, круги и квадраты.  
Ранние наши потери.  
Поздние наши утраты.

Скаредность наша и щедрость.  
Суетность наша и тщетность.  
Мужество или гордыня.  
Ханжество и добродетель.

Вот человек зарисован  
так, что ему уже больно.  
Он уже просит: — Довольно,  
видишь, я весь зарисован!

Но его просьбы не слышит  
правды взыскующий мастер.  
Вот он отбросил фламастер,  
тоненькой кисточкой пишет.

Взял еще перышко в руку —  
пишет предсмертную муку.  
Самый последний штришочек.  
Малую черточку только.

Так нас от первого крика  
и до последнего вздоха  
пишет по-своему время  
(эра, столетье, эпоха).

Пишет в условной манере  
и как писали когда-то.  
Как на квадратной фанере  
пишется скорбная дата.

Отсветы. Отблески. Блики.  
Пятна белил и гуаши.  
Наши безгрешные лики.  
Лица греховные наши.

Вот человек среди поля  
пал, и глаза опустели.  
Умер в домашней постели.  
Выбыл из вечного боя.

Он уже в поле не воин.  
Двинуть рукою не волен.  
Больше не просит: — Довольно! —  
Все, ему больше не больно.

### КАК ПОКАЗАТЬ ОСЕНЬ

Еще не осень — так, едва-едва.  
Ни опыта еще, ни мастерства.  
Она еще разучивает гаммы.  
Не вставлены еще вторые рамы,  
и тополя бульвара за окном  
еще монументальны, как скульптура, —  
еще упруга их мускулатура,  
но день-другой —  
и все пойдет на спад,  
проявится осенняя натура,  
и, предваряя близкий листопад,  
листва зашелестит, как партитура,

и дождь забарабанит невпопад  
по клавишам, и вся клавиатура  
пойдет плясать под музыку дождя.  
Но стихнет, и немного погоды,  
наклонностей опасных не скрывая,  
бегом-бегом по линии трамвая  
помчится лист опавший, отрывая  
тройное сальто, словно акробат.  
И надпись: «Осторожно, листопад!»,  
неясную тревогу вызывая,  
раскачиваться будет, как набат,  
внезапно загудевший на пожаре.

И тут мы впрямь увидим на бульваре  
столбы огня. Там будут листья жечь.  
А листья будут падать, будут падать,  
и ровный звук, томящийся в листе,  
напомнит о прямом своем родстве  
с известною шопеновской сонатой.  
И тем не мене листья будут жечь.  
Но дождик уже реже будет течь,  
и листья будут медленней кружиться,  
пока бульвар и вовсе обнажится,  
и мы за ним увидим, в глубине,  
фонарь у театрального подъезда  
на противоположной стороне,  
и белый лист афиши на стене,  
и профиль музыканта на афише,  
и мы особо выделим слова,

где речь идет о нынешнем концерте,  
фортепианной музыки и в центре  
стоит: «ШОПЕН, СОНАТА № 2».  
И словно бы сквозь сон,  
едва-едва,  
коснутся нас начальные аккорды  
шопеновского траурного марша,  
и станут отдаляться, повторяясь  
вдали, как позывные декабря.  
И матовая лампа фонаря  
затеплится, сиянием несмелым  
затронув лист афиши на стене.  
Но тут уже повалит белым-белым.  
Повалит густо-густо  
белым-белым.  
Но это уже — в полной тишине.

## Семен Липкин

### ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ

#### ПАМЯТНОЕ МЕСТО

Без боли колет воздух туя.  
Береза бело-золотая,  
Сама себя живописуя,  
Пылает, блещет, облетая.

Маляр, баварец белокурый,  
В окне открытом красит рамы,  
И веет от его фигуры  
Отсутствием душевной драмы.

В просторном помещенье печи  
Остыли прочно и сурово.  
Грядущих зол они предтечи  
Иль знаки мертвого былого?

Слежу я за спокойной кистью  
И воздух осени вдыхаю,  
И кружатся в смятенье листья  
Над бывшим лагерем Дахау.

#### ЗОЛА

Я был остывшею золой  
Без мысли, облика и речи,  
Но вышел я на путь земной  
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв  
И прежней смерти не оплавав,  
Я шел среди баварских трав  
И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли  
«Фольксвагены» и «мерседесы»,  
А я шептал: «Меня сожгли.  
Как мне добраться до Одессы?»

## ОТСТРОЕННЫЙ ГОРОД

На память мне пришло невольно  
Блокады черное кольцо,  
Едва в огнях открылось Кельна  
Перемещенное лицо.

Скажи, когда оно сместилось?  
Очеловечилось когда?  
И все ли заживо простилось  
До срока Страшного Суда?

Отстроился разбитый город,  
И, стыд стараясь утаить,  
Он просит нас возмездья голод  
Едой забвенья утолить.

Но я подумал при отъезде  
С каким-то чувством молодым,  
Что только жизнь и есть возмездье,  
А смерть есть ужас перед ним.

## СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе  
Иль отчаянье воли у вьючных,—  
Так загадочней нет в словаре  
Однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно,— и ему лишь дано  
Обуздать полновластно различья,  
С ночью день сочетает оно,  
Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,  
В этом И — наш союз и подспорье...  
Я узнал: в азиатском заморье  
Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатые,  
Память луга, надела, двора,

Неприятие лжи и понятия  
Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость  
Человеческой нашей семьи,—  
Все сплотилось и мощно сроднилось  
В этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне  
Приближается мать к алтарю,  
Это я — тем сильнее и всемирней —  
Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь немеет.  
И я знаю: сойдет с колеи,  
Человечество быть не сумеет  
Без народа по имени И.

## НОЧИ В ЛЕСУ

В этом лесу запрещается рубка.  
Днем тишина по-крестьянски важна.  
Здесь невозможна была б душегубка.  
Кажется, здесь неизвестна война.

Но по ночам разгораются страсти.  
Сбросив личину смиренного дня,  
Сосны стоят, как военные части,  
Ели воюют, не зная меня.

Я же хочу в этот лес-заповедник,  
Где глубока заснеженная падь,  
Не как идущий в народ проповедник,  
А как земляк-сотоварищ вступать.

Словно знаток всех имен я и отчеств,  
Словно живут средь соседей лесных  
Гордые ночи моих одиночеств,  
Робкие ночи пророчеств моих.

## Инна Лиснянская



Горела свеча.  
Фитилек в тишине  
Трещал, как листок сентября.  
Казалась мне тень твоя на стене  
Куда красивей тебя.  
Она почему-то была теплей  
И подлиннее лица,  
Была лишена той игры теней,  
Которая без конца

Меняла лицо твое, — то ты фарс,  
То фокусник, то аскет...  
От красной, современной свечи в этот раз  
Тянулся прекрасный свет.  
Мне тень не являла черт суеты.  
И даже подумалось мне,  
Что вот обернусь  
И увижу, что ты  
Красивей, чем тень на стене.



Моя работа бедная! Она  
Всегда так далека от идеала.  
И пусть! Да не была б я лишена  
Сопротивления материала!

Сопротивляйся, дерево, резцу,  
Перу — бумага и земля — лопате!  
Размазывая время по лицу,  
Я подбираюсь к собственной тетради.

О, враг мой верный, мой заклятый  
друг,  
Не дайся в руки, выскользни из рук!

## Марк Лисянский

### ЯБЛОКИ

В детстве яблок маловато,  
Больше их у нас под старость.  
Человечеству когда-то  
На двоих одно досталось.  
Нынче яблоки навалом  
И для юных и для старых.  
Ливень хлынул небывалый,  
Ливень яблок — на базары.  
Пахнет яблоками пристань,  
Пахнет остро,  
Пахнет звонко.  
Словно в бочке сок игристый,  
Пахнет яблоками Волга.  
Ими вся земля пропахла,  
Шар земной и свеж и ярк.

Не пустыня и не плаха,  
А планета райских яблок!  
Ведра, ящики, корзины,  
Горы — желтых, красных, белых...  
И ларьки и магазины  
Дышат духом яблок спелых.  
Две достойных половины  
Составляют запах этот —  
Полновластный, терпкий, винный  
Запах осени и лета.  
Ни ограды, ни забора  
Не оставил людям я бы...  
Нет, не яблоком раздора  
Быть земле, где столько яблок!

## Владимир Лифшиц

### БАЛЛАДА О ПОСЛЕДНЕМ УРОКЕ

Про войну немало песен спето,  
Только вы не ставьте мне в вину,  
Что опять,  
Что я опять про это,  
Про давно минувшую войну.  
Мне штыки мерещатся и каски,  
И холмом, что всем ветрам открыт,  
Крагуевац — город югославский —  
Забывать о прошлом не велит...

Партизаны  
Бьют в горах фашистов,  
Озверели немцы — терпят крах:  
Расстрелять  
Подростков-гимназистов  
Решено, родителям на страх.  
В Крагуевце  
Знает каждый житель,  
Что покинуть класс учитель мог,  
Но сказал гестаповцам учитель:  
— Не мешайте мне вести урок...

А потом вот здесь,  
На этом месте,  
Гимназисты выстроены в ряд,  
И стоит учитель с ними вместе,  
Не оставил он своих ребят.

А стрижи  
Со щебетом и свистом  
Улетают в голубую высь...  
Говорит учитель гимназистам,  
Чтобы крепче за руки взялись.

Расстегнув сорочки белой ворот,  
Он с детьми  
Сейчас шагнет во тьму...  
— Вы свободны!  
Возвращайтесь в город, —  
Объявил гестаповец ему.  
Камни, камни,  
Что же вы молчите?  
Шевелит седины ветерок...  
Говорит гестаповцу учитель:  
— Не мешайте продолжать урок...

Про войну немало песен спето,  
Только вы не ставьте мне в вину,  
Что опять,  
Что я опять про это,  
Про давно минувшую войну.  
Потому что снова гибнут дети  
И жилища снова сожжены, —  
Снова бродит где-то по планете  
Черное чудовище войны.

## Евгений Лучковский

◆ ◆ ◆  
Подсолнечник косынкой желтой  
Мелькнет у лесополосы.  
И вот уже летит двуколка  
Прочь от поселка Бир-Косы.

Я это помню.  
Это было,  
Хоть как случилось — не пойму.  
Пласталась рыжая кобыла,  
Мне стало страшно самому.

На тот изгиб ее чертовский,  
На эту козырную масть,  
Наверно, сам комбриг Котовский  
Поостерегся б руку класть.

О, как она несла наметом  
Навстречу предбуранной мгле!  
Копыта, словно пулеметы,  
Стучали,  
Били по земле.

И в этом грохоте и гуле  
Ее копыт  
Услышал я  
Необратимый посвист пули,  
Дымок горящего жнивья.

И ощутил с постыдной дрожью  
Разрывов близкое тепло...  
Смешно... но натянул я вожжи —  
И стало тихо и светло.

◆ ◆ ◆  
Приходи — открою двери,  
Раздевайся, проходи.  
Позади одни потери,  
Все находки — впереди.

«Все, что было,  
Все, что ныло»,  
Уж давным-давно прошло.  
Где-то что-то причинило  
Как-то раз кому-то зло.

Ну, да что там,  
Эко дело,—  
Раскололся шар земной.

Ах, как здорово умела  
Ты смеяться надо мной.

Я не помню,  
Я прощаю...  
Что ж ты пальцами хрустишь?  
Я добрею — хочешь чаю?  
Ты стареешь и молчишь.

Поиграем на гитаре —  
Нам опять по двадцать лет.  
Ну, а хочешь — кашу сварим.  
Сварим кашу или нет?

## Михаил Львов

### МОЕ ЛИЦО

*Марку Соболю*

Не вызывает удивлений,  
У встречных женщин умилений,  
Не опьяняет, как вино,  
Мое — от горьких размышлений, —  
Мое — от времени давлений —  
Отяжелевшее лицо.  
А удивляло, и немало, —  
А умиляло и влюбляло  
Мое, не тронутое глубиью,  
Доступное мгновеннолюбью,  
Счастливое своею глупью,  
Мое заметное лицо.  
И действовало безотказно,  
Однообразно и прекрасно,  
И убедительно — без слов —  
Лицо из юности и света,  
Все — из сияния и лета,  
Не из реальности — из снов.  
А время в этот лоб стучало,  
Чтоб содержанье не скучало,  
И постепенно выключало  
Его сияние и свет,  
Как бы гася за лампой лампу,  
И забирало кожу — в лапу  
(Все тяжелей сжимая лапу),  
Когтями вдавливая след.  
(И надвигались, как решетки,  
Раздумья горестные нотки.)

Летит поверхностная юность,  
Стройнея каждый миг и струнясь,  
Я к ней теперь уже не сунусь...  
Ей быть иною — нет причин.  
На что ей эта многострунность,  
На что симфония морщин  
Уже седеющих мужчин?  
Летит на место назначенья,  
Не придавая нам значенья,  
Что ей высокое значенье  
Морщин седеющих мужчин...  
Ее влекут другие знаки,  
Зачем ей эти наши знаки...  
Еще на личике ее —  
Цветут естественные лаки  
Любви, наивности и влаги,  
Беспечной веры в бытие  
(Такое было и мое?).  
Лишь я смотрю — вникая в дебри,  
На эти — времени шедевры,  
На эти — века письма,  
На эти — врезанные вкусно  
Произведения искусства,  
На эти — жизни «запятые» —  
На дорогие, золотые  
Твои морщины, старина.

## В РЕСТОРАНЕ «ЮРАС ПЕРЛЕ»<sup>1</sup>

Жану Грива

Что знаете вы о Мадриде,  
О мужестве интербригад,—  
По нынешней легкой орбите  
Летящие в жизнь наугад?  
Вас ласкою жизнь окружала,  
Не была над вами в набат.  
...Испанские раны у Жана  
У Гривы под осень болят.  
Какие там «Перле» и «Юрас»,—

Он ночью в атаки ходил.  
Он отдал Испании юность,  
Здоровье боям раздарил.  
Летит его память — в пожары,  
И тело сквозь пули летит.  
И нынче, пожалуй, по Жану  
Тоскует Мадрид и скорбит...  
Вы в сердце Испании живы,  
О рыцари интербригад!  
Испанские раны у Гривы  
У Жана под осень болят.

<sup>1</sup> Юрас перле — жемчужина моя (латышск.).

## ПРОЩАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ

Я средства не выдумал — возраст «крепить»,  
Как шахты крепильщики крепят,—  
Навек укрепить и навек уцепить  
И юность и юности трепет.

Я средство такое искал — не нашел,  
Чтоб молодость не проходила,  
Чтоб скорость — как пуля, чтоб кожа — как  
шелк,  
Чтоб пела и пенилась сила...

Прощай, моя молодость!  
Прощай и прости!  
За все тебе — только спасибо!  
В других продолжайся, цветы и расти!  
В других разгорайся красиво!

В круженье, в заботах, в работе, в семье  
Себя от тебя отдаляю,  
Но — где-то хитрю я  
и что-то себе  
В себе  
от тебя  
оставляю...

# Сергей Марков



Овидий знал наречья скифов  
В стране, где властвует зима,  
Но это был не труд Сизифов,  
А подвиг пленного ума.

И я, не избежав изгнания,  
Пытаясь скрасить горький век,  
Собрал и объяснил названья  
Гиперборейских гор и рек.

И, озарен незримым светом,  
Я был пред вечностью склонен,  
Уподобляя самоцветам  
Слова исчезнувших племен.



*Д. Попелю*

Я вспомнил Север... И теперь  
Лишь развожу руками...  
Я жил в гостинице дверь в дверь  
С отличными стрелками.

Они порой пускались в пляс,  
Скрипели половицы;  
Нередко посещали нас  
Поморские девицы.

У них глаза что бирюза  
И розовые ушки...  
Поставь червонного туза  
На голову подружки!

И как не страшно в ясный день  
Пытать судьбу до срока —

Палить в прелестную мишень  
Из пистолета Штока!

Не раз мне видеть довелось:  
Лишь дрогнули ресницы,  
И туз, простреленный насквозь,  
Упал к ногам девицы.

Конечно, та, кого зовут  
Агашей или Улей,  
Ни в грош не ставила свой труд  
Стоять под светлой пулей.

Я подобрал немало пуль,  
Их сохранял по праву.  
Сейчас я вызвал бы патруль,  
Чтоб прекратить забаву...



Дни мои прошумели,  
Как тянь-шаньская ель...  
В середине недели  
Я увижу Этель!

Мы сдержать не сумели  
Лет безжалостный бег.  
И на кудри Этели  
Лег божественный снег.

## ЗМЕЯ

Змея в малиннике сухом  
Свернулась в скользкий жгут.  
Ей незачем ползти в мой дом,  
Ей хорошо и тут.

И что ей радость иль печаль?  
Бесчувственный клубок,  
Как бирюзовая спираль,  
Проводит смертный ток.

## КЫПЧАКИ

Нашел я в одном манускрипте  
Далекого времени знак:  
Что был властелином в Египте  
Бейбарс — азиатский кыпчак.

Встречали в те годы народы  
Приток обновляющих сил, —  
Как будто туранские воды  
Вливались в медлительный Нил.

Заздравные возгласы громки,  
Но я одинок за столом;  
Кыпчаков живые потомки  
Забыли о славном былом.

Но музы российского крова,  
Склоняясь на пыльный гранит,  
Прочтут половецкое слово  
На жаркой груди пирамид.

## Леонид Мартынов

### ПТИЦА СИРИН

Слышу  
Киновари крик,  
Но не где-то глубоко там  
Под горбатым переплетом  
Сокровенной книги книг  
И не в складках древних риз  
На мужах святых и женах,  
Господом убереженных от червя, мышей и крыс  
В заповедных уголках не церковных, так  
музейных, —  
А на varejках, платках, на халатах  
бумазейных,  
На коротеньких подолах, — словом, где-то вне  
границ  
Изучаемого в школах.

Спит  
Спокойно  
Мир страниц,  
Лики книг покрыла пыль,  
Даже сталь пошла в утиль,  
Старый шпиль успел свалиться,  
Но уверенно стремится  
Птица Сирин, эта птица,  
Воплотиться в шелк и ситцы,  
И в полотна, и в текстиль,  
Как ни мой ты их, ни мыль...

Речь идет про русский стиль.

## ПРЯТКИ

Трудолюбив,  
Как первый ученик,  
Я возмечтал: плоды науки сладки.  
Но, сконцентрировав миллионы книг  
На книжных полках в умном  
распорядке,  
Я в здравый смысл прочитанного вник  
И не способен разгадать загадки:  
Когда и как весь этот мир возник?  
И все подряд предположенья шатки.

И тут  
Инстинкт мне говорит:  
— Проверь

Все это мной! —  
И вот брожу, как зверь,  
Я в дебрях книг, и прыгаю, как птица,  
Я в книжных чащах, и, как червь, точу  
Бумагу их, — так яростно хочу  
Всему первоисточника добиться.  
И в мотылька, который на свечу  
Летит, ловчусь я снова превратиться,  
И, будто спора некая, лечу  
Туда, куда ракетам и не взвиться,  
И чувствую, что, может быть, теперь  
Мне разрешит Вселенная: — Измерь  
Температуру жуткой лихорадки,  
Которой пышет солнца смутный лик,  
И ощути, как мчатся без оглядки  
Планет и звезд бесплотные остатки,  
Уверены, что ты их не настиг.

И кажется, что в тайну я проник,  
Но дальше что? И снова лишь догадки,  
И вновь  
Луна  
Чадит мне, как ночник,  
И бездна вновь со мной играет  
в прятки!

## ЯБЛОКО

Когда  
Казалось,  
Что от гнева  
Мы спор добром не разрешим,  
В меня швырнула ты, как Ева,  
Прекрасным яблоком большим.  
Так сделала ты не из мести,

А по-хорошему гневясь,  
И мы расхохотались, вместе  
На это яблоко дивясь,  
Смеясь, что ты не разрыдалась,  
А тем, что было под рукой, —  
Сладчайшим яблоком кидалась  
И возвратила нам покой.

## РИФМА

В горестном,  
Грозиво-величавом  
Мире памятников и утрат  
Грустно я приглядывался к ржавым  
Розам металлических оград.

Молния  
Давно уж отблестала.  
Рассветало. Дождь прошел.  
Рифму к розе я искал устало,  
Долго, туго. Наконец нашел.  
Вот она: «Коррозия металла»!

## ЯВЛЕНИЕ ЗИМЫ

Зима,  
Серьезная особа,  
В сугробах не плясала лихо,  
А просто  
Дверцы гардероба  
Приотворились тихо-тихо,  
И в нафталиновом сияньи  
Она в тяжелом одеяньи  
На свежий воздух важно вышла.

Был подан конь,  
Ноздря и дышло  
Тонули в настоящих звездах.

Зима  
Рвалась  
На вольный воздух!

## Новелла Матвеева

### СОНЕТЫ

#### ТАЙНА МАСТЕРСКОЙ

Один поэт сложил стихи о том,  
Что тиражей имеет маловато.  
И что не многовато ли притом  
И тиражей и славы у собрата?

Что слава — дым и слава нам на кой.  
Но в то же время злился на забвенье.  
Ах, неужели и перед такой  
Поэзией — бывает вдохновенье?!

Я к мастеру зашла однажды в дом  
И вдохновенье, кажется, вспугнула:  
Оно со свистом шлепнулось со стула —  
Зеленое, с раздвоенным хвостом...

Глаза без век... Пупырчатые краги...  
И — прыг под стол, в корзину для бумаги.

## СМЕХ ФАВНА

Суди меня весь мир! Но фавна темный смех  
Мне больше нестерпим! Довольно я молчала!  
В нем луч младенства, и в нем же — зрелый грех:  
Возможно ль сочетать столь разные начала?!

Но сплавил древний миф козлиный хвост и мех  
С людским обличем. Невинный вид нахала  
С чертами дьявола. Злу злом казаться мало:  
Зло любит пошутить. И в том его успех.

Но есть же логика! И путь ее упрям:  
Грех черен и хитер. А юмор чист и прям;  
Где для греха простор — там юмору могила...

И если мы шу т я вросли однажды в грязь,  
Солгали с юмором и предали смеясь,  
То чувство юмора нам просто изменило.

## Юрий Медведев

### КАРЬЕРА

Моя карьера началась в карьере  
У речки с озорным названием Фря.  
Там до утра на кедрачах горели  
Три тусклых допотопных фонаря.

Там тихий экскаваторщик Никитич,  
Рыжебороденькое существо,  
Доказывал мне зло и патетично,  
Что экскаватор — тоже существо

Живое, и душа в нем пребывает  
Меж шестерен, канатов и колес,  
Что жизнь меня, конечно, обломает,  
Что вытравит столичный блеск и лоск.

В замызганной солдатской гимнастерке,  
Дотошен, неказист и кривоног,  
Он в перекурах пиво пил в каптерке,  
Учитель мой,

Начальник мой  
И бог.

...Еще трубить полсмены оставалось,  
Но реяли в глазах моих круги,  
Но стыла в существе моем усталость,  
И голову я клал на рычаги.

Меня несло по мареву дремоты,  
Как будто речка Фря меня несла,  
Но слышал я, измотанный работой,  
Свистя в дымящуюся пропасть сна,

Как скрежетала,  
Выла,  
Клокотала,  
Скребла планету пальцами ковша,  
Как грохотала в недрах котлована  
Железная машинная душа.

## Александр Межиров



Парк культуры и отдыха имени  
Совершенно не помню кого...  
В молодом, неуверенном и не  
Деревянные стенды кино.

Жестким ветром афиши обглоданы,  
Возле кассы томительно ждут,  
Все билеты действительно проданы,  
До начала пятнадцать минут.

Над кино моросьянка осенняя,  
В репродукторе хриплый романс.  
Весь кошмар моего положения  
В том, что это последний сеанс.



Как я молод — и страх мне неведом,  
Как я зол — и сам черт мне не брат, —  
Пораженьям своим и победам  
В одинаковой степени рад.

В драке бью без промашки под ребра,  
Хочу окровавленным ртом.  
Все недобро во мне, все недобро...

Я опомнюсь... опомнюсь потом.

## Владимир Михалев

### ПОДАРОК

Щепоть соли,  
Горстку мяты,  
Ободок дежи,  
Поля ломтик  
Непримятый  
С перезвоном ржи,  
Ледяной ключа окраек,  
Ветер по ночам...

Заревую стежку в травах,  
Тропку до ручья,  
Перепелку озорную,  
Зайчика в избе...  
Хочешь —  
В небо заверну я,  
Принесу тебе?

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ О БОЛЕЗНИ МОЕЙ МАТЕРИ

1

Белизна, белизна поднебесная,  
Ты для тела, как видимо, тесная,  
А душе — как раз, в пору самую.  
Это я, господь, перед мамою  
Заслоняю вход, не пускаю в рай.  
Будь он проклят, сей голубой сарай!  
Хоть воткни меня гадом в трещину, —  
Не отдам тебе эту женщину!  
Буду камни грызть, буду волком выть,  
Не отдам — и все! Так тому и быть!

2

Мама-веточка, мама-синичка.  
На спине голубая косичка.  
Я покорно врачу помогаю,  
На носилки плечом налегаю,  
Я владею иглой и пинцетом,  
Я собою владею при этом.  
Мама! Веточка! Мама! Синичка!  
На спине голубая косичка.  
Кровь не пахнет, не пахнет нисколько.  
Алым обручем в небо — и только.  
Был — и нету, родился — и умер.  
Только крика прощального зуммер:  
Мама! Веточка! Мама! Синичка!  
На спине голубая косичка!  
В рай — тринадцать холодных ступенек.  
Ни бессмертья, ни славы, ни денег  
Не хочу! Поняла! Отвергаю!  
На носилки плечом налегаю.  
Не нужна мне небесная манна,  
Мне нужна моя смертная мама!  
Мы поселимся в тихоньком месте,  
Мы умрем — только рядышком, вместе.

3

Отче Город! Прими мою скорбь.  
Не сочти эту скорбь за уродство.  
В нашей комнате — призрак сиротства.  
Отче Город! Прими мою скорбь.  
  
Ты совсем не исчадьё греха.  
Ты — огромный Дворец пионеров,  
Собирающий после уроков  
Школу-студию прозы-стиха.

Голубь Город! Прими мою скорбь.  
Ты совсем не исчадьё пороков.  
Ты одушина после уроков.  
Голубь Город! Прими мою скорбь.

О, пожизненный запах жилья —  
Дух еды и младенческой кожи.  
Это кто, на зайчонка похожий?  
Это — смертная мама моя.

Это — нежности синяя мгла.  
Это — дымчатой птицы круженье.  
Это — счастье лежать без движенья  
В оболочке родного тепла, —

Ни обиды, ни боли извне.  
Сладковато немеет лодыжка,  
И молочного зуба ледышка  
Выпадает бескровно во сне.

Брате Город, сородич земли!  
Пощади мой очаг невеликий  
От смертельно печальной музыки...

4

Беда моя огромна,  
И стужа тяжела.  
Полумертва, бездомна, —  
Ни крыши, ни крыла.

Один под голым небом  
Березовый престол, —  
Дождем залит, засыпан снегом  
Заброшенный мой стол.

Толкается страничка  
В ледовые ветра...  
Мама, веточка! Мама, синичка!  
Мама, снегурочка! Не тронь костра!  
Не тронь костра. Так полежи.  
Каплей в песок, ниткой в куске.  
Не тронь костра. Так полежи.  
Красной слезой у меня на щеке,  
Алой слезой, медли-и-тельской.

Не тронь костра. Так полежи.  
Помнишь? В грамматике есть падежи.  
Ты — мой родительный. Ты — мой  
винительный.

Не тронь костра. Так полежи.  
Может быть, смерть сократит грабежи —  
И весна придет! И весна придет!  
И фасоль взойдет! И горох взойдет!  
Упадет звезда в колодезь.  
Упадет росинка сверху.  
Где вы, где вы, птичьи стаи?  
О, как трудно не растаять  
Старенькому человеку  
До того, как вы вернетесь!  
О, как трудно не растаять...

А я посижу на больничном дворе.  
Я молитву сложу на больничном дворе:  
Дерево, дерево! Озеро, озеро!  
Пока еще нет синевы-желтизны  
На мамином тельце,  
Покуда не поздно,  
Подайте, подайте кусочек весны!  
Весна придет! Весна придет!  
Фасоль взойдет! Горох взойдет!  
Огуречик-человечек  
Пупырышками пойдет.  
Я не верю, я не верю,  
Я не верю в то, что мама

Без клубники-земляники  
Навсегда от нас уйдет.  
Ясны звезды над полями.  
Ветер-снег над тополями.  
Грудь сугроба у стены.  
Подайте дитяти кусочек весны!

5

Прилетела птичья стая  
В разноцветной одежке.  
На дворе трава густая,  
Словно шерсть на медвежке,  
На зеленом, на зеленом,  
На совсем молоденьком.  
Ходят люди, ходят звери.  
Слава, слава ходикам!  
Будет стоять город  
И деревня стоять!  
В голубой высоте  
Будет солнце сиять!  
Будет груша родить!  
И картошка родить!  
А тем более пшеница...  
Мама учится ходить!

Не падай, слезка,  
Чтоб не стало скользко.

1968

## ергей Наровчатов

### ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА

Разговор в далеком веке:

— На землю возвращается с Омеги  
Людьми полузабытый звездолет,  
Преодолев последние помехи,  
Знакомым курсом следует пилот.

На дальнюю планетную систему  
Землян послали давние века  
За призраком, за маревом, за тенью,  
Позвавшей из глухого далека.

С людьми сыграли звезды шутку злую,  
Ведь в тех непостижимых временах  
К ним люди шли почти напропалую,  
Вслепую, наугад и вполутьмах.

И финиш нерасчетливого бега  
Встает без романтических прикрас.  
Ты знаешь: в стороне лежит Омега  
От наших главных и неглавных трасс.

Не нам с тобой, ребенку видно сразу,  
Таких планет хватает за глаза.  
Ее как перевалочную базу  
И то никак использовать нельзя.

Конечно, тут другие были виды:  
Мол, жизнь на ней как на земле течет.  
— Нас на Омеге встретят гоминиды —  
Таков был непродуманный расчет.





Колокольни рвутся от земли,  
Тени табора собрались в бары,  
И до окон в твердый грунт ушли  
Черные столетние хибары.

Все уносит времени река,  
Но свой век переживают зданья.  
Ими сочтаются века  
В пестрых и случайных сочетаньях,

Как деревья в общежитье бора.  
Я слежу за гладью виражей  
Птиц, летящих с куполов собора  
В небо вдоль высотных этажей.

Где бы ни жил прежде человек,  
Все он строил выше головы.  
Я люблю бродить из века в век  
По веселым улицам Москвы.

## Александр Николаев

### ЛИКБЕЗ

Был рассвет пунцово-розов,  
словно пламя над водой.  
Подшел к нам Энгус Джозеф,  
с виду — парень молодой.

Он терялся в разговоре,  
отвечал лишь «да» и «нет».  
Все же выяснилось вскоре,  
что ему под сорок лет.

У него жена и дети,  
восемь черных молодых.  
Здесь, как всюду на планете,  
дети грамотней отцов.

Потому-то,  
как мальчишка,  
начинающий свой век,  
в школу с книжками под мышкой  
ходит взрослый человек.

И, естественно, стыдится,  
что не может он читать,

что ему пришлось учиться  
только белых почитать.

И сейчас еще с тревогой  
он стоит, суров и строг,  
предо мной,  
как перед богом,  
а какой я, к черту, бог.

Не гляжу я исподлобья,  
не ругаюсь, не кричу,  
из него свое подобье  
силой сделать не хочу.

А хочу, чтоб эти дети  
словно боги стали жить,  
чтобы вышли на ракете  
черный космос бороздить.

Там, где плавится железо,  
устоять они должны.  
Мы же тоже без ликбеза  
не достали б до луны.

## КАЛЕНДАРЬ

Пускай в ботанике я слаб,  
но сувениром с Занзибара  
со мной приехал баобаб,  
росточек круглый,  
как сигара.

Чтоб африканский великан  
скорее мог укорениться,  
под опрокинутый стакан  
посажен был он,  
как в теплицу.

Встречая хмурую зарю,  
не показав свою обиду,  
по своему календарю  
он к ноябрю листочек выдал.

Был баобаб не виноват,  
что он привык к обилью света,

и лампой в сотни ярких ватт  
мы имитировали лето.

Но встретить он весну не смог.  
Как ни светили  
и ни грели,  
он сбросил робкий свой листок,  
когда весна пришла в апреле.  
Он, видно, был упрям весьма  
и потому листочек сбросил,  
как будто знал,  
что не весна  
на Занзибар пришла,  
а осень.

И вовсе, видимо, не зря  
он не хотел с судьбой смириться.  
От своего календаря  
бывает трудно отступиться.

## Елена Николаевская

### ЗВОНАРЬ

Как он ценился встарь!..  
Своим искусством гордый,  
Слагал тона звонарь  
И подбирал аккорды,  
В далеком далеке,  
Мечте одной подвластный,  
Качался на зыбке,  
Рождая звон согласный,  
Семижды семь потов  
Теряя, чтоб заставить  
Три тысячи пудов  
Мир беспредельный славить!  
Свой укрепляя дух,  
Под старость не сдавался,  
Порой терял он слух,  
Но с тона не сбивался,  
Хоть в высоте не раз  
Онемевали руки...  
Глушил в нем божий глас  
Все суетные звуки,  
Звуча в лучах зари  
Над гулом служб и шествий...  
И глохли звонари,  
Достигнув совершенства.

## Лев Озеров

### В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА

Я был в лесу твоих скульптур.  
Колонны, корневища, глыбы.  
То в чашу врезывался тур,  
То в воду ввинчивались рыбы.

И шеи выгиб горевой,  
И рук ленивое сплетенье,  
И над упрямой головой  
Звезды колючее свечение.

Ребенка мягкая рука,  
Упругая рука спортсмена

Рождались из-под молотка,  
Из матерьяла, как из плена.

Я здесь ходил в твоём лесу.  
Я был в бору твоих раздумий,  
И я с собою унесу  
Не стынь и неподвижность мумий,

А живость взлета, чувства власть  
И нерасчетливость размаха,  
Безотлагательную страсть  
И мысль, не знающую страха.

## Владимир Павлинов

### СОЧУВСТВИЕ ФАДДЕЮ БУЛГАРИНУ

Сочувствую твоей беде —  
Ты понимал, что ты бездарен.  
Никто не плачет по тебе.  
Несчастен ты, Фаддей Булгарин.  
И сыт, и дожил до седин,  
А все душе ничто не мило:  
Гляди в окно, сиди один  
И сочиняй донос уныло,  
Власы седые теребя.  
Во взглядах близких — подозренье,  
И даже на дуэль тебя  
Не вызывают из презренья...

Туман. Прохлада. Тишина.  
Конец снегам и лютым пургам.  
Грязна дождливая весна  
Над плачущим Санкт-Петербургом.  
Клубятся тучи высоко,  
И тают снежные заносы...  
Вы думаете, так легко  
Писать на Пушкина доносы?  
Лицо пылает от стыда,  
На лбу холодном — капли пота,  
Но жить-то надо, господа,  
Но ведь писать-то надо что-то!  
Ты все на свете понимал,  
И понимал, как ты бездарен.

Ты презираем, жалок, мал, —  
Пиши донос, Видок Фиглярин!  
Полночный мрак удушлив, мглист.  
Нева глухие волны катит...  
Спеши, репильный журналист,  
Пиши! Сам царь тебе заплатит.

По крыше бродит дождь, гудя.  
Что это значит? Это значит —  
Большими каплями дождя  
По Пушкину Россия плачет.  
Звезда пылает в облаках.  
Луна выходит из потемков...  
Ему — бессмертие в веках,  
Тебе — презрение потомков.  
Они листы твои найдут  
Средь исторических отбросов.  
Они, быть может, издадут  
Собрание твоих доносов.  
Кляни ж убогое житье,  
В худой руке крути и тискай  
Перо продажное свое,  
Позор словесности российской.  
А над уснувшей страной  
Витает стих чеканно стройный:  
«Нева металась, как больной  
В своей постеле беспокойной».

## СТИХИ МГНОВЕНЬЯ

Не умелец  
олимпийской выучки,  
потерпевши бедствие — плыву:  
мне и плыть-то надо,  
чтобы жить.

Выручи меня, мой ангел, выручи —  
научи мгновеньем дорожить.

Это очень надо на волне —  
на скольженьи,  
на обыкновеньи:  
каждое мгновение — вполне,  
каждое  
как ризоположенье.

Вот еще — дыхание твое.  
Вот еще — касание глазами.  
Помаша крылами — ни о чем! —  
над плечом,  
как лепет или трепет.  
Лепет или трепет!

Ни о чем  
не могу — ни слова, ни понятия.  
Только — трепет и шуршанье  
платья,  
падающих туфель топоток.

Так восходит — весь для  
воспринять! —  
первого подснежника росток.

Подыши! — я тоже подышу.  
Прикоснись! — я тоже прикоснулся.  
Поцелуй! — пока я не проснулся.

Не проснись, подснежник, не  
проснись!  
Мы плывем, мой нежный, — не  
проснись! —  
где-то мимо острова Буяна,  
к дереву, что грезит постоянно,  
детскими губами прикоснись.

# Анатолий Передреев

◆ ◆ ◆  
Когда луна над нами встанет  
И в дебрях каждого куста  
Зашевелится ночь

и глянет —  
Светла, таинственна, пуста;

Когда от звезд до лунных пятен  
Весь мир — прозрачен и велик,  
Но каждый звук его — внезапен  
И неожидан каждый крик;

В глубоком омуте оврага  
Блестит недвижимая река,  
Торчит, застывшая от страха,  
Коряги черная рука,

И в поле чистом, в поле чистом,  
Над лунным сумраком дорог,  
Всю ночь проносится со свистом  
Такой знобящий ветерок...

Но вот у края неба где-то  
Возникнут резко, напрямик  
Два ярких движущихся света,  
И ночь раздвинется на миг,

И все в ночной и одинокой  
Душе моей  
очнется вдруг  
И отзовется на далекий  
Живой, работающий звук.

## СТАНЦИЯ САМАШКИ

Что за станция — Самашки?!  
Вижу здание одно,  
Вижу лунные саманки,  
В каждой — черное окно.

«Миру — мир» — плакат на зданьи...  
Расписание поездов...  
И — молчание. Молчанье...  
Ни собак, ни петухов.

— Проводница, проводница,  
Разузнать ли мне и вам,  
Отчего так крепко спится  
Этим глиняным домам?!

Но послушно и привычно  
Дрогнул — двинулся вагон, —  
Все рассчитано отлично,  
Точен колокола звон.

Все согласно расписанью  
Загудело, понеслось,  
Придорожное мельканье  
В бездну черную слилось.

Все быстрее, быстрее колеса,  
Все быстрее, быстрее, быстрее...  
Моего полувопроса  
Некогда расслышать ей.

◆ ◆ ◆  
Разбуди эту землю, весна,  
Разбуди этот каменный город  
Синевою, спящей со сна,  
И капелью, летящей за ворот.

Удивленно качнется стена,  
Поплывут облака над домами...  
Заблестай, заиграй куполами,  
Разбуди мою душу, весна!

Ты пройдешь тяжело, словно плуг,  
Распахнешься просторно, как поле,  
Чтоб я вскрикнул от счастья и боли,  
Что не слеп я еще и не глух.

Я заслышу твой гомон и звон,  
Я увижу под утренней высью,  
Как безжалостно я окружен,  
Как ликующе встречен я жизнью.

Возводи же свой гулкий дворец,  
Где сиянье над каждым оконцем,  
Где качается черный скворец,  
Захлебнувшийся ветром и солнцем.

Я узнаю и трепет и свист,  
Я пойму, что не зря его слышно,  
Что имел торжествующий смысл  
Этот свист, не имеющий смысла!

◆ ◆ ◆  
Когда весь мир перед его трудом,  
Как перед новой истиной, склонился,  
Он был и стар, и слаб... Он удалился  
В обетованный загородный дом...  
Там, тишиной заботливой объят,  
Устроен мир в старинном распорядке, —  
Цветет рядами правильными сад,  
И неподвижно зеленеют грядки...  
И, не сдвигая с места ничего,  
Не властен был под сенью этой виллы  
Тот мир, в котором формула его  
Высвобождает дьявольские силы,

Где отвлеченный смысл его идей,  
Приобретая жаркое дыханье,  
Вторгается в сознание людей,  
И в их судьбу, и в их существованье...  
Он у камина согревал себя,  
Он шевелил задумчиво поленья,  
А перед ним, бушуя и слепя,  
Вставали им открытые явления...  
И в этой мирной крепости, в дому,  
Укрывшемся в своей цветущей спячке,  
Так странно было чувствовать ему  
Любовь к цветам и к маленькой собачке...

### ПАМЯТИ ПОЭТА

Мы все, как можем, на земле поем,  
Но среди всех — великих было мало...  
Твоей душе, тяжелой на подъем,  
Их высоты прозрачной не хватало.

Тебе талант простором этим дан!  
И ты служил земле его и небу  
И никому в угоду иль потребу  
Не бил в пустой и бедный барабан...

Ты заплатил в своем начале дань  
Набегу разрушительных глаголов,  
И лишь полей нетронутая даль  
Тебя спасла от них, как от монголов.

Ты помнил тех далеких, но живых,  
Ты победил косноязычье мира,  
И в наши дни ты поднял лиру их,  
Хоть тяжела классическая лира!

### ПЕСНЯ

*В. Кожин*

Как эта ночь пуста, куда ни денься,  
Как город этот ночью пуст и глух...  
Нам остается, друг мой, только песня, —  
Еще не все потеряно, мой друг!

Настрой же струны на своей гитаре,  
Настрой же струны на старинный лад,  
В котором всё — в цветенье и разгаре:  
«Сияла ночь, луной был полон сад...»

И не смотри, что я не подпеваю,  
Что я лицо ладонями закрыл,  
Я ничего, мой друг, не забываю,  
Я помню все, что ты не позабыл.

Все, что такой отмечено судьбою  
И так звучит — на сердце и на слух, —  
Что нам всего не перепеть с тобою,  
Еще не все потеряно, мой друг!

И дорогая русская дорога  
Еще слышна — не надо даже слов,  
Чтоб разобрать издалека-далёка  
Знакомый звон забытых бубенцов...

## ПОЭЗИЯ

Судьба подобна теореме,—  
на поле жизни докажи,  
когда в обугленное время  
нет ощущения души,

когда пять чувств вдруг бесполезны,  
пространство кружится слегка,  
то расширяется до бездны,  
то суживается до зрачка.

И в пепле ночи — звезды, звезды,  
и слышен в роще треск кремня,  
в улитку скручена береста  
прикосновением огня;

и ветер трется о навесы,  
бегут колеса, выпь кричит,  
под нервами корней, под лесом  
в глубинах роятся ключи;

играют деревья в аллеях,  
совиным глазом смотрит жуть,  
и руки женщины белеют,  
малиной сладко пахнет грудь.

Но — прокаженная окрестность,  
реактор рядом варит смерть...

Лежу, молчу — и в неизвестность,  
молчащий, силюсь посмотреть.

Утраченное расстоянье,  
силоч непознанных тревог,  
мятущийся, я состоянье  
свое определить не мог.

О ощущение потери!  
Телепатический сигнал —  
и расступившиеся двери,  
и некто на пороге встал.

Воображения игрою  
отражена на косяке  
блистательная тень изгоя  
в старинном пыльном сюртуке.

И мысль моя виденью рада,  
во мгле я различил едва  
почти невыносимой правды  
почти зловещие слова:

«Ты болен жизнью. Ложе узко,  
как ложью сдавлено... Пиши:  
жемчужина — болезнь моллюска,  
поэзия — болезнь души».



Дни теплились — и осень шла едва  
в лесах оглохших, виляя листьев хаос,  
и с прозеленью рыжая трава  
ползла к ручьям, ползла и задышалась.

Казалось нам — и драные кусты,  
и лысый луг, и шепот листопада,  
и кутерьма осенней пестроты —  
все по сердцу, и лучшего не надо.

Но утром раз — вдруг снег, и снег, и снег  
до удивленья. И не ждали сами...  
И сон колес — им снится мертвый бег,  
и по снегам взлет пустили сани.

Лишь посреди зимы — одна, одна, —  
без перемен и с нравом непреклонным,  
сквозь пенный свет виднеется сосна,  
разлапистая, в облаке зеленом.

Знак постоянства при судьбе любой!  
Нам сладок мир, хоть стужа в законе,  
дом жизнью пьян, в нем нашей силы  
знай,  
в нем дышит печь огнем, и по-вороньи  
дым из трубы выпархивает в стужу.  
Разведрилось. Еще ты в снах витаешь.  
Ты прячешь исцелованную грудь  
и влажных глаз, смеясь, не размыкаешь...

## Сергей Поликарпов

◆ ◆ ◆  
Теплый свет настольной лампы —  
В плотных сумерках пролом...  
На кошачьих мягких лапах  
Ночь крадется за окном.

Тишина скребется мышью  
В каждом сером закутке...  
Расставанье сердцем слышу,  
Время комкаю в руке.

Как стряслось такое с нами:  
Сами рядом —

◆ ◆ ◆  
Души врозь?  
Убаюканные снами,  
Жизнь пустили на авось.

Ах, авось,  
Надежд остуда, —  
Колеи превратней нет...  
Наяву  
Окурков груди  
Да сочащийся рассвет.

◆ ◆ ◆  
Наохлившись, как раненая птица,  
Взвожу, ярьсь, над пропастью крыло.  
У глаз твоих смертельно облучиться,  
Меня мое предчувствие вело.

Не растрavляю сердце сожаленьем,  
Возникнешь ты —  
Все снова повторю.  
Перед счастливым этим пробужденьем  
Коленопреклонение творю.

Но и оно,  
Как бог, забытый всеми,  
Миражем станет, время прозвенит.

◆ ◆ ◆  
Как засухой загубленное семя,  
В душе надежда чахлая скорбит.

Нет росту ей,  
Забыта благодатью,  
Прошедшей, словно дождик, стороной.  
Два ясеня, как названные братья,  
С участием склонились надо мной.

Что им скажу,  
Пронизанный презреньем  
К себе,  
К тому, что попусту горю?..  
Не растрavляю сердце сожаленьем.  
Возникнешь ты —  
Все снова повторю.

### ИНОК ЕПИФАНИЙ

Какая утоляла дума  
Твое высокое чело,  
Когда с мятежным Аввакумом  
Вас пламя жестко обняло?

Сруб обмозгован был заране,  
Глухой,  
Без окон, без дверей...  
— Покайся, инок Епифаний,  
В бесовоблудности своей!

Шипел владыка Пустозерска,  
Сановным посохом грозя...  
От страха  
Челядь жалась в горстку,  
И где-то тужилась гроза,  
Край неба хлестко полосуюя  
Огнепалящими плетьюми...

— Господь глаголил нам не всуе,  
Чтоб обретались мы людьми!

Серебролюбы,  
Баболюбы,  
В Руси поганство все  
От вас!.. —  
А пламя гикало над срубом,  
В разбойный свой пустившись  
плянс.

Благословил веселье править  
Сам царь  
И Никон-патриарх...  
И обращалась в искры  
Правда,  
Чтоб в прах не выгореть в  
кострах.



Он титул этот сам себе придумал,  
Дабы сбить с толку нас,  
Еще салаг.  
И, выпив пива, огурцами хрумал,  
И говорил мне:  
— Деньги — это шлак...  
А порт кипел.  
Шаманили торговки.  
И грузчики спешили в кабаки.  
И примеряла туфельки-обновки  
Рыбачка Катя прямо у реки.

Махала ручкой, а потом и ножкой  
И стряхивала с пяточки песок.  
И зайчик мне в лицо пускала  
брошкой,  
И странно мимо шла наискосок.

А я глядел,  
Глаза всю разинув, —  
Так яхта возвращается с морей,  
И без потерь...

Но, мрачно сплюнув, Гриня  
Нехорошо сказал про матерей.  
— Смотри, да знай —  
Была такая ж краля.  
Поспорил я с французским моряком,  
Что прыгну с элеватора  
И краба  
Достану ей со дна.  
И — голяком  
Сигнул я с высоты семнадцать  
метров,  
А вынырнул я — списанным уже  
На все четыре стороны и ветра.  
Краб — на фуражке,  
Гриня — в неглиже...

Он говорил.  
А Катя шла так близко.  
Дышали лица.  
Звезды шли с боков...  
И жил мой порт  
Возвышенно и низко,  
Лишь мачтами касаясь облаков.

## Эрнст Портнягин

### УЧИТЕЛЬНИЦА

Еще война гудит невдалеке,  
ночами затемняется весь город,  
находим автомат на чердаке,  
на переменах поджигаем порох.  
Мы — дети строгих карточных  
систем,  
пайка, похлебки, жмыха, сахарина, —  
над нами ветер улицы свистел,  
свобода безотцовщины парила.  
Семейные добытки, гонцы,  
в очередях намерзшиеся вдоволь, —  
за партами сидели огольцы  
и слушатели сновидений вдовьих.

На стенах блики весело дрожат —  
свеча и сумеречная отрада.  
Отменены контрольная, диктант, —  
нет электричества, ну и не надо!  
Сегодня мир смещается слегка,  
растут его таинственные тени,  
Вы берегли высокие слова  
для этих полусказочных мгновений:  
— Текла Непрядва в Дон, и много  
лет  
никто не знал, что есть река такая...  
На поле умирает Пересвет,  
и отступает конница Мамаю.

## ХОЛМ СЛАВЫ, 1945

Я впервые портфель опустил,  
не окончив горячего боя,  
я впервые обиду забыл,  
очарованный медной трубою.  
А трубач, задыхаясь, тянул  
все о том, что «мы жертвою пали».  
На машинах стоял караул,  
и штыки на ухабах дрожали.  
Все награды на бархате в ряд,  
в красном золоте черная лента,  
в черных рамках улыбки ребят,  
не доживших до этого лета.  
Слишком рано вернулись домой  
торопливые вешние птахи.  
Бьется тело жены фронтовой,  
к изголовью склоняются флаги.  
На уступе кирпичной стены  
я стою, озаренный закатом,  
осознанием горькой вины,  
что я сам не дорос до солдата...  
Только шаг до могильного рва,  
до земли, обнаженной и талой,  
до последней траншеи врага,  
до победы Отчизны усталой.

## Ольга Постникова



И стать босою и давнишней,  
проснуться, выйти на крыльцо,  
к прохладным перезрелым вишням  
тянуться заспанным лицом,

и зябко шуриться невольно,  
минуту медля у воды,  
входить в настоянные хвоей  
и розоватые пруды,

и в бликах липовых зеленых  
блуждать прозрачно и светло,

потом слоняться изумленно  
меж фиолетовых стволлов,

колени в папоротник прятать,  
бояться дальнего дождя  
и, перепутанные пряди  
от глаз лениво отведя,

стоять и слушать долго-долго  
среди рябин и облаков,  
как терпеливо кличут: — Ольга... —  
и льют по крынкам молоко,

# Анатолий Преловский

## ПОЛЖИЗНИ

Нет-нет, не к истокам вернуться,  
не детство и юность вернуть,—  
приходит пора оглянуться  
на так называемый путь.

Живу не бедней, не счастливей,  
не так уж светло иль грешно,  
но сердце, под стать созревающей  
ниве,  
предчувствием жатвы полно.

Есть что-то щемящее в этом  
урочном взросленьи души:  
и сам еще в дружбе со светом,  
и люди тебе хороши.

И видно далёко-далёко,  
и дышится тоже легко,  
и солнце твое невысоко,  
и корни еще глубоко.

## ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ АНИСИМОВ

Первого учителя не помню,  
а вторых и третьих имена  
вспоминались вовсе нелегко мне:  
все собой заполнила война.

Мы ходили строем, ели строем,  
строем «здрассте» гаркали тому,  
кто учил нас быть и жить героем,  
приобщал к задачкам и письму.

Не скажу, что мы любили сильно  
их, безликих, окликавших нас  
только сверху, только пофамильно.

Но вошел ботаник в пятый класс!

Не во френче, не сверхчеловеком,  
сед и слаб, вошел как человек.  
С каждым говорил как с человеком,  
Этим и запомнился навек.

## ПОЭТ

*Я Смелякову*

Туманной осенней порою,  
купая ботинки в пыли,  
над сонной еще Ангарою  
мы к стройке недремлющей шли.

И он, прилетевший недавно,  
и я, доживающий год,  
сейчас новичками, на равных,  
вершим этот странный обход.

Степennyй бульдозер заборы  
под новое море ломал,  
нехитрый базар помидоры  
и веники нам предлагал.

А он, не проспавшись с дороги,  
клевал подбородком плечо,  
корил и ботинки и ноги  
и в гору дышал горячо.

Но будто его подменили:  
он стал молчалив и непрост,  
когда мы с тропинки ступили  
на полузасыпанный мост.

Солдат отгремевшего боя,  
с камней, заваливших проран,  
тот мост открывал за собою  
совсем молодой котлован.

Он гладил рукою перила,  
касался камней и песка,  
и много ему говорила  
измятая шиной доска.

И солнце одно нам сияет,  
один на двоих кругозор,  
и все еще объединяет  
похмельный сухой помидор.

Но не для него вездеходы  
и техники скрип на лесах:  
как слезы, тридцатые годы  
опять у него на глазах.

Стоит отрешенный, нездешний  
над той отшумевшей водой,—  
не сторбленный, не поседевший,  
еще, как страна, молодой.

Строительных гулов не слышит,  
почти и не смотрит кругом.  
Семь лет промолчит. И напишет.  
И тоже совсем о другом.

Иные расслышит он шумы,  
иной он почувствует быт,—  
за всем этим лик Аввакума  
пророчески он разглядит.

## Борис Примеров



Вошел я в совершенные лета,  
Задумался о жизни поневоле,  
Облокотясь о здешние ветра,  
Как дуб могучий о широко поле.

Приятственно, размашисто, легко  
Поют цветы души исповедальной,  
Напротив неба, прямо под рукой,  
Гром коромыслом ходит наковальный,

Вокруг земля посыпана дымком,  
И волнами меха перед горнилом,  
Горело несмолкаемым огнем  
Все то, что так при мне недавно было.

О возраст мой! Ты многого не знал,  
Не принимал, не допускал до сердца.  
Как соловей, ты мысленно витал  
И рассыпал беспечные коленца.

Железо в кузнях калят не огнем,  
А бойкими воздушными мехами.  
Я это понял с возрастом, потом,  
Потом уже, как говорят, с годами.

...Я потерял крестьянские права,  
И не под силу мне отцовы грабли,  
Коса, что выводила: «Я жива,  
Покуда жив мужик и травы не иссякли».

Земля, земля, дай дух переведу!  
Сегодня мне и весело и жутко.  
Вон солнце красное бьет крыльями в пруду  
И кружит, как подстреленная утка.

Роняет перья жаркие и крик,  
Прощальный крик безудержного сердца.  
О чем еще?.. И вечер, как старик,  
К глазам моим подносит полотенце.

## Борис Пуцыло



Углублены спокойные протоки  
Свечением бездонной синевы.  
И слышится в шуршании осоки  
Невнятный отзвук городской молвы.

О чем она?  
О суете столичной?  
На многое глядишь издалека.  
Не то чтобы тоскливо,— непривычно  
Не слышать слов родного языка.

Прямые восходящие аллеи  
Устремлены между прудов и сел  
На рыжий холм, где, известью белея,  
Беззвучно возвышается костел.

Мне чужды эти стрельчатые своды,  
И сердцу ничего не говорит  
Огромный крест, чернеющий у входа,  
Недавно обновленный реквизит.

Нет,  
Истина в тяжелых вербных кронах,  
Она вот тут, во глубине реки,  
Где даже самый маленький щуренок  
Давно уж знает наши тройники.

Но каждый раз мне все-таки неловко,  
Боюсь обидеть невзначай друзей,  
Когда безмолвно древняя литовка  
Навстречу нам выходит из дверей,

Когда сидит в сторонке позабыто,  
До боли, до смятения близка,  
Когда в ее ладонях бьется сито,  
Когда бесшумно сыплется мука.

## ОЖИДАНИЕ

Два капитана средних лет,  
Два представителя пехоты,  
В саду на скатерть из газет  
Выкладывают лук и шпроты.

Дары вокзального ларька,  
Объединенные по-братски...  
Ах, незавидная тоска  
Дороги среднеазиатской!

О ком она? Да ни о ком!  
Тоска без горечи и боли...  
А вот, глядишь, и земляком  
Уж кто-то станет поневоле.

А там, глядишь,  
Судьба одна,  
Одни и те же беды, даты.  
И уж конечно без вина  
Не могут обойтись солдаты!

Да что вино! Не в нем же суть!  
Не в нем печальная отрада, —  
Ведь надо столькох помянуть,  
Самих себя припомнить надо.

Не все впопад, не все подряд,  
Но беспощадно и сурово,  
Чему потом и сам не рад,  
Да так, что оживают снова

Полузабытые мечты,  
Где мы горды и изначальны  
И в каждом помысле чисты...

Но как жестоки и случайны  
И пыльный, выцветший платан,  
И замороженные дали,  
И ординарный капитан...  
Не помню,  
Как его там звали!

## Вадим Рабинович



*Памяти Андрея Платонова*

В прекрасном и яростном мире,  
где мелкие тяжбы не в счет,  
горячие кедры Сибири  
касаются звездных высот.

Стволы неохватные стойки,  
земные в них токи живут.  
И птиц разноцветные стайки  
гнездовья в кедровнике вьют.

А если снега в Прииртышье,  
любая снежинка слышна...  
И нет в Прииртышье загишья,  
а есть тишина, тишина...

И реки вольнее и шире,  
и ветер пространство сечет.  
...Прекрасно и яростно в мире,  
а все остальное — не в счет!



А на дворе прощанье мая.  
Жара над головой кружит.  
Но почему — не понимаю —  
в застругах снег еще лежит?!

Лежит, не тронутый лопатой,  
лохматой чернью окроплен.  
Он, словно хлебы, ноздреватый  
и по краям уже спален.

В застругу нехотя спускаюсь.  
За мною — солнца желтый дым.  
Пятой горячей прикасаюсь  
к воспоминаньям ледяным.

Весны последняя неделя  
крещенским холодом блеснет —  
и зазвенят в ушах метели,  
и прорубь с-подо льда плеснет,  
остынет птица, чуть живая, —  
на замороженном окне...

То снегом пальцы обжигаю,  
то коченею на огне.

## Игорь Ринк

### МОЙ ГЕНЕРАЛ

*Памяти генерала И. Д. Черняховского*

Программой нашей был приказ,  
Мы с боем брали идеалы,  
Житью-бытью учили нас  
Нелегкой славы генералы.

Так пусть сейчас из давних дней  
По-командирски входит в повесть  
Мой генерал — закон и совесть,  
Начальник юности моей...

До дыр заезженный большак,  
И у последнего ухаба —  
Какой-то графский особняк,  
Квартира полевого штаба.

Стучал и я не раз, не два  
В ту дверь с лепниною ампирной,  
Через порог ступив едва,  
Вмиг застывал по стойке «смирно»,

И по уставу имярек  
Провозглашал свое явленье.  
И этот грозный человек  
Вдруг поднимал глаза от чтенья.

Те воспаленные глаза,  
Где сквозь усталость отразилась  
И материнская слеза,  
И жизнь и смерть,  
И гнев и милость.

Он был мудрец, мой генерал:  
Мы верили тогда, как дети,  
Что если он чего не знал,  
Так, значит, — нет того на свете!

Когда я шел порой ночной  
В разведку вражьего плацдарма,  
Я долго чувствовал спиной  
Взгляд беспокойный командарма.

Я знал:  
Он смотрит из окна  
Во мглу передовых позиций...  
Когда солдатам не до сна,  
И генералам жестко спится.

А утром требует:  
«Коня!  
Сопровождения не надо!»  
Один на линию огня  
Поскачет сам вручать награды.

И постовые всех застав,  
Об этом ведая едва ли,  
За полверсты его узнав,  
Шлагбаумы к небу подымали...

Передо мною — пьедестал  
И площадь, шумная как улей.  
Ты в плащ-палатке легкой встал  
У Вечности на карауле.

Мой генерал!  
Былую стать  
Не позабыл я в жизни мирной  
И, как тогда, стою опять  
Перед тобой по стойке «смирно».

За четверть века дальний путь  
Прошел я,  
твой военный крестник.  
Нет, ты не постарел ничуть,  
Но я теперь — тебе ровесник.

И с той же мерой чистоты,  
С какой я шел в дорогах давних,  
Мне хочется теперь на «ты»  
С тобою говорить на равных.

Я чудом вышел из огня,  
Того, что здесь, у пьедестала.  
Нет подчиненных у меня,  
Нет надо мною генерала.

Я сам командуя собой,  
Веду себя тревожным курсом,  
Мне каждый шаг и каждый бой  
Не легче тех, под старым Курском.

Мне некому сигналить «сбор»,  
Но как, скажи, решить, однако,  
Где встать врагам наперекор,  
А где бросать себя в атаку?

Начетчик! Не листайте том,  
Вы в нем цитаты не найдете, —  
Мой генерал — во мне самом,  
Он весь в моей крови и плоти.

Пусть критик, мысль мою коря,  
О культе разговор затронет,  
На том стою:  
я за царя,  
Но в голове, а не на троне!

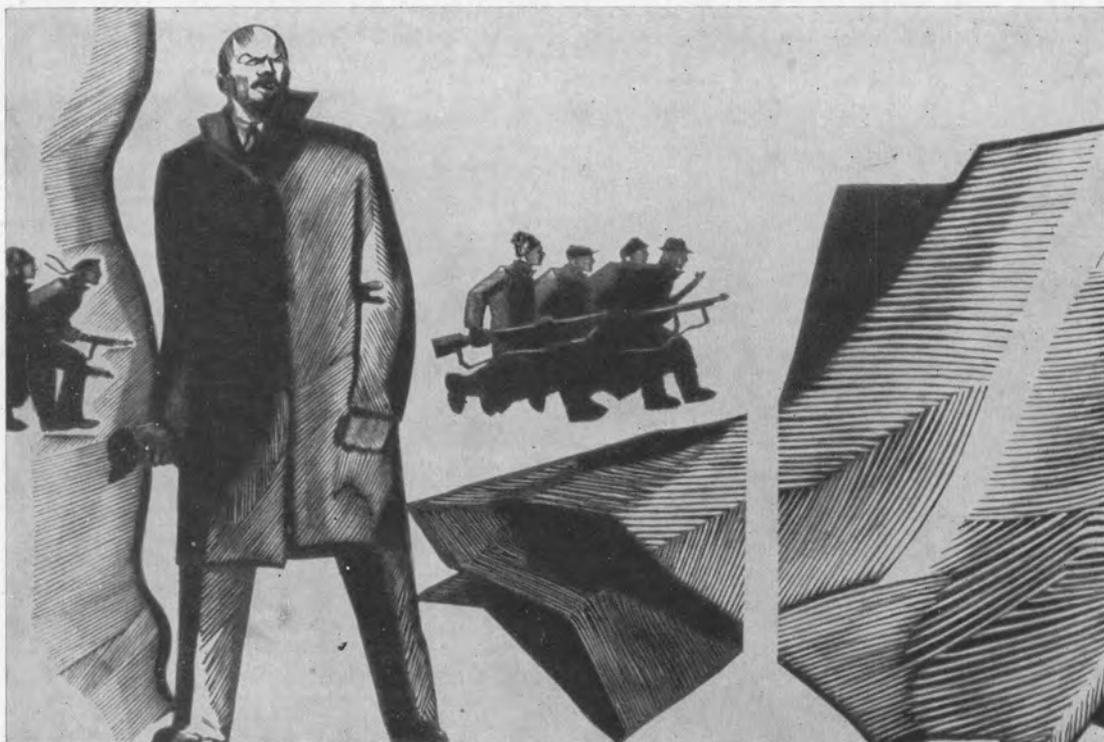
## Роберт Рождественский



*А. Аграновскому*

Над камином стучат  
ходики...  
Где упали  
друзья —  
холмики.  
Навсегда заросли  
травами.  
До сих пор их дома  
в трауре...

А другие  
пошли  
в физики.  
Мне о них разузнать —  
фигушки!  
Мне у них про дела  
выпытать —  
все равно  
что секрет  
выболтать...



Художник Д. Бисти. Гравюры к поэме В. Маяковского  
«Владимир Ильич Ленин»





• *Художник А. Зыков. Портрет А. М. Горького*

А иные  
слывут  
мудрыми.  
Лбы наморщили.  
Брови нахмурили.  
Полюбили столы  
крупные.  
Заучили слова  
круглые.  
Им  
грешно до меня  
снизиться...  
И застыл телефон  
в книжице,  
как рыбешка  
в углу  
невода.

Номер есть,  
а звонить —  
некуда...

Похудела моя  
книжечка.  
Там,  
где раньше канат, —  
ниточка.  
Там, где раньше  
моря, —  
озеро.  
Дело к осени.  
Дело к осени.

## Николай Рубцов

### У РАЗМЫТОЙ ДОРОГИ

Грустные мысли наводит порывистый ветер.  
Грустно стоять одному у размытой дороги.  
Кто-то в телеге по ельнику едет и едет.  
Позднее время — спешат запоздалые дроги,  
Плачет звезда, леденя, над крышей сарая...  
Вспомни, о родина, праздник на этой дороге, —  
Шумной гурьбой под луной мы катались, играя,  
Снег освещенный летел вороному под ноги!  
Бег все быстрее... Вот вырвались в снежное поле,  
В чистых снегах ледяные полынные воды,  
Мчимся стрелой... приближаемся к праздничной школе...  
Славное время — души моей лучшие годы!  
Скажут ли свадьбы в глуши потрясенного бора,  
Мчатся ли птицы, поднявшие крик, над селеньем,  
Льется ли чудное пение детского хора, —  
О моя жизнь! На душе не проходит волненье.  
Нет, не кляню я мелькнувшую мимо удачу,  
Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы, —  
Что ж я стою у размытой дороги и плачу?  
Плачу о том, что прошли мои лучшие годы...

### ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Идет процессия за гробом.  
Долга дорога в полверсты.  
На тихом кладбище — сугробы  
И в них увязшие кресты.  
  
Молчит народ. Смирился с горем.  
Мы все исчезнем без следа.  
И только слышно, как над полем  
Тоскливо воют провода.

Трещат крещенские морозы.  
Идет народ... Все глубже снег,  
Все величавее березы,  
Все ближе к месту человек...

Он в ласках мира, в бурях века  
Достоин дожил до седин.  
И вот... хоронят человека...  
— Снимите шапку, гражданин!

## Владимир Савельев



Облезлый шкаф  
вызванивал ножами,  
в углу рогами встряхивал ухват,  
а рама так надсадно дребезжала,  
как будто прынуть силилась назад.

Подпрыгивала банка на скатерке,  
вся горница ходила ходуном...  
Пыля и грохоча,  
тридцатьчетверки  
стремительно мелькали за окном.

Я, как из пушки, вылетел из дома,  
туда, где стыли в горечи немой  
скелеты крыш,  
с которых мы солому  
скоту скормили прошлою зимой;

где наши псы не лаяли от злости;  
где в окнах из  
приметой из примет  
белели, точно скрещенные кости,  
полоски недочитанных газет;

где, к лучшему и к худшему готовы,  
стояли у калиток и ворот  
и вдовы,  
и — пока еще — не вдовы,  
и те, кому случайно повезет.

Стоял старик с потертыми вожжами,  
гурьба изголодавшихся ребят.  
Казалось,  
проходил перед вожжами  
спокойно подготовленный парад.

Казалось,  
потрясенную дорогу  
заполнило решимостью крутой —  
и были мы единственным итогом  
под этой бронированной чертой.

...И снова дни  
спешили дням на смену,  
и снилась мне ревущая броня.  
А мать полола рожь,  
возила сено  
и смерть отца скрывала от меня.

## Иван Савельев



Гляди и принимай как есть  
Все эти сосны и долины,  
И тишину, и флаг рябины,  
И все, чего у нас не счесть.  
Но, отправляясь в трудный путь,  
Велико названный — сомненье,  
Ты не пытайся обмануть  
Души негромкое движенье.  
Во имя той большой любви,  
Которую зовут — Россия,  
Ты дай ему, сомненью, силу  
И утверждением назови.

Чтоб в миг, когда земля положит  
Багряный на небо закат,  
Стоял ты чище и моложе  
И зорче звезд  
И тех прохожих,  
Которые глядят назад.  
Замрешь — и ночь тебя не выдаст  
И на высокое крыльцо  
Повесит лунное кольцо,  
Чтоб в капельке росы увидеть  
России тонкое лицо.

## НОЧНОЙ СТОРОЖ

В турбазе, недалеко от Тапы,  
Был любопытный ночной сторож.  
Говорили, что ночью он пишет ноты  
И в котельной играет на гобое.  
Однажды мы с ним разговорились  
О Гайдне, о Моцарте и о Глюке.  
Сторож открыл небольшой

футлярчик

И показал мне гобой.  
Гобой лежал, погруженный в бархат,  
Разъятый на три неравные части,  
Черный, лоснящийся и холеный,  
Как вороны в серебряной сбруе.  
Сторож соединил трубки,  
И черное дерево инструмента  
Отозвалось камергерскому блеску  
Серебряных клапанов и регистров.  
Я попросил сыграть. И сторож  
Выдул с ловкостью стеклодува  
Несколько негромких пассажей.  
Потом он встал в концертную позу  
И заиграл легко, как маэстро,  
Начало моцартовского квартета.  
Но вдруг гобой задохнулся и

пискнул.

И сторож небрежно сказал:

— Довольно! —

Он не мог играть на гобое,  
Потому что нутро у него отбито  
И легкие обожжены войною.  
Он отдышался и закурил.  
Вот почему ночной сторож  
Играет по ночам в котельной,  
А не в каком-нибудь скромном джазе,  
Где-нибудь в загородном ресторане.  
Благодарите судьбу, поэты,  
За то, что вам не нужно легких,  
Чтоб дуть в мундштук гобоя и

флейты,

Что вам не нужно беглости пальцев,  
Чтоб не спотыкаться на фортепиано,  
Что вам не нужно зренья и слуха,—  
А все, что нужно,  
Всегда при вас.

## ФЕЙЕРВЕРК

Музыкантам, музыкантам  
Было весело играть.  
И под солнцем предзакатным  
Трубам весело сиять.

Но окрестности темнели.  
Угасал латунный сверк.  
И, когда сомкнулись ели,  
Вдруг ударил фейерверк.

С треском, выстрелом и шипом  
Он распался на сто звезд.  
Парни в танце с диким шиком  
Мяли девушек, как воск.

И опять взлетел над парком  
Фейерверк — и прынул вниз.  
И тогда с тревожным карком  
Галки стаями взвились.

И рассыпались черным  
Фейерверком, прынув вверх.  
Но хвостом разгоряченным  
Вновь распался фейерверк.

Свѣтла начали крутиться,  
Поднимаясь к небесам.

И тогда другие птицы  
Заметались по кустам.

Ослепленные пичуги  
Устремлялись от огней.  
Гасли огненные чубы,  
Гривы сказочных коней.

И тогда взлетел огромный,  
Словно лопнуло стекло.  
И сияющей короной  
Встало хрупкое Светло.

Как шатер, оно снижалось,  
Озаряя небеса.  
С тенью тень перемежалась,  
Словно спицы колеса.

И последняя шутиха  
Где-то канула на дно.  
И тогда настало Тихо  
И надвинулось Темно.

Мы стояли рот разинув  
И глядели долго вверх.  
И, как битву исполинов,  
Вспоминали фейерверк.

## Глеб Семенов

### ГРАЧИ

Спят — недосыпают горожане,  
а в садах безлиственных чуть свет,  
между этажами-гаражами,  
над вчерашней правдою газет,  
беспардонно, будто нынче праздник,  
на большую мощность включены,  
тысячи взъерошенно прекрасных  
громкоговорителей весны.

Рассержусь: «Мешаете же людям!  
Тише вы...»

А мне в ответ: «Молчи!  
Что ж такого, если и разбудим:  
с нас и взятки гладки — мы грачи!»

## С АНГЛИЙСКОГО

Мне однажды приснилось: я стал молодцом — и смеюсь ни о чем,—  
хитрецом, я и думать забыл, что почем.  
гордецом,  
наглецом,  
очень важным лицом  
с очень важным лицом,—  
все трепещут, и дело с концом.

Вслед за эгим приснилось: я стал циркачом — и дружил с кабаком,  
ловкачом, а теперь лишь вздыхаю тайком.  
силачом,  
трепачом,  
не грущу ни о чем

Я проснулся, глаза кулаками протер —  
и своею судьбою доволен с тех пор.

## Михаил Скуратов

### ПЬЯНЫЙ БЫК

Казачи-удальцы похвалялися  
Доброй славой и вольной казной.  
Шли с копьем, да с булатом, да  
с палицей,  
С самопалом и в холод и в зной.

Далеко до Студеного морюшка,—  
И туда добрели удальцы!  
И хватили немало там горяшка  
Славных прадедов наших отцы.

Шаровары их в складках и в напусках,  
Шапки были у них набекрень.  
Вниз по Лене спускались на пáузках,  
Мимо редких тогда деревень.

А когда на низовья шли с барками,—  
С зельем пушечным, с зельем  
хмельным,—  
То и с песнями русскими, с яркими,  
Пробивались к раздольям иным.

И однажды разбилась о скалы там  
Барка с пьяным горячим вином.  
Вот уж смеху тогда зубоскалам-то,—  
Мол, пузатая барка — вверх дном!

И с тех пор тот утес с горькой славую  
Прозывают у нас — Пьяный Бык!  
На судах там с опаскою плавают,  
Хоть народ там обжился, обвык!

# Борис Слуцкий



Силу тяготения земли  
первыми открыли пехотинцы,  
поняли, нашли и наблюли,  
а Ньютон — позднее подкатился.

Мог ли он, оторванный от практики,  
кабинетный деятель,  
понять,  
первое из требований тактики —  
что солдата надобно поднять,

что солдат, который страхом мается,  
ужасом,  
как будто животом,  
в землю всей душой вжимается,  
должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,  
ту, что силы все его берет,  
сбросить, словно грязную рубаху,  
встать,  
вскричать «ура», шагнуть вперед.

## ПЕСНЯ ДЛЯ СТАРИКА

Песня для молодежи —  
эта стезя легка.  
Кто же сложит все же  
песню для старика?

Чтобы он мурлыкал  
музыку и слова,  
бодрый, не шитый лыком,  
умная голова.

Вот он идет со службы,  
вот он домой спешит,

вот он во имя дружбы  
недруга тормозит.

Песню надо бы в губы,  
чтоб не пошел ко дну,  
что-то вроде гуда,  
ноту хотя бы одну.

Я сложу ее, слажу,  
выбью, как в яблочко бьют!  
Вот все громче и слаще  
все старики поют.



Письма пишут сыновья родителям  
только так:  
«У меня все хорошо».

Если жалуются: дело плохо, —  
значит, дело плохо в самом деле.

Сборник писем этого столетья  
будет крашен голубой и розовой  
красками —  
с редчайшими вкраплениями:

«умер»,  
«ранен»,  
«заболел»,  
«пришлите хоть полкилограмма сухарей».

Письма — исторический источник,  
но четырежды сомнительный.  
Мы не то чтоб ввали — утешали,  
доставляли удовольствие,  
радовали родственников.

## ЦВЕТЫ

Военно-полевые цветы,  
войною выращенные и  
выращиваемые, —  
девушки, мобилизованные на  
Кировоградщине,  
в гимнастерках небесной чистоты!

Мягкий украинский выговор, вымова,  
теплый украинский взгляд.  
Слово

едва  
украинское  
вымолвлю —

сразу глаза блестят и горят.

Вот они сделали все, что надо  
за день дерзать и терпеть.

Вечером в кучу собьются, в громаду:  
песни попеть.

Песни попеть — словно попить  
кировоградской студеной водицы,  
словно бы дома побыть  
или с родными водиться.

Нравы смягчая,  
зенитки обслуживая,  
раненых волоча на себе,  
в радиодивизионе — подслушивая,  
сколько вы значили в нашей судьбе!

Добрые, ласковые, озабоченные,  
часто — краснеющие без вины,  
так и росли у обочины  
четырёхлетней войны.

## ИСКРА

Одышливый, тучный, сырой,  
квашня в златотканых погонах.  
А был — из героев герой:  
все в рейдах, атаках, погонах.

Кто выбил тебя из седла?  
— Кто выбил? Года, —  
отвечает. —  
Как темная силища зла,  
года меня бьют и кончают.

И не прорубиться сквозь них,  
Сквозь них сквозняком не промчатся.

И вдруг словно призрак возник,  
красивый, как Байрон, как Чацкий,  
перенапряженный, как взмах,

и, словно удар, беспощадный,  
воспетый во многих томах,  
до жизни и до смерти — жадный.

И вот он — седой, как зима.  
И вот он — сырой, словно осень.  
А все-таки много ума.  
Ответит, о чем бы ни спросим.

Весь в шрамах, рубцах, тормозах.  
Его седина — не растает,  
а все-таки в слабых глазах  
какая-то искра блистает,  
какая-то искра, как рейд,  
еще прорывается, скачет...



Я зайду к соседу, в ночь соседа,  
в маету соседскую зайду,  
в горести соседские — заеду,  
в недобро соседа — забреду.

По-соседски спрашивать не стану.  
Знаю все и так.  
Посижу. Компанию составлю.  
Проиграю в дурака пятак.

Надо все же иногда соваться  
и в чужие, не свои дела.  
Вижу: начал интересоваться,  
прояснились линии чела.

Вышедший из сутолоки, сумягицы,  
жизнью именуемой,  
опять  
осторожно, боязливо пятится,  
поворачивает вспять.

# Ярослав Смеляков

## ОБРАЗОВАНИЕ

Я жизни сложную науку  
не то чтобы в одной из школ,  
а, как и Горький, самоукрой  
трудом и памятью прошел.

Весь мир, огромный и прекрасный,  
скопление книжек и степей,  
теперь звучит единогласно  
в усталой памяти моей.

Двадцатый век, предельно сложный,  
в своем веселье и тоске

весь сопрягается надежно  
на черной классовой доске.

Во мне живут покамест нemo  
и ожидают невдали  
теории и теоремы  
совместно с практикой земли.

Теперь могу я, коль случится,  
чтоб молодым хоть что-то дать,  
не только медленно учиться,  
но медленно преподавать.

## ЮРИЙ ГАГАРИН

В одном театре, в темном зале,  
неподалеку под Москвой  
тебя я видел вместе с Валей,  
еще женой, уже вдовой.

И я запечатлел незыбко,  
как озаренье и судьбу,  
и эту детскую улыбку,  
и чуть заметный шрам на лбу.

Включив приемник наудачу,  
среди волн эфира мировых  
вчера я слушал передачу  
кружка товарищей твоих.

Они, пробившись к нам сквозь дали,  
не причитали тяжело,

а только медленно вздыхали,  
как будто горло им свело.

И эти сдержанные вздохи  
твоих подтянутых друзей —  
как общий вздох одной эпохи,  
как вздох морей и вздох полей.

Я видел сквозь туман московский  
как раз тридцатого числа,  
как тяжкий прах к стене Кремлевской  
печально Родина несла.

Ты нам оставил благородно,  
уйдя из собственной среды,  
большие дни торжеств народных  
и день один большой беды.

## ЖЕЛТАЯ КОФТА

Не для трудящейся питерской Охты,  
не для братвы прибалтийской морской  
сшита ужасная желтая кофта  
маминой слабой, неверной рукой.

Ровно прострочена крупная строчка,  
намертво выстроены пуговицы ряд.  
Что ж, громыхай, запятая и точка,  
бейте, литавры, бесчинствуй, набат!

Важное дело исполнено вроде.  
Дышит растерянно бедная мать.  
Желтую кофту одернул Володя.  
Глянул в окно и пошел выступать.

Желтая кофта покроена ловко,  
выстроены празднично каждый стежок.  
Скоро старьевщик как раз за рублевку  
купит ее и засунет в мешок.

## СТЕПНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Как в той истории великой,  
давным-давно, в начале дня,  
не представляли мы калмыка  
без кобылицы и коня,

так в наше время, в нашу пору,  
нельзя представить облик твой  
без узкоглазого шофера  
и без машины удалой.

Отрадно ехать на машине  
сквозь золотистые валы:  
кусты зеленые полыни  
и одинокие орлы.

Я все трясусь в автомобиле  
вдоль по дороге столбовой,  
и шлейфы самой тонкой пыли  
трепещут где-то за спиной.

Всем недругам своим на зависть  
ты развернулась в полный рост.  
И волосы твоих красавиц —  
как ночь без месяца и звезд.

А на привале под пластинки,  
когда стихают зной и пыль,  
они трепещут, как тростинки,  
и гнутся, как степной ковыль.

## МАРТИН ЛЮТЕР

Сопровождаемые гулом  
полузвучащих голосов,  
тебя везли два старых мула —  
упряжка прерий и лесов.

Благоговевя напряженно,  
за гробом черного попа  
в застиранных комбинезонах  
шагала смутная толпа.

Вдоль гроба, словно на веранде,  
лежали белые цветы,  
как будто на могилу Ганди  
опять неспешно ехал ты.

Вплоть до последнего ночлега,  
где путь закончить привелось,  
стучала длинная телега,  
скрипела, как земная ось.

## Лев Смирнов

### ПОГРУЗКА ЛИМОНОВ

В переулке лимоны грузили,  
И завскладом дышал на печать,  
И на каждом прохожем грузине  
Гордой мысли лежала печать.

Пахло солнцем, разлукой с семьей,  
Птичьей тягой за сини моря...  
Ну, а в общем-то пахло зимою.  
Дело было в конце ноября.

Был завскладом суровый и важный.  
Шла погрузка своим чередом:  
Ящик к ящику — многоэтажный  
На колесах был выстроен дом.

Каждый цитрус глядел новоселом:  
И улыбка, и рыжий вихор.

Был я грустным. А стал я веселым.  
И воскликнул: — О, жители гор!

Я по землям бродил беспредельным,  
Я устал. Исчерпался до дна,  
В вашем ультра-каркасно-панельном  
Не найдется ль каморка одна?

Говорил я забавные речи,  
Городил на песке города...  
А потом он уехал под вечер,  
Этот дом. Неизвестно куда.

Мне махали жильцы на прощанье,  
За тепло мое благодаря.  
Пахло снегом. Разлукой. Печалью.  
Дело было в конце ноября.

## Алексей Смольников

### ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

*(14 октября 1827 года)*

Провиденья кривая усмешка  
Или случая поздний кивок —  
Арестантская эта тележка  
На скрещении наших дорог?

Бородатый, худой, бледнолицый,  
Два жандарма за ним по пятам,  
Как беспомощно шурил ресницы  
Кюхельбекер, не веря глазам.

Как вы кинулись молча в объятья,  
Как припал он к плечу головой!  
Посылая обоим проклятья,  
Растащил вас не сразу конвой.

О, как долго фельдъегерь, бледнея,  
Погонял ошалевших коней,  
Чтоб скорее, скорее, скорее  
Увезти его с глаз, от людей.

В этой фризовой мятой шинели,  
В этой шапке, как брали в мороз.  
О, как яростно брызги летели  
Из-под этих гремящих колес.

И металась, металась тележка —  
Не укрыться, дорога гола! —  
Будто эта постыдная спешка  
Что-то скрыть от России могла...

Вот и все, что вам небо послало  
На последнем развилке дорог.  
Еще долго дождем штриховало  
Торопливый казенный возок.

Вот и все. Лишь деревья нагие,  
Желтый лист на случайном прутке.  
И один посредине России  
Пушкин с мокрою шляпой в руке...

## ПЕРЕД АТАКОЙ

Грозен час, когда окрепло  
понимание:

— Пора! —  
Буква праведная в пекло  
прыгнет с кончика пера.

На безвинную бумагу,  
как на вражеский редут.  
И уже — назад ни шагу,  
а не то они пройдут:

страх ползучий, блеск везучий,  
заверений трескотня,  
умолчание —

лазутчик  
от дивизии вранья...

Не заметишь, как случится, —  
пуля-дура, свет померк, —

где там шуйца и десница,  
если просто: руки вверх!

Кем-то сказано толково, —  
я и сам ручаюсь в том, —  
что в начале было слово,  
стало действие потом.

Лучше, нрав смиряя приткий,  
отказаться от пути,  
лучше серенькой улиткой  
в оборону заползти.

Дрожь по телу. Сердце сжало.  
Стала мокрою ладонь.  
— Что ж, начнем?

— Начнем, пожалуй.  
По противнику — огонь!



Постарел я. Все иначе вижу.  
Все переменялось на путях.  
Самолет мой в небе неподвижен —  
города бескрылые летят.

Улетают. Остаются тени —  
горестные памятки о них.  
Оттого земное тяготенье  
в жилах отлагается моих.

По одной из площадей летучих,  
в каждом отраженная стекле,  
ты прошла. И я не знаю лучшей  
женщины, возможной на земле.

На железных крышах пели хором  
всех лесов российских соловьи.

Отдал черный мудрый добрый ворон  
два крыла на волосы твои.

Сквозь толпищу чистых и нечистых,  
сквозь кварталы доблести и зла,  
весело, как вестник и как выстрел,  
любящая женщина прошла.

Я себя еще надеждой тешу —  
чудеса случаются в пути...  
Это было где-то в отлетевшем  
городе. Любимая, прости!

До него дорогой самой ближней —  
сто эпох и тысяча веков.  
И скользят по крыльям неподвижным  
тени городов и облаков.

## Владимир Соколов



И самый юный в мире дождь  
Исчез за первым поворотом.  
И показалось: ты идешь  
По тротуарам, как по нотам.

И я впервые ждал: тобой  
Тебе навеки посвященный,  
Как переулочек голубой,  
Не камнем — лунами мощный.

Был в лужах весь окрестный свет.  
А их оставил дождик краткий,

Как перевернутый ответ  
Под легкой детской загадкой.

Ведь воробьиной тишины  
Мерцала первая отрада.  
Ведь больше не было войны  
И было в мире столько лада.

И снова голубь ускользал  
От голубей — в иные сети.  
И я тогда еще не знал,  
Что нет единственной на свете.



На влажные планки ограды  
Упав, золотые шары  
Снопом намокают, не рады  
Началу осенней поры.

— Ты любишь ли эту погоду,  
Когда моросит, моросит...  
И желтое око на воду  
Фонарь из-за веток косит?

— Люблю. Что, как в юности, бредим,  
Что дождиком пахнет пальто.  
Люблю. Но уедем, уедем  
Туда, где не знает никто...

И долго еще у забора,  
Где каплют секунды в ушат,  
Обрывки того разговора,  
Как листья, шуршат и шуршат.



...Птица малая лесная.  
А. Пушкин

Все чернила вышли, вся бумага,  
Все карандаши.

На краю бузинного оврага  
Стой и не дыши.  
Сквозь туман просвечивает зелень,  
Клейкая пока.  
Где-то здесь, среди ее расселин,  
Он, наверняка.

Вот! Ни с чем, конечно, несравнимый  
Сколочек с пеня льдин...  
Первый, пробный, но неоспоримый.  
Вот еще один.  
Вот опять! Раскатисто и тесно.

Тишь... В листьях куста  
Происходит перемена места —  
Веточка не та.

И покуда тишь не раскололась  
Льдиною на льду,  
Есть во всем немой  
Старинный голос:  
«Что же ты, я жду».

Замирание целого оврага,  
Листьев и души.

Все чернила вышли, вся бумага,  
Все карандаши...

◆     ◆     ◆  
Скоро — черные, сырые  
Тротуары и заборы,  
Скоро — быстрые, лепные  
Облака и косогоры.

И не вырваться из веток  
Синева, что без границ,  
Как из самых мелких сеток  
Сонму славок и синиц.

Скоро мыслию по древу  
Будут соки растекаться.  
Скоро, скоро! Потерпите,  
Не спешите разбежаться.

## ШАДРИНСК

Холодным языком  
Писать о теплом?  
Топили кизяком,  
Мело по стеклам.

Пошатывался дом —  
Не замечали.  
О веке золотом,  
Сойдясь, мечтали.

Чем он казался им,  
Озябшим детям, —  
Огромнейшим вторым,  
Безбрежным третьим?

Избытком киселя  
И каши манной?  
Сердца их веселя  
В пурге туманной.

Не этим и не тем.  
Хотя заметим,  
Что все же, между тем,  
Он был и этим.

Он был — «Перед войной»,  
А еще более  
Он был страной родной  
В грядущей доле.

◆  
О веке золотом...  
Смешно мне, право.  
Но можно ли о том  
Вот так, лукаво?  
Посмеиваясь?

Нет.  
Ужель не помнишь,  
Как был копилки свет  
Отраден в полночь?  
Как луч на потолок  
Бросал он, истый  
Чадящий фитилек,  
Чуть золотистый?

◆  
Заброшенность. Война.  
Пайки. Талоны.  
В трех метрах от окна  
Шаги. Вагоны.

У баб, у детворы,  
У командиров  
Пар изо ртов... Пары  
Локомотивов.

Вихлястые дымы  
Над паровозом.

— У Кольки-то — пимы...  
— Отец завхозом.

По снежной целине  
Через сугробы.

— Мой батька на войне,  
А твой?  
— Еще бы!

Скользя меж черных изб,  
Чужих и теплых,  
Сквозь снежный вой и визг  
Заулков темных,—

Два мальчика в тылу,  
В безлюдной жути,  
Два пятнышка в дыму,  
В белесой мути.



Родимый хлад,  
Бери меня за ворот.  
Мой дух и взгляд  
Впери в заветный город.

Наставь и помоги  
Возвратом пыла.  
Мы больше не враги,  
Как это было.

Я не дрожу в снегу,  
Не жмусь в метели.  
Озябнуть не могу —  
Тепло одели.

Я, как мальчонка тот  
В той вьюжной буре,  
Не бью подошвой в лед —  
Тепло обули.



— Ну, я пошел.— Пока...  
— Зайдешь до школы?  
— Зайду...—  
С воротника  
Метель — на полы.

Опять за воротник  
И за ботинки.  
Шагает ученик!  
Ресницы — льдинки.

Уходит от меня.  
Уже за гранью  
Припомненного дня.  
По Зауралью.

По мраку без огня,  
Чуть видный глазу,  
Уходит от меня,  
Как по приказу.

Решителен и прям,  
Как все мужчины,  
Идет сквозь сотни драм.  
Несет лучины.

Вдыхая воздух бед,  
Отбив в столовке,  
Несет домой обед  
Пустой готовки.

«За Родину и за...»  
В душе лелея,  
Он гнется, как лоза,  
Средь снеговья.

Он мальчик той поры  
(А все же — мальчик).  
Ему бы даль игры,  
Красивый мячик.

А он, от снега слеп,  
Стихи бормочет.  
Несет, как вазу, хлеб.  
И чаю хочет.



Идет он... Каждый дом  
Смыкает веки.  
... О веке золотом  
И об Артеке...

Гляжу ему вослед.  
Немеют щеки.  
Идет сквозь двадцать лет —  
Учить уроки.



Нужно плотно прижаться лицом к стеклу.  
От вагонного света рукой отстраниться,  
Чтоб увидеть, как в ночь, не успев появиться,  
Исчезает вокзал с фонарем на углу.

Нужно плотно прижаться лицом к стеклу,  
Чтоб увидеть в окне не понурые спины  
Задремавших людей, не узлы, не корзины,  
А дома и деревья, кустарник и мглу.

Нужно плотно прижаться к стеклу  
лицом,  
Сжать дыханье в груди, чтоб глазам не  
мешало,  
Чтоб волнение твое на стекло не дышало,  
Чтоб увидеть в окне  
то, что есть за окном.

## Владимир Солоухин



От меня убегают звери.  
Вот какое ношу я горе.  
Всякий зверь, лишь меня завидит,  
В ужасе,  
Не разбирая дороги,  
Бросается в сторону и убегает прочь.

Я иду без ружья, а они не верят.

Вчера я стоял на краю поляны  
И смотрел, как солнце с сумраком спорит:  
Над цветами — медовый полдень,  
Под цветами — сырая ночь.

На поляну бесшумно, легко, упруго  
Не ожидавшая столь интересной встречи,  
С клочьями линючей шерсти на шее,  
Выбежала озабоченная лиса.

Мы посмотрели в глаза друг другу.  
Я старался смотреть как можно добрее,  
По-моему, я даже ей улыбнулся.  
Но было видно, как наполняются ужасом  
Ее звериные выразительные глаза.

Но ведь я не собирался ее обидеть.  
Напротив. Мне было бы так приятно,  
Если бы она подошла и о ногу мою  
потерлась  
(О ногу мою не терлась лиса ни разу),  
Я пригладил бы ее линючую рыжую шерсть.  
Но она рванулась, земли под собой не видя,  
Как будто я чума, холера, проказа,  
Семиглавое, кровожадное чудовище,  
Готовое наброситься, разорвать и съесть.

Сегодня я нагнулся поднять еловую шишку.  
Вдруг из хвороста, из прохладной тени,  
Выскочил заяц. Он подпрыгнул, замер  
И пустился, как от выстрела, наутек.  
Но ведь я не хотел обидеть зайчишку.  
Он мог бы запрыгнуть ко мне на колени,  
Верхней губой смешно шевеля и ушами,  
В доброте человека разуверившийся зверек.

Белки,  
Завидев меня, в еловых прячутся лапах.  
Ежи,  
Завидев меня, стараются убежать в крапиву.

Олени,  
Кусты разрывая грудью,  
От меня уносятся вплавь и вскачь.  
Завидев меня или только услышав запах,  
Все живое разбежится торопливо,  
Как будто я самый последний  
Беспощадный  
Звериный палач.

Я иду по лесам, раздвигая зеленые ветви,  
Я иду по лугам, раздвигая цветущие травы,  
Я иду по земле, раздвигая прозрачный воздух,  
Я такой же, как дерево, как облако, как вода.  
Но в ужасе от меня убегают звери.  
В ужасе от меня разбегаются звери.  
Вот какое горе. Вот какая беда.



Жизнь моя, что мне делать с нею,  
То блеснет, то нет из-за туч.  
Помоложе я был цельнее,  
Был направлен, как узкий луч.  
За работу берешься круто,  
По-солдатски жесток режим,  
Все расписано по минутам  
Час обедаем, час лежим.  
В семь зарядка — и сразу в омут,  
И за стол рабочий, «к станку»,  
На прогулку выйти из дому  
Раньше времени не могу.  
Или вот, простая примета,  
Вот каким я суровым был, —  
Дождик выпадет ясным летом,  
В лес отправишься по грибы,  
А малина, или черника,  
Иль ореховая лоза,  
Земляника и костяника  
Так и тянутся на глаза,

Так и тянутся, так и жаждут.  
Только цель у меня узка,  
И не дрогнула ни однажды  
Ни душа моя, ни рука.  
И сорвать бы... Чего бояться?  
Что там ягода? Пустяки!  
Но рискованно расплыться  
И дробить себя на куски.  
Нет, соблазны все бесполезны,  
Если в лес пошел по грибы..  
Вот каким я тогда железным,  
Вот каким я хорошим был.  
А теперь я люблю — окольно,  
Не по струнке люблю уже,  
Как-то больно и как-то вольно  
И раскованно на душе.  
Позабыл я свою привычку,  
И хотя по грибы идешь,  
То орешек, а то брусничку,  
То цветок по пути сорвешь.

## Алла Стройло

### ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ ДРУГ ДРУГА

Если вы потеряли друг друга,  
То без паники и без испуга  
Поклонитесь московскому ГУМу,  
Многослойному гаму и гулу,  
Вас отлично по линии личной  
Коробейник обслужит столичный,  
Если вы потеряли друг друга...  
В этом сказочном универмаге  
Всемогущие радиوماги  
Под поющие звуки тамтама  
Всем сулят рандеву у фонтана,  
Если вы потеряли друг друга...

...Я печально гляжу на прилавки,  
На заколки, булавки и плавки,  
Я, наверно, по линии плана  
Перед ГУМом в огромном долгу,  
Тыщу лет я торчу у фонтана,  
А увидеть тебя не могу!  
Понимаешь, с финансами туго,  
Вечно пуст мой бездонный карман.  
Если вы потеряли друг друга!  
Если мы потеряли друг друга,  
Если я потеряла друг друга,  
То какой тут, товарищи, план?

# Дмитрий Сухарев

## УЖИН

Строжайшая женщина в мире  
Над ужином тихо колдует,  
Пред нею картошка в мундире,  
И соли немножко,  
И лук.

Ее непоседливый друг  
На клубень с усердием дует,  
Пред ним кожура на газете,  
И хлеб на газете,  
И соль,  
И располагает к беседе  
Накрытый клеенкою стол.

А день за окном истлевает,  
Он сумрачен и сыроват,

А лампа на них изливает  
Свои шестьдесят, что ли, ватт,  
А руки им греет картофель,  
И дело идет к темноте.  
А чайник стоит на плите.

И чайника белая крышка  
Танцует «цыганочку», что ли,  
Приплясывает — от излишка  
Веселья, а может и боли,  
И пляс этот, пляс поневоле,  
И окна холодные эти,  
И этих картофелин дух  
Так располагают к беседе —  
И необязательно вслух.



На смирной лошади каурой  
(Куда влеком и кем гоним?)  
Стоит у камня витязь хмурый,  
И три дороги перед ним.

Летят над русскою равниной  
За веком век, за веком век,  
Умолкли древние былины,  
Вознесся в космос человек.

На металлических снарядах  
Мы мчимся вдоль и поперек,  
И на широких автострадах  
Есть указатели дорог —

Где Симферополь, где Кашира,  
Где поворот, где спуск крутой.  
Шуршит бетон, летят машины  
С невероятной быстротой.

Такси возьмете до Рязани,  
В Хабаровск сядете на «ТУ».  
Есть расписание на вокзале,  
Есть график в аэропорту.

Железный вихрь, стальная буря,  
И все рассчитано давно...  
А человек лежит, и курит,  
И на звезду глядит в окно.

Свои ошибки и удачи  
Он ворошит и ворошит.  
Его вопрос, его задача, —  
Никто на свете не решит.

Своей печалью он печален,  
Своими мыслями томим.  
И точно так же, как вначале,  
Все три дороги перед ним.

# Татьяна Сырыщева



Казалось, я не жила...  
А жизнь взяла — и прошла.

Прошла, скользнула потаённо,  
как в детстве моем в Баку  
скользили огни фаэтона  
по темному потолку.  
Плескались подковы. Пятна  
текли под уклон, рябя..  
Кричу я: — Вернись обратно!  
Я буду любить тебя!..

Ведь было же, было это —  
мелькнувшее... (Память, что?)  
Шалаш в царапинках света,  
черешня, а в дождь — лото.  
И солнце, и праздник новый,  
и ветки взамен коней,  
и выжатый сок вишневый,  
чтоб кожа была красней.

Каким же он был счастливым,  
мой первый — индейский — рай!  
Но выстрелы над обрывом  
сказали: «Прощай! Прощай!»

От станции Баладжары  
колеса бегут вперед.  
Скопление звезд — Стожары —  
навстречу глазам плывет.  
Мне звезды Земли знакомы...  
Черпнула. Держу в горстях.  
О, быть бы скорее дома!  
Соскучилась я в гостях.  
Как фокусник, вынимаю  
горящие до сих пор  
веселые маки мая,  
флажки апшеронских гор.  
А берег в потеках моря,  
где ветер любил кружить,  
где думали мы с Фатьмою,  
что сможем всю жизнь дружить?..  
О, пусть это все вернется!  
Подаренным дорожа,  
не брошу на дно колодца  
живое кольцо ужа.  
На теплый приступок сяду  
и долго буду сидеть, —  
сквозь градины винограда  
на будущее глядеть.



Руки хирурга к моей прикасались судьбе.  
Люди пытались меня приспособить к себе.

— Смехом от них городись! — говорили друзья.  
Но не смеялась, — по глупости плакала я.

Ветки обрубят — ольха обернется слегой.  
Крылья отнимут — сноха обернется слугой.

Век не прослужишь, уйдешь из хозяйской семьи —  
Пуще умножатся беды-обиды твои.

Нет окаянной душе ни покрывки ни дна.  
Зависть с лицом перекошенным шепчет: «Одна!»

Чем бы занять ее? Чай, испесивилась, чай...  
На-ка, бездетная, наших детей покачай!»

...Всем еще спится на радужной зимней заре.  
Только синицы звенят по утрам в ноябре.

Стук в скорлупу. Синичонком проклюнулся стих.  
Тесен рассвет для прожорливых песен моих.

Мне бы в ладонях погреть эту жизнь, поддержать...  
Поздно. Пора на дневную работу бежать.

Нет ни минуты, ни дня, ни покоя, ни сна.  
Кто-нибудь снова завистливо скажет: «Одна!..»

## Арсений Тарковский



*Т. О. — Т.*

Лиловая в Крыму и белая в Париже,  
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе,  
Как девочка в слезах, а вор в дождевике  
Под дождь — из булочной с бумажкой в кулаке,  
Но там, где туфелькой скользнула изумрудной,  
Беречься ни к чему и плакать безрассудно.

По лужам облака проходят косяком,  
Павлиньи радуги плывут под каблуком,  
И девочка бежит по гребню светотени  
(А это жизнь моя) в зеленом по колени,  
Авоськой машучи, по лестнице винтом,  
И город весь внизу, и гром за нею — в дом.

*29 апреля 1967 г.*

### ВОСЬМИСТИШИЯ

1

Во вселенной наш разум счастливый  
Ненадежное строит жилье,  
Люди, звезды и ангелы живы  
Шаровым натяженьем ее.  
Мы еще не зачали ребенка,  
А уже у него под ногой  
Никуда выгибается пленка  
На орбите его круговой.

2

Наша кровь не ревнует по дому,  
Но зияет в грядущем пробел,  
Потому что земное земному  
На земле полагает предел.

Обезумевшей матери снится  
Верещанье четверки коней,  
Фаэтон, и его колесница,  
И багровые кубы камней.

3

На пространство и время ладони  
Мы наложим еще с высоты,  
Но поймем, что в державной короне  
Драгоценней звезда нищеты,  
Нищеты, и тщеты, и заботы  
О нерадостном хлебе своем,  
И с чужими созвездьями счесть  
На земле материнской сведем.

*12 февраля 1968 г.*

◆      ◆      ◆

Струнам счет ведут на лире  
Наши древние права,  
И всего дороже в мире  
Птицы, звезды и трава.

До заката всем народом  
Лепят ласточки дворец,  
Перед солнечным восходом  
Опускает лук Стрелец,

И в кувшинчик из живого  
Персефонины стекла

Вынуть хлебец свой медовый  
Опускается пчела.

Потаенный ларь природы  
Отмыкает нищий царь  
И крадет залог свободы —  
Летних месяцев букварь.

Дышит мята в каждом слове,  
И от головы до пят  
Шарики зеленой крови  
В капиллярах шебуршат.

12 февраля 1968 г.

◆      ◆      ◆

Пляшет перед звездами звезда.  
Пляшет колокольчиком вода.  
Пляшет шмель и в дудочку дудит.  
Пляшет перед скинией Давид.

Плачет птица об одном крыле.  
Плачет погорелец на золе.  
Плачет мать над люлькою пустой.  
Плачет крепкий камень под пятой.

12 февраля 1968 г.  
Вильнюс

## Мария Терентьева

### ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ

С юностью своею своенравной  
Встретилась я,  
                                как с подружкой давней,  
Мы бродили по проспектам рядом  
И сердца сверяли с Ленинградом.

Не состарился, не выцвел город,  
Через сорок лет такой же близкий.  
Жизнь прожить?  
                                И радости, и горе —  
Не вместятся в послужные списки...

Спрашивала я у сфинксов как-то,  
Смолоду впадая в многословье:  
«Девы-львицы  
                                с гривою крылатой,  
Что мне делать с жизнью и любовью?»

Светлый вечер стыл у парапета,  
Бег Невы и блеск жемчужно-серый...  
Через годы  
                                я нашла ответы,  
Испытав добро и зло без меры.

Но в двадцатых,  
                                будто в бой, в атаку,  
Отметая всякий хлам старинный,  
Мы врывались звонкою ватагой  
В храм науки, строгий, длинный, чинный.

Как отважны были мы в двадцатых!  
Я сейчас вхожу сюда, робея,  
Всё в лесах ремонтных, будто в латах  
Старый рыцарь, —  
                                зданье голубеет.

Здесь так зримо  
                                прошлое вскипает,  
Крутится магнитофонной лентой,  
Но меня внезапно настигает  
Взгляд угрюмый абитуриента.

Не прошел!  
                                Вся горечь неудачи  
В напряженном полудетском взгляде,

И, растерянность уже не пряча,  
Он бросает на ходу тетради.

Мне бы кинуться к нему!  
                                Как остро  
Сжалось сердце...

                                Но мелькают лица,  
И влечет меня потоком пестрым  
В толчею сияющих счастливец.

Все волненья ваши и надежды  
Обхватили, обступили сразу,  
Будто снова юность.  
                                Ветер прежний  
Поднимает и бросает наземь...

Мудрость старших бережет и учит,  
Но вы будьте и смелей и лучше!  
Пусть в пути устану и отстану,  
Вашим счастьем  
                                жить не перестану!

## САД

*В. П. Зарудиной*

Почти как летом, зеленеет сад,  
Домами, что горами, защищен,  
Но провода взволнованно гудят,  
Гремя в антеннах, рушится циклон.

Деревья осыпает рыхлый снег,  
И ветер завывает жалко так,  
Что кажется — с разбегу человек  
Упал и стонет в сломанных кустах.

В недоуменьи леденеет сад,  
В растоптанную грязь летит листва...  
Не так ли ты, покорная на взгляд,  
Клонилась в горе раннего вдовства?

И ты жива, как этот добрый сад,  
Пробитый плащ закатом озарен,  
Но сколько веток сломано подряд,  
И в шуме листьев слышен жести звон...

## Дина Терещенко

### ЛЮБОВЬ

Она пришла не поздно и не рано.  
Она пришла как оправданье всех  
моих надежд. Как исцеленье раны,  
мне нанесенной.  
                                «Руки вверх»...

И я сдалась,  
я руки подняла  
и приняла любовь как испытанье.

Она меня беглянкою взяла  
не в кабалу и не на поруганье.  
О, долгий путь моей свободы странной!  
Ты позади. Прощай. Не озираясь,  
иду в негаданные страны,  
где нет предательств,  
лжи и зависти.  
Февральским днем иду неторопливо,  
перечеркнув условностей запреты.  
Ах, что запреты для меня, счастливой,  
шагающей в страну любви и света!

## ВЕДЬ Я С МАГНИТКИ

Ты не во мне ищи причину!  
Тебе краснеть...

Хворают дети скарлатиной,  
но взрослым тягостней болеть.

Переболею. Перемучаюсь.  
Уйду. Сбегу.  
Не знать тебя!  
О вековое бабье мужество —  
детей рожать,  
мужей терять,  
и жить,  
и утешать скорбящих.  
Всей жизнью жить не для себя.  
Не это ль истинное счастье!  
А если это,  
значит, я  
счастливее счастливых самых.

Мне жить и жить и не стареть,  
ведь я с Магнитки, из упрямых.  
Через меня земная твердь  
прошла кровинкою металла,

И навсегда,  
и навсегда  
мне ось земную начертала  
моя судьба.

Но города  
не сразу строятся, я знаю,  
по кирпичу.  
По кирпичу.  
И я все снова начинаю,—  
и жить учусь. И жить учу.

Ты не во мне ищи причину!



Я услышала зов,  
я услышала.  
Во Владимире я услышала.

Колокольня моя застывшая,  
молчаливо меня казнившая.

Князь Владимирский был бы,  
эх, был бы...  
мое сердце собой заслони́л бы.

Князь Владимирский, друг хороший,  
заметёны следы порошей,—

где ты хаживал,  
горе нашивал.

Не вернешься.  
Не обернешься.  
Болью сладостной не отзовешься,  
медовухою,  
звоном гулким.

А еще...  
солонь твои губы.

Целовать бы их.



Звучит во мне твое: «Приду».  
Звучит истошно, сладко.  
И предвещает мне беду  
и горы беспорядка.

А я, отчаянная, жду  
и, не боясь нелепиц,  
весь день в беспомощном бреду  
по слову этому бреду,  
и ожиданье светится

во мне, как тысячи огней  
инопланетных, странных...

А голос все сильнее, сильнее  
звучит, как окаянный:  
«Приду», — все валится из рук.  
«Приду», — звенят капли.  
«Приду, приду, приду...»

А вдруг  
придешь на самом деле!



## ПОД ГОЛУБЫМИ ПАРУСАМИ

Я — не мыслитель,  
не стратег,  
не чемпион  
арен  
и кортов,—  
я — с малой буквы человек,  
я из застенчивых,  
но гордых.

И не божественный глагол,  
а притяжение земное,  
но луч сверкнул —  
и сад расцвел,  
хотя ноябрь грозит зимою.  
В своем подвале овощном  
стучу на счетах равнодушных,  
но все вокруг,  
но все кругом  
высокой музыке послушно.  
И на вселенную гляжу  
зеницами,  
а не глазами  
и в Синий космос  
выхожу  
под Голубыми  
парусами.

## Федор Фоломин

### ПОСТОЯЛЕЦ

Перепел, серенький перепел,  
Вечная память тебе!

Прожил жизнь в гостинице людной,  
будто в хате, вишнями окутанной,  
поэт Иван Приблудный —  
парень коренастый, путаный.

Ребьячья соленая шалость  
в сплетню вошла, в преданье.  
Все добро его помещалось  
в одном чемодане.

Улыбался людям скиталец —  
младший друг Есенина.  
В жизни раздольной остались  
былинки знойного сена.

Был он верен только призванью —  
вечный гость столичных гостиниц.  
Петухи окликали Ваню,  
кусали щенки за мизинец.

Ни семьи, ни дачи, ни денег,  
ни границ между пасхой и говеньем,  
ни роскошных минут отдельных,  
именуемых вдохновеньем.

Славил землю всю —  
не кого-то,  
на судьбу по-собачьи не воя...  
Ах ты, жизнь,—  
дорбга, работа,  
одиночества милая воля!

Выцветали красками солнечные фрески;  
в студии вертелся ветер-ротозей.  
— Друзей! — задыхаясь, воскликнул  
Кипренский.—  
Друзей! —  
Небеса голубые пастелью растаяли:  
Сдавила горло,  
на грудь легла  
в нежноголосой, цветочной Италии  
тупая мгла...  
Стынет на столе ужин полуночи;  
утратила утренний запах еда.  
— Друзей! — кричат седые гордые юноши;  
— Друзей сюда!  
Смерть мою радостно предупредите,

промелькните в судьбе — непромытом  
окне;  
из нагорного города, с лугов придите,  
придите, друзья, ко мне!  
Поделитесь властной веселой силой,  
что с походом отпущена вам на веку;  
улыбкой песни, байкой красивой  
обнадежьте горькую строку!  
Не без племени вырос я, не без роду,  
вам дело мое, вся кровь моя...  
Немеют ритмы,  
мертва природа  
без вас, друзья!

## Игорь Федорин

Всё руки бабки предо мной снуют —  
крестьянские, не знавшие покоя.  
Им смолоду был ведом только труд,  
они — земля, вся в трещинках от зноя.

Ни нежности, ни ласки, ни тепла.  
Одна сухая, черная поденка.  
Но чудом фотография цела,  
где эти руки нянчили ребенка.

И не живые, каменные —  
вдруг  
теплом воспоминания дарили.  
И всем, что получил от этих рук,  
обязан я их щедрости и силе.

Еще их помню: сложены крестом.  
Как снег бело под ними покрывало.  
Я был ребенком. Понял лишь потом,  
как нам с отцом  
всю жизнь их не хватало.



Из земли — хоть в стужу, да наружу —  
Так и лезет новая трава.  
Вот и я молчание нарушу:  
Верю, что не вымерзнут слова.

Слово за словом, посеешь строчку  
И не как-нибудь, не вкривь, не  
вкось, —  
Радуешься первому росточку, —  
Может, и не вымерзнет. Авось...

Примутся. Потом укоренятся,  
Побегут меж ними муравьи  
И разведчицы крылатой нации  
Понесут корзиночки свои.

С Танганьики до реки Таруски  
Журавли протянут в вышине:  
В рифму, по-зулусски, иль по-русски,  
Иль еще как, — подкурлыкнут мне.

*26–27 апреля*

## СТАРЫЕ СТИХИ

Кружатся пушинки иль снежинки, —  
На дворе зима или весна.  
На каретке пишущей машинки  
Лист бумаги. В нарушение сна.

Что-то размечтался ты не в меру:  
«Вот бы... Хорошо бы... Кабы мне б...»  
А совсем седой, — под стать Гомеру.  
Даже лучше: пенсионный хлеб.

Днем прогулка. Бежевый беретик.  
Осторожно площадь перейдешь,  
Важный, словно грек-перипатетик.  
Девушка толкнула. Молодежь...

Нынче приглашен на вечер в ЖЭКе  
С юбилейной датой в связи.  
Пять старушек — тоже человеки —  
Дремлют. Не сердись и не дерзи.

По ошибке ты сочтешь ошибкой  
Ранние и лучшие грехи  
И, волнуясь, скажешь им с улыбкой:  
«Я прочту вам старые стихи».





## Евгений Храмов

### ЛЮБОВЬ

А любил он ее все четырнадцать лет,  
Ее взгляд, и улыбку, и маслом портрет,  
И походку ее, и высокую грудь,  
А себя самого не любил он ничуть.  
А себя не любил, не берег, не жалел  
И от легкого взгляда любимой шалел.

Мне, живущему в круге суеты и возни,  
Мне, привыкшему — руки протяни и  
возьми,  
Мне, идущему ровно, без бед и побед,  
Мне вот так бы любить все  
четырнадцать лет!

И походку любить, и высокую грудь,  
А себя самого не любить бы ничуть.  
А себя не любить, не беречь, не жалеть  
И от легкого взгляда любимой шалеть...



Вселенная безмерно расширяется,  
но что-то невозвратное теряется,  
и в этом, право, некого винить.  
Прощайте, песни долгие, протяжные,  
художества кузнечные, портняжные,  
прощай, лазурь и ясная финифть!

Прощай, работа кустарей веселая,  
и звонницы, взнесенные над селами,  
и круглый ярославский говорок.  
Вы возвратиться к нам не обещаете,  
но, расставаясь с нами, нас прощаете  
и ничего не ставите в упрек...

## Владимир Цыбин



И хочется рано проснуться  
и, шурясь спросонья на свет,  
доверчиво вдруг потянуться  
к чему-то,  
чего еще нет,  
где все в первый раз, все иное:  
и теплое утро, и луг,  
где слышишь большое, сквозное,  
живое  
в себе и вокруг.  
Свет сыплется белой порошей,  
щемящий, прозрачный, тугой.  
Спасибо,  
день ясный, хороший,  
за то, что родился такой.

Спасибо,  
что, жить привыкая,  
отвык я от прожитых лет.  
Глаза от себя отпускаю —  
бегите, глядите на свет.  
Спасибо  
за то, что не мучит,  
не тянет к иному теплу,  
что хрупкий и тоненький лучик  
ловлю на щеке, как пчелу.  
Спасибо за то, что я рано  
проснулся,  
когда наяву  
и боязно как-то и странно, —  
а вдруг я еще не живу...

◆            ◆            ◆

Посреди лесной глуши,  
где рукой достать до неба,  
я стою в сугробах снега,  
словно в августе  
во ржи.  
Снежно-хвойно.  
День сухой,  
день, бегущий в первопуток,  
как сосулька, бел и хрупок,  
надломился над ольхой.  
Ранний,  
ранний,  
ранний снег  
после листьев, после ливней —  
мир прямых и строгих линий  
на всю землю,  
на весь свет.  
Он лежит промежду рек

и бугров,  
густой, морозный,  
словно все еще не поздно  
и еще в запасе век,  
словно жизнь и вкривь и вкось  
не мотала, не качала:  
все — впервые,  
все сначала,  
только-только началось.  
Снег в ладонях — неба горсть,  
чуть сожмешь — и станет таять  
тихо.  
Лишь вздохнешь, как замать,  
нежный мир пройдет насквозь.  
Поднимается с земли  
и кружится снег,  
как листья.  
Все прозрачно, все пушисто,  
все свершится, все — вдали!

## ПОДСНЕЖНИК

Слышишь,  
как громко сквозь снег подснежник  
вверх сейчас дает стрекача,  
и скоро,  
          встав на хрупкий подсвечник,  
синим зажжется его свеча!  
Он будет сгибаться, нежен и тонок,  
от поздних снежинок,  
как от стрекоз.  
И станет казаться — что неба осколок,  
упавший наземь когда-то,  
          пророс.  
И земля затоскует сильно по веснам  
под заматью неба,  
под коркою льда,  
и, подтаяв, закаплют серебряным воском  
на все подснежники холода.  
Вот посыпал ветер  
белой погодой,  
и снега по низинам  
          плашмя полегли.  
И синей нежности

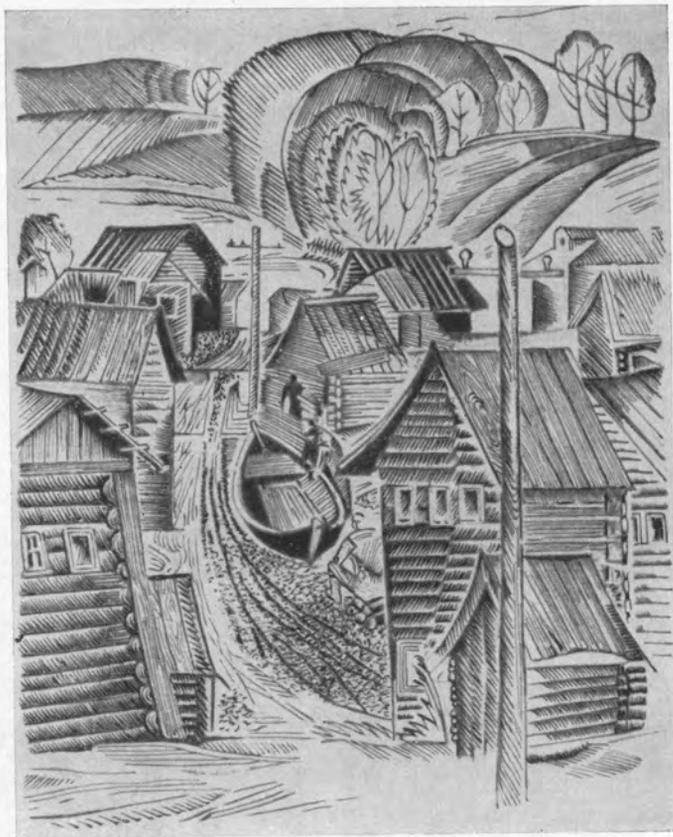
лишь покорный,  
подснежник светит — вершок от земли.  
Подснежник — оттепели ровесник,  
сверстник первой, вязкой травы.  
И я нагибаюсь, —  
здравствуй, подснежник,  
насыпь мне пригоршню синевы!  
Синие-синие эти капли  
дай в ладонях своих подержу,  
чтобы снега возле тебя не зябли,  
дай в лепестки  
тебе подышу!  
Значит, вот-вот по обычной грусти,  
возвращаясь из чужедальних краев,  
белые перья выстелют гуси  
вместо белоперых снегов.  
И все гуще и гуще у дальних просек,  
там, за подснежниками,  
в конце  
нежно вспыхивают родинки почек  
у синего мая  
на светлом лице!





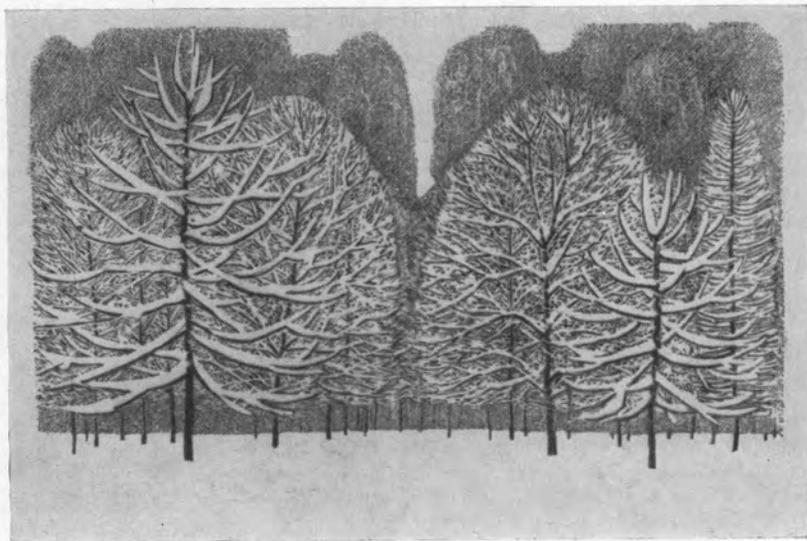


*Художник В. Минаев. Павел Корчагин*



Художник Ю. Космынин.  
Гравюра к книге стихов П. Кустова «Онежские рассветы»

Художник К. Дорон. Зимний пейзаж



# Олег Чухонцев

## ОСЕНИНЫ

(Провожая птиц)

Так дышится легко, так далеко глядится,  
Что кажется, вот-вот напишется страница.

О чем? Поди скажи! О том, как безутешно  
Повернута на юг открытая скворешня?

Или о том, как гром окраинами бродит,  
И листопад идет, и молодость проходит?

Что скажешь? Как поймешь? Возьмешь ли  
грех на душу  
Нарушить тишину? И словом не нарушу!

Лишь длинно погляжу на снявшуюся стаю,  
Как будто этот мир и сам я покидаю.

И оброню перо, и сердцем просветлею,  
Как будто подымусь над участью своею.

Я жил. И я ушел. И нет меня в помине.  
И тень моя скользит неслышно по равнине.

И так мне высоко — что это ли не чудо? —  
Оборотясь, глядеть с улыбкою оттуда?



А в нашем саду поселились вороны.  
Вьют гнезда. Ломают сушняк на дубах  
И каркают так, что качаются кроны  
От ора, и в душу вселяется страх.

Да вправду ль вороны? Не спутать бы мастью,  
Не вспомнить бы зоркой приметы потом:  
Ворона к ненастью, а ворон к несчастью.  
К чему же отец тычет в небо шестом?

Ах, господи, что за содом! Неужели?  
Не знаю, не знаю... Лишь в этот приезд

Заметил, как мать и отец постарели.  
Не знаю, не знаю, к чему этот шест!

...Как билось оно — не от той ли печали? —  
Над шумным гнездом вороное крыло!  
А ветви шумели. А птицы кричали.  
А солнце, весеннее солнце пекло.

Хоть гром бы свалился нежданной напастью!  
Хоть ливень бы хлынул на наше жилье!  
Ворона к ненастью, а ворон к несчастью.  
Вороны иль вороны?

Кыш, воронье!

## В ГРОЗУ

Такое удушье стояло в ночи,  
Недаром весь вечер кричали грачи,  
Кричали, кричали, кричали истошно,  
И было от грая уснуть невозможно.  
Когда ж я уснул на какой-нибудь час,  
Раскатистый грохот пространство потряс,  
И вжались пружины — чтоб им  
провалиться! —

Я раньше вскочил, чем успел пробудиться.  
Лил ливень. Металась сирень за окном.  
И крыша светила зловещим огнем.  
Я только очнулся, окно затворяя,  
Как вспыхнула вспышка, на миг озаряя  
Все мокрые крыши, весь вымокший сад,  
И грянул — я так и отпрянул! — разряд,  
И я, как цыпленок, забившись под клушу,  
Не знал, куда деть оробевшую душу.

Не так ли когда-то — конечно, не так! —  
Глядел Зороастр в ослепляющий мрак  
Из храма и, гневно закинувши тогу,  
Сам бог — выходил исповедаться богу.

Лил ливень. Гремел за раскатом раскат.  
А он подымал испытующий взгляд  
И смерти просил, но ревнивая сила  
Его — поборовшего робость — щадила.  
Лил ливень. Металась сирень за окном.  
И саднило душу совсем об ином.  
...Металась, металась, металась тревожно,  
И трепета было унять невозможно.  
Казалось, весь мир трепегал под дождем,  
А я все следил — подождем, подождем! —  
Следил из окна с восхищеньем и злобой:  
Не хочешь ли выйти? Попробуй, попробуй...

# Юрий Шавырин

## ПРОВИНЦИАЛ

В линиялой клетчатой ковбойке  
Он говорил и час, и два.  
И все мы думали:  
Как бойки  
Его ретивые слова!  
Ершистый,  
Маленький,  
Курносый,  
Он не боялся никого,  
И все «проклятые» вопросы  
Срывались сами с губ его.  
От их изнемогая груза,  
Он нас задорил, задира,

Как будто со всего Союза  
Вопросы эти собирал.  
Он с нами спорить мог ночами,  
И кто-то вслед ему сказал,  
Презрительно пожав плечами:  
— Ну что с него?  
Провинциал! —  
А я сознанием терпеливым,  
Настороженным по ночам,  
Завидовал его порывам  
И удивительным  
Речам.



Сугробов холодную пену,  
Дорогу к колодцу во льду,  
Коровы голодную песню  
Я в памяти сразу найду.  
Вот — я, не успевший проснуться,  
Как эта заря молодой,  
Боясь в темноте  
Поскользнуться,  
К колодцу иду за водой.  
И, как на торжественном сборе,  
В нагрудниках цвета зари

На каждом соседнем заборе  
Солидно сидят снегири.  
И к осени — полная чаша,  
К весне — непременно в долгу,  
Изба невысокая наша  
По окна осела в снегу.  
Сливаются искорки снега  
С белой стеною избы,  
И дым в неподвижное небо  
Течет,  
Не касаясь трубы.

# Варлам Шаламов



Я — северянин. Я ценю тепло.  
Я различаю, где добро, где зло.  
  
Мне нужен мир, где всюду есть дома,  
Где белым снегом вымыта зима.  
  
Мне нужен клен с опавшею листвою  
И крыша над моею головою.  
  
Я — северянин, зимний человек,  
Я каждый день ищу себе ночлег.



Твой дед и прадед — плугари,  
И по своей природе  
Ты пахарь, что ни говори,  
В своем, конечно, роде.  
  
И тихо ходит по листу  
Твой плуг — перо из стали,  
Чтоб люди старую мечту  
Для почестей достали.

## МАРИЯ КЮРИ

Какое-то апреля  
Полсотни лет назад —  
На выставке в Брюсселе  
Бесценный экспонат.

Необычайно важный  
Научный экспонат —  
Простой листок бумажный  
Приковывает взгляд.

Незримого свечения  
Отравленный поток,  
Хранящий излученье  
Тетрадоочный листок.

Лежит листок полвека,  
Зловещий, как анчар.  
Он — гордость человека,  
Разоблачен чар,

Природы чар незримых,  
Где предвосхищены  
Пожары Хиросимы  
И ядерной войны.

И ты, открытая жертва,  
Складовская-Кюри.  
Листок — твое бессмертье.  
Добейся — и сгори!

И счетчик излученья  
Трепещет у листка.  
Всеобщее волнение,  
Волнение и тоска.

Не жизни разве ради  
Открыла нам она  
Вот этот самый радий,  
Которым сражена?



Не в пролитом море чернил  
Мы ищем залого успеха.  
Мы ищем, что мир схоронил,  
Себе сохранил на потеху.

Что он от других уберег  
Таких же старателей жадных,  
Умеющих кайлами строк  
Врубаться в словарь беспощадно,

Но золото скрыто на дне,  
И эту тяжелую тайну

Записывать нам суждено  
Воистину только случайно.

Случайно руда найдена,  
Хотя полнословно и щедро  
И будто до самого дна  
Земли открываются недра.

И можно порвать черновик  
И легкой походкою зверя  
Уйти от могущества книг,  
В могущество леса поверя.

## ЯСТРЕБ



С тоской почти что человеческой  
По дальней сказочной земле  
Глядит тот ястреб узкоплечий,  
Сутолящийся на скале.

Рассвет расталкивает горы,  
И в просветленной темноте  
Тот ястреб кажется узором  
На старом рыцарском щите.

Он кажется такой резьбою,  
Покамест крылья распахнет  
И нас поманит за собою,  
Пересекая небосвод.

Птица спит, и птице снится  
Дальний, дальний перелет,  
И темница, и светлица,  
И холодный лед.

И зарницы-озорницы  
Пробегают взад-вперед —  
Будто перьями жар-птицы  
Устилают небосвод.

Быстро гаснут эти перья,  
И чернеет сразу мрак,  
Знаю, знаю, что доверье  
К русской сказке — не пустяк.

## ТАРУСА

Карьер известняка  
Районного значенья  
И светлая река  
Старинного теченья.

Здесь тени, чье родство  
С природой, хлебом, верой, —  
Живое существо,  
А вовсе не химера.

Не кладбище стихов,  
А кладезь животворный,

И — мимо берегов —  
Поток реки упорный.

Хранилище стиха,  
Предания и долга,  
В поэзии Ока  
Значительней, чем Волга.

Карьер известняка  
Районного значенья  
И светлая река  
Старинного теченья.



Нет, память не магнитофон,  
И не стереть на этой ленте  
Значение, и смысл, и тон  
Любого мига и момента.

И самый миг не будет стерт,  
А укреплен, как путь и опыт:

Быть может, грозовой аккорд,  
Быть может, только слабый шепот.

Услышанные вскользь слова  
И то, что видно случайно, —  
Все сохранила голова  
Предвестником для новой тайны.



Ощутил в душе и теле  
Первый раз за много лет  
Тишину после метели,  
Равномерный звездный свет.

Если б пожелали маги  
До конца творить добро,  
Принесли бы мне бумаги.  
Спички. Свечку. И перо.

## Игорь Шкляревский

### ПАРТИЗАНСКАЯ РОЩА

Грибная осень. Тишина  
звонящая, сухая.  
В траве — прозрачная до дна —  
криница ледяная.  
Перед окопами стою.  
Воронки — слева, справа.  
Здесь юность мертвую свою  
оплакивает Слава.  
Здесь ни фамилий, ни оград,  
лишь траурная хвоя.  
Так хоронила ты солдат,  
не украшая горя,

Так, без помпезных завитух  
с дешевой позолотой,  
я ощутил величья дух  
и все твои заботы.  
И вновь тебя боготворю  
под беспощадной синью  
за правду горькую твою,  
как черный хлеб с польнью.  
Пока мне этой правдой жить,  
пока дышать лесами,  
не разучусь тебя любить  
с открытыми глазами.

## ХОХОТ 48-го ГОДА

Булыжная улица, синяя даль.  
Подснежники в грязной руке у ребенка.  
И хохот! Колеса запрыгали звонко.  
На бочке верхом пролетел золотарь.  
У друга — базарная кличка «Петруша»,  
глаза — поскорее чего бы украсть.  
Попался! Орет, чтоб не вытрясли душу.  
От хохота хочется в лужу упасть...  
Был холод и голод. И маленький город  
лопатою ржавой в полях ковырял.

Но детство придумало хохот. А повод  
почти что на каждом шагу возникал.  
Кошунственный хохот — споткнулся  
прохожий.  
Сочувственный хохот — набили синяк.  
Презрительный хохот — купили галоши.  
Просительный хохот — дели четвертак...  
Но песня! Поют у Днепра инвалиды —  
из трех целиком одного не собрать.  
Им в шляпы капель отряхали рябины  
и маленький вор не жалел серебра...

◆ ◆ ◆  
За лесопилкой и болотом  
такая синь и пустота.  
И зубы золотом холодным  
горят у старцев изо рта.  
Сквозь склеротические скверы  
домой идут пенсионеры.  
Идут, смеются старики,  
тепло обуты и одеты.  
А страшный ветер у реки  
ревет и рвет из рук газеты.  
Но я — живой свидетель смеха

и даже счастья на лице.  
Два детства есть у человека —  
в начале жизни и в конце.  
По семь десятков за плечами.  
И все равно ни у кого  
в глазах не встретил я печали  
и грусти только оттого,  
что даль ясна, и холод яркий,  
и безразличный стылый блеск  
течет по синей циркулярке,  
а солнце падает за лес!

◆ ◆ ◆  
Спасибо тебе, Елена,  
за все, что было со мною.  
Душа улетит в небо,  
и тело станет землею.  
Но этот ожог рябины,  
и тонкий лед на стерне,  
и гул деревянной плотины  
ты все же оставила мне.  
И палой листвы забытье,  
и грустный туман у дороги  
оставила мне как тряпье  
в безрадостной той суматохе.  
Но, странное дело, Елена,  
и винная горечь стогов,  
и ярко-морозное небо,  
и лодки у черных дубов —  
все это осталось любовью,  
но только уже не к тебе,  
а к родине, к тихому полю,  
к рябине в седом декабре.

◆ ◆ ◆  
Ты хлюпаешь в город по грязи  
и рвешь паутину с ветвей,  
как будто последние связи  
теряешь с природой своей.  
Здесь егери звонко трубили,  
стрелки окружали овраг,  
и плетками воздух рубили,  
и зубры топтали собак.  
Давно горизонты раздались,  
душе синевою грозя,  
к любимым своим разбежались  
твои молодые друзья.  
Внезапно, разлукой пронзая,  
обдаст ледяная роса,  
и снова, как мачта косая,  
скрипит на обрыве сосна.  
И в этом пожаре осеннем,  
глотаая знобящий туман,  
ты лес покидаешь последним,  
как судно свое капитан.

◆ ◆ ◆  
Год 52-й  
Играет на трубе.  
Поет над головой  
в сиротской синеве.

Стена и двор пустой.  
Мелькнул осенний лист.  
В окне трубит отбой  
детдомовский горнист.

Так журавли трубят,  
когда в последний раз  
еще дубы горчат  
и бредит желтый вяз.

И мы летим во сне.  
Летим к себе домой  
в сиротской синеве  
над отчею землей.

## Степан Щипачев

### КРЫЛЬЯ

Мальчик поймал голубя  
и ради забавы  
сломал ему крылья.  
Проходила женщина.  
Она отняла голубя.  
Но ему уже не летать...  
Мальчик вырастет,  
проживет, наверное, долгую жизнь,  
станет отцом, состарится  
и, может, не вспомнит ни разу о том,  
что когда-то  
отнял у голубя небо.  
Кем он в жизни станет?  
Присмотритесь к нему потом!  
Есть крылья таланта,  
живой человеческой мысли,  
и эти крылья  
тоже можно сломать.

### СПИТ ЖЕНЩИНА

Лунная ночь.  
Над всем Белым морем  
лунная ночь.  
В рыбацком поселке спит женщина.  
Не очень молодая, но красивая, сильная.  
Разметалась на жесткой одинокой  
постели.  
Дверь не заперта.  
Там не принято запирать двери.  
Спит женщина.  
За окнами — ветер и море.  
Под утро проснулась.  
Почудилось —  
кто-то ищет дверную скобу.  
А это — ветер,  
только ветер...

## Нина Эскович

### ПАМЯТНИК В СТАРОЙ РУЗЕ

Живые  
вам  
навечно благодарны.

Издали заметен в Старой Рузе,  
в снегу по пояс, богатырь со знаменем,  
припущенным, темнее снега, каменным.

Снег на подходах, блеск. Великорусье.  
В обнимку с полем — домики селенья;  
спокойные, в два ока и три ока.  
Подзабывают радость избавленья...  
И чуть слышна, чуть памятна тревога.

Играет наста радостный мосток!

Но Витька, в толстый бабушкин платок  
увернутый, чуть крутит головой,  
уйдя по грудку в снег приполевой.

Мать вышла на крыльцо, блестя бидоном.  
Глаза прикрыла горсточкой, заслоном  
от медного пронзительного солнца  
и охнула.

Ой, женщина, не бойся.  
И погоди, не береги души.  
Живому Витьке валенки суши,

## ЗЕЛЕНАЯ РОЖЬ

Несут меня далёшенько  
охапкою ржаной.  
А ты мне:  
— Стой, Нилёшенька!  
Нилёша, будь со мной,

Играет сердце, гранится  
и тянется вослед!  
Но разница есть разница,  
На два десятка лет,

Ты вся еще молочная,  
что в росах зелена,  
а я — так обмолочена, —  
почти и нет меня,

Шаль облачную, младшая,  
накинешь как-нибудь...  
Как будто мать кормящая  
переменила грудь.

Доколе солнце — поверху  
и ветер — тиховой?  
Всё круче тени, посверки  
по зелени твоей,

От ветра ли, от века ли,  
боишься, — пропадешь...  
При мне же, что у зеркала,  
стоять не утаешь.

Смотришь,  
не бойся вечера.  
Добро бы и при нем  
быть крупным, и доверчивым,  
и собранным зерном,

Всему ты веришь истово,  
молоденкая рожь;  
под сводом неба чистого  
легко поклоны бьешь.

А мне страда измерила  
мой высший озолот.  
Чему ж бы я не верила,  
познавши обмолот!

Долга, узка, ровнёшенька,  
под утренний пробор,  
в зеленой ржи дороженька  
приманивала взор.

## МУРАТ И ВЕЧНОСТЬ

Да сколько же я не была в Смоленске?

Ах, вечность целую я не была в Смоленске.  
И до него опять ведь не доеду, —  
по теплomu прижизненному следу.

Можайск уже проследовали.

Вот —  
сто тридцать пятый.  
Здесь, в тени дубка,  
мне надо ждать совхозного гнедка.  
Отсюда с общей трассы поворот  
на Колочь пересошую.

Молчи!  
Она не пересохла. Бьют ключи.

— Но-но, Мурат! — поет возница наша,  
вдова Наташа.  
Меня везут в уваровский совхоз.

Рябинку, побледневшую от зноя,  
как сочетать с кутузовской зимою  
и с пленными, когда их жег мороз!

Краснил,  
синил,  
потом был милосерд.  
Не портил заострённых смертью черт.

— Но-но, родной! —  
Уже я верю свято,  
что был мороз, что это здесь когда-то  
пришлось неважно коннице Мюрата,  
да, коннице блестящего Мюрата.

Какая малость — века полтора!

И что мне стоит побывать в Смоленске!

— Но-но, Мурат! —  
Уваровка, жара...  
А по дворам, во всем придворном блеске,  
рябины развернули веера.

# П А Р О Д И И

---

## Юрий Левитанский

ВЫШЕЛ ЗАЙЧИК ПОГУЛЯТЬ  
СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...

*(Михаил Светлов)*

Не в «зилах» и не в новеньких «победах»,  
не думая, что станут в них стрелять,  
два зайчика на двух велосипедах  
отправились немножко погулять.

Но, по ошибке взятый на поруки,  
отъявленный мерзавец и бандит,  
охотник к ним протягивает руки  
и гнусными зубами шевелит.

Сейчас начнутся грозные события.  
Мой зайчик закачается в седле.  
Но чтоб не допускать кровопролития,  
живут мои герои на земле.

И если уж дойдет до столкновенья,  
я крови все равно не допущу:  
я встану посреди стихотворенья,  
охотника в лягушку превращу.

И вы не бойтесь, глупенькие зайки:  
я в случае чего вас воскрешу.  
Куплю вам в ГУМе трусики и майки  
и на свою жилплощадь пропишу.

Пускай горит на мордочках румянец!  
Охотника не бойтесь моего!  
Я пошутил, ведь он — вегетарьянец,  
мясная пища — гибель для него.

Мне вся его семья давно знакома.  
Он не имел оружия вовек.  
Он просто — заместитель управдома,  
вполне интеллигентный человек.

БАЛЛАДА О ЗАЙЦЕ РОУФЕ,  
ОХОТНИЧЬЕМ СЫНЕ БАГРАТЕ,  
ЧУРЕКЕ И ЧЕБУРЕКЕ

*(Фазиль Искандер)*

У злобы — свои законы,  
у чести свои права.  
Есть заяц, и есть охотник.  
Инжир, курага, айва.  
За рынком у старой хашной  
сошлись они, аккурат,  
заяц по имени Роуф  
и охотничий сын Баграт.  
Лил на ущелье месяц  
свой черный венозный свет.  
И сказал Баграт: — Нэнавижу! —  
и вскинул свой пистолет.  
И в хашной умолкли споры,  
когда он привстал в седле.  
Но пуля в стволе молчала.  
Молчала пуля в стволе.  
Она молчала, как рыба —  
навага, судак, филе.  
Все так же в ущелье месяц  
лил свой венозный свет,  
когда Роуф сказал Баграту:  
— Ну-ка, дай сюда пистолет! —  
Когда торжествует дружба,  
с дороги уходит злость.  
И бросил Баграт ему пистолет,  
как бросают собаке кость.  
Уже текла по горам заря,  
как течет виноградный сок,  
когда Роуф своєю рукой всадил  
пулю себе в висок...  
Да здравствует сила сильных!  
Пусть слабый не будет слаб!  
Да здравствует дух броженья,  
шашлык и люля-кебаб!  
Да здравствуют ритмы Киплинга,  
папахы, аллюр, абрек,  
фазаны и козлотуры,  
мангал, чебурек, чурек!

# П А Р О Д И И

---

## ПЕСЕНКА О ФАКИРЕ АБУ-ЗАКИРЕ

*(Новелла Матвеева)*

Где тритоны быют в тамтам,  
пребывая в трансе,  
где течет река Шампунь  
от Шампани вспять,  
ехал фокусник-чужак  
в старом дилижансе,  
ехал зайцем раз и два,  
три, четыре, пять.

Но однажды по пути  
из Афин в Марокко  
входит парень в дилижанс,  
хочет пострелять.  
— Предъявите ваш билет! —  
говорит он строго,—  
а не то я раз и два,  
три, четыре, пять!

Но факир Абу-Закир,  
он не из овечек.  
Никаким таким парням  
с ним не совладать.  
Он затенькал, как сверчок,  
прыгнул, как кузнечик,  
прыгнул раз и прыгнул два,  
три, четыре, пять.

Где течет лениво Ганг  
под удары гонга,  
парень гонится за ним,  
чтобы расстрелять.  
Ах, как много тысяч лет  
длится эта гонка,—  
может, год, а может, два,  
три, четыре, пять.

Я ПОМНЮ, ЗА ОКОШКОМ  
ДОЖДИК ЛИЛ...

*(Степан Щупачев)*

Я помню, за окошком дождик лил,  
когда я в зыбке слушал горестную повесть  
о том, как зайца в поле застрелил  
один охотник, потерявший совесть.

И я тогда подумал: зайца бить,  
хотя бы где — а все равно негоже.  
Ведь он еще, возможно, мог любить!  
А может быть, его любили тоже!

И может быть, как яблонька бела,  
в косыночке, надвинутой на брови,  
его на лавочке любимая ждала  
с букетиком шпината и моркови.

Но верю, верю, через толщу лет,  
свершив круговращение в природе,  
он явится к любимой на обед  
укропинкой, возросшей в огороде.

И в этот день, что будет радостно трубить  
над скромною семейною пирушкой,  
хотел бы я на том обеде быть  
горошинкой, салатинкой, петрушкой.

А может, я в моркови стал бы жить,  
опять волнуя душу и тревожа...  
Умейте же морковью дорожить:  
морковь — она с хорошей тыквой схожа.

# П А Р О Д И И

---

ПО УГОРЬЮ, ПО ЗАРЕЧЬЮ...

*(Александр Прокофьев)*

По угорью, по заречью,  
где течет река Оять,  
вышел дроля, вышел милый,  
вышел серый погулять.

Ой, как шел по луговине  
мой залетка дорогой,  
звезданул его охотник  
да по пузу кочергой.

Ох и круто, ох и люто,  
поначалу да сперва  
покатилась разудала  
буйна сера голова.

Ой калина, ой малина,  
краснотал да чернотал.  
У плетня лежит залетка,  
ручки-ножки раскидал.

Ох и круто, ох и люто,  
елки-палки лес густой,  
не гуляет мой гулена,  
пропадает милый мой.

В нерасстеганном кафтане  
уж на печь ему не влезть,  
по Ояти не гуляти,  
каши масляной не есть.

Ой поминки, ой веселье —  
как тут было не сплясать.  
В три огня сварили зелье,  
стали дролю поминать.

Апосля того первбого,  
ох и пятого того  
я сказал слова-находки  
про залетку моего.

Ничего, мол, мне не надо,  
был бы дролечка со мной,  
был бы дролечка в сметане,  
мой залетка заливной!

## ЯР-ПАР

*Из книги  
«Сыр-бор»  
(Виктор Боков)*

Лето — рута,  
лето — ель,  
нетто-брутто,  
карамель.

Клюква, брюква,  
благодать,  
есть где зайцу  
погулять.

И охотник  
тоже рад —  
он для зайца  
друг и брат.

Пиво, раки  
и блины,  
все друг в друга  
влюблены.

Речка, гречка,  
берега,  
гуси-гуси,  
га-га-га.

Лето — чудо,  
лето — рай,  
все, что хочешь,  
выбирай!



**а**нкета **Д**ня  
**П**оэзии

«Что вы думаете о народности поэзии, о возросшем интересе к национальным и классическим традициям в современной поэзии и каковы, на ваш взгляд, противоречия этого процесса!»

Нам отвечают: Л. Аннинский, В. Гусев, Е. Ермилова, В. Кожин, Д. Ковалев, С. Лесневский, А. Михайлов, И. Мотяшов, Е. Осетров, Д. Стариков, А. Тарковский, А. Яшин.



## Лев Аннинский

Думаю, что возросший интерес к народным истокам поэзии, к ее национальным корням и давним традициям надо объяснить от противного. Вся эта тяга к корням и истокам есть неизбежная и долгожданная реакция на безличную модернизацию поэзии, на ее волевое бездушие, на ее духовную неприкаянность, на ее рассудочную расщепленность и модную «космическую» экзальтацию. Тяга к корням и простоте, к добру и дому — это попытка преодолеть то безличное раздражение, которое испытывает чужой среди чужих, — одним словом, это попытка уйти от стандартов и стереотипов.

К сожалению, это движение, вызванное духовными запросами, вынуждено пользоваться давней колеей, укатанной не луч-

шими эпигонами славянофильства довольно поздней эпохи. Это все очень печально: бегство на лоно и даже «борьба» самых отважных опрошенцев с современной архитектурой. Печально, потому что такого рода «сложности и противоречия» в российской традиции не новость, и соблазн решить духовные проблемы социально-географическим путем испытывался не раз и, так сказать, в обе стороны... с одним и тем же результатом: новой безличной доктриной. Переезжая в избу и переодеваясь, все равно ведь не избавляешься от жажды личного достоинства.

Что делать? По мере сил освобождать эту жажду от ее превратных форм. Ибо в основе — святое желание человека найти точку опоры на этой земле.

## Владимир Гусев

### ПОНЯТИЯ НЕ СТАТИЧНЫ

Народность — важная категория, а для русской литературы во все ее времена — важнейшая. Вопрос не в том, народность или не народность, а в том, как понимать самую народность. Сто с лишним лет назад было сказано, что народность — не в описании сарафана, а в выражении духа народа. Но что делать, если многие и до сей поры требуют сарафана. И это не так уж глупо и безобидно — это уводит в сторону от реальных проблем деревни и вообще — народной жизни...

Народность — понятие не статическое, а динамическое. Неизменна сама категория народности, но меняется ее содержание —

оно конкретно и исторично. Если народность, грубо говоря, лишь в крестьянских корнях и песенном фольклоре — то «как быть» с Ахматовой, Заболоцким, Мартыновым и еще десятком поэтов пятидесятых — шестидесятых... Не погибнет ли с голоду и сама «народность», лишившись этих имен?..

В прошлом веке кроме народника Михайловского и славянофила Аксакова были еще Толстой, Достоевский и Чехов. Они-то, прежде всего, и выражали *дух* народа, а не только временные политические страсти. Они-то и двигали «ввысь и вперед» искусство России.

## Елена Ермилова

Все струны порвались, но звук еще дрожит,  
И жертвенник погас, но дым еще струится...

Так писал Апухтин, один из последних «классиков» русской поэзии. Кажется, никогда еще столь явственно и настойчиво не касался нашего слуха этот далекий звук. Русский стих XIX века (как и русская куль-

тура XIX века в целом) снова становится для наших поэтов критерием и мерой ценностей.

Но русский классический стих как традиция закрыт для нас многими пластами. Это, во-первых, поэзия «безвременья», поэзия конца века, впитавшая все стили пред-

шествующей поэзии и не создавшая нового. Это, во-вторых, символисты, сохранившие внешнюю оболочку классического стиха, но размывшие его изнутри. Это, наконец, наша поэзия двадцатых годов — спор с традицией.

Живого чувства традиции у иных наших поэтов почти нет. В лучшем случае — это бережное, любовное отношение, с оттенком вины, с признанием животворной исцеляющей силы. Чаще — выхваченные из наследия сгустки, осколки, отвердевшие формулы. «Высокая» архаическая речь, ограниченная

разговорно-бытовым контекстом, — одна из распространеннейших форм бытования традиции в нашей поэзии.

Именно от этих двух встречных линий — острого интереса к традиции и отсутствия у иных поэтов кровной связи с ней — рождается то особое явление в поэзии, которое принято называть стилизацией.

Русский стих — не «наследие», но одна из форм нашего восприятия мира, наше собственное переживание жизни.

## Вадим Кожинов

Несколько слов о современной поэзии, непосредственно связанной с народно-национальной традицией, с устным творчеством народа.

У Евгения Боратынского есть удивительные стихи:

Старательно мы наблюдаем свет,  
Старательно людей мы наблюдаем  
И чудеса постигнуть уповаем:  
Какой же плод науки долгих лет?  
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?  
Что, наконец, поймет надменный ум  
На высоте всех опытов и дум,  
Что? точный смысл народной поговорки.

Поэт, безусловно, имеет в виду не поговорку, напечатанную в этнографическом сборнике (в 1828 году, когда были написаны эти стихи, таких сборников и не было), а поговорку, звучащую из уст человека в конкретной житейской ситуации. В этом случае удачно сказанная поговорка как бы вбирает в себя весь богатый и сложный смысл данной жизни и личность произносящего ее человека. И поговорка оказывается чем-то большим, нежели са-

мые значительные философские афоризмы, бытие которых заключено в рамках книги, вырвано из реальной жизненной почвы с ее неисчерпаемым содержанием.

Между тем многие современные поэты, стремящиеся творить в русле народного мироощущения и речи, видят всю свою задачу в том, чтобы создать в стихе нечто подобное поговорке (и — шире — устной народной поэзии вообще). Они словно забывают, что стихи должны жить без них на равнодушной книжной странице. И что в стихи нужно вложить живую жизнь и самих себя, свое поведение. Только тогда они могут обрести глубокий и богатый смысл. А иначе в стихах есть лишь мастерство обработки народного слова — более или менее высокое, но равно бесплодное — и, с другой стороны, самые общие, лишенные поэтической глубины и силы мысли о жизни народа.

В заключение назову двух поэтов, к которым, на мой взгляд, все это не относится, которые плодотворно развивают народно-национальные традиции. Это два Николая — Тряпкин и Рубцов.

## Дмитрий Ковалев

Очень чутка поэзия к течению жизни, к движениям ее атмосферных масс, никогда не зависящих от легких дуновений. И вот где-то здесь, по-моему, в сердцевине всего этого, кроется двигательная сила народных тради-

ций поэзии, ее национального своеобразия, которое так едино с народностью, что их и разделить немислимо, не разрушив, не повредив живой ткани. И поскольку у каждого народа свое, неповторимое во времени, а че-

ловеческое присуще всем человекам, составляющим всякий народ, то именно в неповторимом и чувствуют люди больше всего общее. И впрямь — интересно ли мне читать французского поэта, в котором я не почувствую француза, с его тонкой остроумностью, и не только: именно у него мне особенно приятно, в нем самом находить и себя и свое — и это есть общечеловечное. Революционность в самой крови — ну как она может быть не родной человеку, в стране которого революция ленинской, победившей стала?.. Так вот о традициях: дико, но факт — уже даже привыкли и механически произносим: «Ах; это традиционно» — в смысле не ново, просто бездарно, если называть вещи своими именами. Даже бранным словом стало это «традиционно». Куда уж!.. И якобы это антиподы — традиционность и новаторство; простите, если некоторые несть числа «новаторы» приняли за своего противника такого сорта «традиционность», то и сами они, видать, не далеко ушли: по воину и противник. Между тем традиционными спокон веку становились только те поэты, которые были изнутри, из корня новаторами. Так и во всем. Неспроста же: суворовские традиции, наконец, ленинские, революционные, пушкинские, некрасовские, блоковские, есенинские, маяковские... Кто их продолжал — не стали традиционными. Как не стали и те, кто во что бы то ни стало расшатывал все, что они укрепляли, и во что бы то ни стало делал все непохоже, даже нарочито наоборот. У тех обычно получалось наоборот с известностью и, наконец, со славой. Они шумели в юности, которая, жаль, скоро проходит, а вместе с нею и шум. Сколько их уже объявлялось гениями, даже на мировой арене! Сколько уже на моей памяти объявленных новейшими знаменитостями на глазах перестали быть таковыми. Остаются вечно молодыми старые мастера. Старое, но грозное оружие!..

И уже представить себя без них невозможно. Вместе с тобою росло в тебе их сознание, и тобою, может, в чем-то обогащалось оно. И не только слава, а и известность к ним пришла не вдруг, не по молодости чаще всего, а ко многим после смерти. И на трудной их жизни многим теперь легко живется. Да... Но

я ушел от главного. А главное — это их народность. Как мы ее разумеем, хоть употребим-то это словечко куда как охотно? Не помню случая, чтобы в книге, изданной до революции, я встретил что-нибудь плоское и пошлое, приписываемое фольклору. А уж народ, родивший эти богатства, был вроде бы темнее. Теперь читаю: «Геотектоника — не штука, геотектоника — наука», — и это приписывается народу.

Поэт Кольцов был в лучшем смысле народным. А вот Тютчев вроде бы и совсем другой, по речи, по понятиям. Но ведь стал же с годами не менее народным, если судить по тому, как черпает из него народ духовную высоту. Видимо, все настоящее, вырастающее из осмысления своего народа и его будущего (да и прошлого, тем более настоящего, в котором всё — и бывшее и то, что еще будет), не может не быть народным. Дело ведь не только в его явной языковой окраске и оболочке. Но у языка, на котором думает человек труда и ума, только и учиться. И это так надо, так необходимо. Учиться у него, а не учить его, каким ему быть. Не предписывать ему, не навязывать желаемое кому-то то «окультуривание-осовременивание», которое тут же становится не современным, а культура, кстати, никогда не являлась произвольной, временщицкой...

И вот становятся ее достояниями Есенин, Павел Васильев, Борис Корнилов, Михаил Светлов, Асеев и Тихонов, Исаковский и Твардовский, Заболоцкий и Луговской, Василий Федоров и Смеляков, и еще есть кого назвать — все традиционные, а каждый — другой, новый, и если все, что уносит время, от нашей поэзии отслоится — какая она будет традиционно-новаторская — и какой нужен ей талантливый, высокоодаренный и культурный читатель, какой нужен уровень... Далекое не все поэты устроят людей этого уровня. И народность, вечно новая, как сознание, как духовный мир, будет прибывать, как весенняя река, вбирая в себя ручьи и речки языкового половодья нового времени, его дыхание, его силу и весенность. И все народнее будет становиться книжное по мере увеличения общения с книгой всех без исключения.

## Станислав Лесневский

«Есть божий суд», — сказал поэт, но верил он не в бога, а в справедливость, в возмездие. «Без божества, без вдохновенья» невозможны ни любовь, ни искусство, а сегодня так сильна жажда высокого, непреложного, подлинного. Вовсе не церковного, религиозного бога, а святое, возвышенное, нерушимое — Родину, Народ, Человека — имел в виду Горький, когда обличал дельцов от литературы: «Без веры во что-либо, без бога и совести, без определенного взгляда на дело жизни, — им все равно, о чем ни писать...»

Кажется, нет такой семьи в России, в которой не читали бы Сергея Есенина. Войдите в любой дом и спросите, за что любят Есенина. За доброту, за совестливость, за прон-

зительную песенность или за то, что он родной, русский?.. Невозможно разорвать все это, не разорвав сердце есенинской поэзии.

«Стихи, корнями вросшие в русское сердце», стихи, которые, по слову Блока, «не вырвешь иначе, как с кровью», — это ли не проявление народности в поэзии? Интересно, что к таким стихам Блок относил и песню «Отречемся от старого мира...». Песню эту написал Петр Лаврович Лавров, автор известных в свое время «Исторических писем», член I Интернационала, человек, который прислал послание «От русских социалистов на могилу Карла Маркса»...

Всем сказанным хотелось лишь напомнить: кто предаёт хоть один из источников народного самосознания, тот умаляет и народность.

## Александр Михайлов

Возрастающий интерес к национальным традициям в поэзии объясняется двумя причинами: во-первых, стремлением к устойчивым формам эстетических ценностей, добытых опытом многих десятилетий и даже столетий; во-вторых, реакцией на претенциозные «новации», не подкрепленные талантом.

Корень этого явления — в нашей действительности, в тенденции к стабилизации форм общественного бытия, которая явилась естественной реакцией на частые, не вызванные целесообразностью политические и экономические реформы недавнего времени, компрометировавшие саму идею реформ.

Нечто близкое происходит и в поэзии. Читателю надоели формалистические эксперименты, за которыми не стоит живой интерес к познанию жизни, к познанию человека, читатель начинает самостоятельно отличать истинное новаторство от попыток прослыть новатором, не имея на это оснований.

Интерес к национальным традициям выражается сегодня в обращении к классическим формам стиха. Выразительные возможности традиционного стиха поистине неисчерпаемы, и, наряду с поисками новой выразительности, процесс «эстетического оснащения» поэзии развивается нормально. Противоречие, мне кажется, заключено в другом, в стремлении некоторых поэтов «прослыть» народными, связывая народность с жизнью деревни, природы, с неприятием города.

У нас есть поэты, которые и сегодня органически связаны с деревней, с сельской темой, я назвал бы Николая Тряпкина, Николая Рубцова, Сергея Викулова. Но вместе с тем некоторые «городские» поэты рядятся в армяк и делают вид, что страшно тяготеют цивилизацией. Это уже некая «мода», оборотная сторона медали, подделка.

Впрочем, истинной народности она не нанесет ущерба, ибо слишком выдает себя своей ненастоящостью.

## Игорь Мотяшов

Всегда были — и сегодня есть — поэты, претендующие на преимущественное право называться народными. Они уснащают свою речь древними и диалектными словами, поддельваются под разухабистые ритмы частушек и величавость былинного лада, громко заявляют о своей любви к ржаному полю и о принадлежности — непременно родственной — к непосредственным производителям материальных благ. И еще они любят кокетливо бравировать этакой духовной девственностью, своей вроде бы непричастностью к достоянию мировой культуры, в том числе и отечественной, если последняя отстоит от них ближе чем на расстоянии двух, а то и трех столетий.

Я убежден, что народность нельзя декларировать. Поэзия, кричащая о своей народности, столь же далека от нее, как ряженный в поддевку барин от мужика. Народность — свойство внутреннее, органичное. Оно — выражение чувства общенационального, разумеется, в его исторически прогрессивном устремлении.

Не думаю, что в сегодняшней поэзии народности больше, чем было ее, скажем, в годы Великой Отечественной войны. Современного Теркина все нет. Да это и понятно: такой

## Евгений Осетров

О народности искусства мы много пишем и говорим, но рассуждения наши часто отдают схоластикой. Повторив всем известные слова Белинского о народности, мы непременно начинаем искать тождеств понятию «народность» и тем самым растворяем это понятие в других эстетических категориях. Отсюда рождаются доктринерство, неясность и путаница. Недавно в одной диссертации я прочитал, что в настоящее время есть семнадцать определений народности в литературе, и диссертант с видом знатока предлагает свое определение — восемнадцатое. Не пора ли нашей эстетической мысли отказаться от схоластических словопрений и перейти к живому опыту искусства?

В поэзии народность особенно очевидна. Никто не будет спорить, что лучшие творения Некрасова глубоко народны. И по содержанию и по форме. По картинам жизни, вос-

подъем высоких общенациональных чувств — самоотверженного патриотизма, священной ненависти к врагу, осознанного отношения к завоеваниям революции — едва ли возможен в мирное время. Народность поэзии наших дней я вижу в характерном для нее ощущении благодарности и долга перед теми, чьими жизнями оплачена наша возможность дышать, трудиться, писать стихи и спорить о них. В ощущении истории страны, ее языка, красоты и неповторимости ее природы. И в тревожном раздумье о дисгармоничности мира, о том, что мешает человеческому счастью. В стихах уже многих сравнительно молодых поэтов нет и следа модернистских поисков «формы». Поэтам есть что сказать, и они озабочены одним: донести это «что» до читателя. Поэтический рассказ о событиях в их сборниках явно уступает место рассказу о мыслях и чувствах поэта. И в этой преимущественной медитативности современной лирики мне также видится ее народность. Ибо сам процесс осмысления действительности и места человека в ней перестал быть прерогативой узкого круга интеллектуалов и все более становится общенациональным достоянием.

производимым Некрасовым, по изобразительным средствам поэзия автора «Кому на Руси жить хорошо» неразрывно связана со всей стихией народной лирики и народного эпоса. Как великий народный художник Некрасов входит и в историю русской литературы, и в живую поэзию, что навсегда поселилась в многомиллионных читательских сердцах.

Я сильно сомневаюсь, чтобы можно было говорить о народности стихов Надсона, хотя по многим внешним признакам (ведь тоже прогрессивный!) он близок к Некрасову. Близок, но не последователен, учеником Некрасова его не назовешь. Надсон — типичный эпигон. А ведь было время, когда в печати Надсона ставили выше Некрасова, называли единственным поэтом молодого поколения, пророчили жизнь в веках. Сейчас нетрудно обнаружить, что надсоновская поэзия — это

стихи из стихов. На всем лежит печать вторичности. Вторично содержание, банальна лексика. Стихи рождены не жизнью, а либеральной словесностью, бесконечно далекой от реальной действительности. Тогда это пышно именовалось «возвышенным надсоновским идеализмом». Это были стихи для гимназистов, но поэзией для народа лирику Надсона никак не назовешь. Представьте себе юношескую вечеринку, где после музицирования и танцев начинается мелодекламация. Легко можно догадаться, какое впечатление производил молодой человек, восклицавший на полную силу своих легких надсоновские строки: «Люди — братья! Когда же окончится бой у подножья престола Ваала и блеснет в небесах над усталой землей золотая заря идеала?»

Пока речь идет о временах более или менее отдаленных, непримиримых споров почти не возникает. Куда сложнее обстоит дело с поэзией и народностью в нашем бурном двадцатом столетии. Не буду касаться совершенно у нас не изученного вопроса о поэтических школах начала века. Много еще остается не прочитанным глазами современности, на многом лежит печать инерции оценок, которые давались в пылу литературных полемик. Скажу о наших днях.

Несмотря на обилие пишущих, поэтов,

кровно связанных с народной традицией, у нас не так-то уж и много. Как совершенно народных поэтов я рассматриваю Александра Твардовского, Михаила Исаковского и Николая Рыленкова. Александр Твардовский создал эпос русской народной жизни двадцатого столетия. Михаил Исаковский — это современный русский лирический характер в поэзии. Стихи Николая Рыленкова — воссоздание русского поэтического пейзажа, вне которого не существует народной жизни. Названные поэты всеми корнями связаны с устной крестьянской поэзией, русской классической поэзией. Они вошли в литературу вооруженными интеллектуальным опытом человека двадцатого столетия, его социальными и общественными взглядами. Другая крупная народная поэтическая школа в современной русской литературе тесно связана с индустриальным трудом. Назову виднейших представителей этой школы — Борис Ручьев и Ярослав Смеляков, воспевшие в стихах страну заводскую, страну колоссальных городов и рабочих поселков.

Иных народных поэтических школ в современной русской литературе не знаю. Есть у нас, конечно, и интеллектуалы, и переводчики, и историки, и публицисты, и песенники... Но до названных мной имен им далеко, как Надсону до Некрасова.

## Д. Стариков

Передо мной три стихотворения трех советских поэтов. Посвящены они в общем одной и той же теме, и на вопрос, заданный редколлегией «Дня поэзии», я не нахожу сейчас ответа более разительного, чем эти три стихотворения, соотнесенные друг с другом.

В первом поэт с начального стиха заявляет свою внешнюю непричастность сельскому укладу жизни и быта. В соответствии с «заданием» всего стихотворения его «лирический герой» неуклюже и отчужденно называет поначалу избу, в которой заночевал, «деревянным домом»; слово «изба» скажется им лишь потом, лишь когда мы уже узнаем и почувствуем в герое стихотворения пришельца на село.

Мне, городскому жителю, чудно  
проснуться ночью в деревянном доме

И, как речам совсем иного мира,  
внимать тревожным шорохам в ночи.

«Ветер, шарящий в соломе», «жесткое рядом» под рукой, «мерцающий в печи» огонь и самая эта печь, «белеющая сиром», — все странно, все непривычно здесь горожанину, и ему скорее *пришлось* оказаться в этой обстановке, нежели *довелось*.

(Мы, между прочим, далеко не все и не всегда чувствуем подобные различия в словах, какими повседневно пользуемся, — это тоже к вопросу о народности...)

Но что мне удивительней всего —  
вдруг ощутить неясно меж собою

и этой незнакомою избою  
забытое, щемящее родство.  
Как будто бы какая-то беда  
меня гнетет — и мнится виновато,  
что я здесь жил и чувствовал когда-то,  
запомнил только вот — когда...

Вот и все стихотворение, где столь же прямо, искренне и цельно, сколь, впрочем, общо, выразилось одно из самых характерных настроений и устремлений сегодняшней нашей поэзии (да и прозы). И, увы, заветный смысл многих и многих сочинений, читаемых нами в последнее время, вполне укладывается в такой вот шестнадцатистрочный монолог. Не пора ли двигаться дальше?..

Второе стихотворение сложнее и драматичнее. Его «лирическому герою» не чудно и не удивительно в избе. Напротив!

И правда, правда, все постыло,  
Куда ни глянь — такая гнусь.  
.....  
Слепые окна, дверь глухая,  
Косяк с наугленным крестом,  
Седых икон седая стая,  
И грязный стол, и под столом  
Наседка с яйцами в корзине,  
И печь, и темный дух..  
.....  
Ведь каждый час и каждый день:  
Лохань, наседка, ругань в горле,  
Худая крыша да плетень...

Так может сказать конечно же не гость, не постоялец, а хозяин избы, тот, кто в начале стихотворения, после вступительной строфы, прямо говорит нам, что и ныне он здесь «живет и чувствует» и запомнить хотел бы, да не может:

...Себя давно мы разлюбили,  
И каждый ржавый в хате гвоздь,  
Который мы когда-то вбили,  
В нас ныне вызывает злость.

Но стихотворение это, называющееся «Постылая», не было бы стихотворением, если б свелось к тем строкам, какие я пока привел. Вот его начало:

С кровавой болью замечаю:  
Не любим песен полевых.  
Зачем же я родному краю  
Мой новый сочиняю стих?  
Себя давно мы разлюбили...

И вот его конец:

...Худая крыша да плетень.  
Но песни, песни полевые,  
От них куда же нам уйти,  
Когда сермяжная Россия  
На каждом радостном пути?

Поля, ржаные сны и были,  
Лесная темь, ржаная сыть,  
Себя давно мы разлюбили,  
Но вас не можем разлюбить!

Мысль этого стихотворения, думаю, столь же ясна, как и первого, но насколько же она ее перекрывает, насколько богаче и уже потому плодотворнее! Возможно, задумай автор первого стихотворения сюжет, разработанный во втором, он выразил бы эту мысль не хуже, — не о том речь. Из переживаемого героем первого стихотворения «забытого, щемящего родства», из той «как будто бы какой-то беды», которая его «гнетет», особенно же из «виноватости», с какой ему «мнится», что он «здесь жил и чувствовал когда-то», вряд ли с обязательностью *живого* может родиться то соединение и противоборство любви и «злости», без которого нет ни истинного движения вперед, ни подлинного наследования ценностей прошлого.

...Себя давно мы разлюбили,  
Но вас не можем разлюбить.

Герой первого стихотворения в своей любви — заодно с героем второго: он открыл для себя право и возможность полюбить их — «песни полевые», «поля, ржаные сны и были, лесную темь, ржаную сыть». Но эта любовь, это чувство родства обращены у него пока лишь в прошлое, обретены в забытом, в прежде незнакомом, не прожитом и не пережитом «каждый час и каждый день», и я не знаю, способен ли он «разлюбить» такого себя, может ли ему опостылеть то, что «постыло» в этой повседневности.

Третье стихотворение, названное «Изба», к сожалению, дает на этот вопрос ответ печальный для литературы и для жизни.

Герой его с первой строфы уверяет нас, что изба, как только она его «впустила ночью поздней», «сразу стала так близка, как та, где по полу я ползал».

Я лег под образом в углу,  
как бы в моем углу извечном,  
на шатком щелистом полу,  
мне до шершавинки известном.  
Я здесь был свой, до боли свой...

Может, и ползал. Но уж наверняка это было давно, почти так же «когда-то», как в такой же избе «жил и чувствовал» герой первого стихотворения, — иначе не было бы здесь исходной темы узнавания и исходного мотива «свойства». Тот запомнил, когда это

было, этот помнит, — существенная разница в ином: тот честен перед самим собой, этот же проскакивает мимо собственных действительных ощущений, отмахивается, отворачивается от них и спешит, спешит чувствовать, подстегивает свои чувства, невольно впадая в экзальтацию, в чувствительность. Ему мало «вдруг ощутить неясно меж собою и этой незнакомою избою забытое, щемящее родство», ему некогда, ему ничто не «мнится», все ясно, все «до шершавинки» известно.

«Я здесь был свой, до боли свой», — божится он под образом, но эта его «боль» — чувствуется? — совсем не та, какую испытывает герой второго стихотворения, уже хотя бы потому, что беспредметна. Хозяину «избы» многое в ней «постыло». Гость наигрывает любовь ко всему в ней — и с неизбежностью переигрывает:

Я здесь был свой, до боли свой,  
и, возвышая, очищая,  
здесь пахло рыбою, махрой,  
детьми, котятками и щами.

## Арсений Тарковский

Пушкин писал: «...мудрено отъять у Шекспира в его Отелло, Гамлете, Мера за меру и проч. — достоинства большой народности». И в другом месте: «Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что изъясняются по-русски употребляют русские выражения».

Народность — понятие более разветвленное и менее определенное, чем нам кажется. Кроме того, оно меняется со временем.

В склонности пользоваться не общелитературным словарем можно усмотреть и черты хомяковского барства, и пренебрежительное недовольство современным русским литературным языком. «Хождение в народ» у нас понимали как «снихождение к народу свесока». Великий русский литературный язык отнюдь не гомункулус, он развивался вполне естественно, и — в большей или меньшей мере — включает в себя элементы всех мыслимых русских словарей — местных, профес-

Гость (то бишь «до боли свой») укладывается спать, любит детей, сгрудившимися на печи, слушает, как «ходики историю влачили», как за перегородкой равномерно хлюпала вода в лохани (хозяйка принялась за стирку). И размышляет: стирка идет «под всех страстей круговорот, под мировых событий рокот...».

И не один втирался хлюст  
в доверье к вечности, кривляясь,  
но только это «хлюп да хлюп»  
извечным, в сущности, являлось.

Вот так. «Возвышение» и «очищение» идет здесь за чужой счет; любовь здесь всеобъемлющая, но крайне жестокая: ради своего будущего герой отказывает в будущем другим. Они нужны ему лишь такими, какими они себе постыли.

Теперь не помешает нашим размышлениям и библиографическая справка. Первое стихотворение написано Игорем Волгиным («Новый мир», 1967, № 12), второе — Петром Орешниным (1923), автор третьего — Евгений Евтушенко («Знамя», 1965, № 1).

сиональных и т. п., поскольку эти элементы становятся общенародными.

Понятие нашего национального своеобразия включает в себя исключительную способность живого, незатрудненного усвоения не только иноязычных словесных корней, но и инородных поэтических миров, например Байрона: в прошлом веке он оказался нужнее у нас, чем у себя на родине.

Народность поэзии есть не только воплощение в ней народных черт, но и заложенное в ней свойство становиться необходимо нужной своему народу. Блок некогда хаживал в декадентах, теперь он — поэт народный. Говорить теперь, во второй половине XX века, о национальных традициях русской поэзии более чем трудно. Традиции создавались всеми нашими большими поэтами, а их было очень много. И хотя есть в их традициях то, что роднит их (например, демократизм), традиции эти при внимательном рассмотрении оказываются противоречивыми. Вообще же мне кажется, что школу — носительницу тра-

диции — создают не гении, а таланты. Где ученики Пушкина, Толстого, Достоевского? Понятие традиционности, вероятно из-за того, что миры Пушкина, Блока, Боратынского, Маяковского в рамки традиции не лезут, у нас прочно закреплено только за ямбом и хореем и точной рифмой. Но и эта прописка теряет смысл, когда мы обращаем внимание на разнообразие функций стихотворного размера или созвучия. На фоне «свободного стиха» ямб с хореем и точная рифма могут оказаться новацией. Так называемые «традиционные размеры» появились в России еще во времена Тредиаковского, существуют третье столетие и просуществоуют еще невесть

сколько времени. Только непонимание и незнание могут приписывать ямбу Ломоносова, Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского традиционность. В любом искусстве и мнимую «традиционность» следует изучать не в отвлечении, а во взаимодействии.

Противоречия процесса развития нашей поэзии, как и всегда, состоят в борьбе противоречий поэзии подлинной (обладающей свойствами народности) и поэзии поддельной. Но судить о народности, о подлинности искусства нам не дано (потому-то мы и сводим наши оценки на уровень «нравится — не нравится»), это дело будущего читателя, дело истории.

## ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

*Вместо ответа на анкету о народности поэзии,  
о национальных и классических традициях ее*

*Дорогие друзья!*

*Завтра мне предстоит операция. Насколько я понимаю — трудная. Делать ее будет «Сам БЛОХИН», директор института, в котором я сейчас нахожусь, академик. Конечно, я рассчитываю жить и работать вместе с вами еще долго, но это не исключает особой обостренности сегодняшних моих чувств и мыслей о нашем общем деле, что, возможно, скажется и на ответе, потому прошу заранее извинить за всякие перехлесты.*

*Так вот насчет народности и традиций в поэзии. Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправоммерно много тратим времени на ненужные хлопоты (на всяческие якобы теоретические изыскания и разговоры о сущности поэзии, путях ее развития, о традициях и народности), когда нужно просто писать. Писать, у кого пишется. Писать, пока пишется. Писать, пока хочется, пока тянет к столу. Писать и писать, а там... видно будет, что чего стоит, кто чего сможет достичь. Разные же теоретические сочинения и выкладки пускай берет на себя кто-то другой, из тех, кто, вероятно, умнее нас. А дело художника сидеть и трудом своим, постоянной творческой напряженностью, сосредоточенностью и прилежанием расплачиваться за великое счастье жить на земле.*

*Много времени и сил тратим мы еще на разные удовольствия, на чепуху, между тем как истинное удовольствие писатель может найти только в работе, за столом, за бумагой.*

*Трудно представить себе что-либо более печальное, чем подведение жизненных итогов человеком, который вдруг осознает, что он не сделал и сотой, и тысячной доли из того, что ему было положено сделать. Думать об этом необходимо с первых шагов литературной жизни. К сожалению, понимание этого к большинству из нашего брата приходит слишком поздно, когда уже разболтанность, тяга к разного рода утехам, к «клубному шмыганию» берет верх над трудолюбием, над творческой страстью.*

*Любой трудолюбивый в литературе человек даже с небольшими сравнительно способностями может достичь очень многого, и в конце пути ему не будет стыдно оглядываться на пройденное. «Работа ума прибавляет!» — говорится в народе. Писать надо, друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так писать, как можно полнее. Высказывать себя, свое представление о жизни, свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее, — правдивее настолько, насколько позволяют собственный характер и уважение к своему человеческому достоинству. Лишь в этом случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее великим традициям. Только такая работа будет и партийной и народной. А «теоретизирование» на эту тему — не наше дело, не стоит на него тратить время и силы.*

*Ваш Александр ЯШИН*

*24 апреля 1968 г.*

З

**К**ритика

**В**оспоминания

**П**убликации

---



### «СЛОВО — ПОЛКОВОДЕЦ ЧЕЛОВЕЧЬЕЙ СИЛЫ»

Этот год проходит в нашей литературной жизни под знаком столетия Горького. И еще мы отмечаем другую знаменательную дату — семидесятипятiletие со дня рождения Маяковского. Вклад каждого из этих писателей в новую русскую литературу велик и значителен, их художественный мир обширен, разнообразен и самостоятелен.

Горький пребывал, если можно сказать так, в состоянии некоей беспокойной одержимости — открывателя талантов и воспитателя кадров для литературы нового мира. В числе его «находок» по праву на первом месте — Маяковский, этого никто не может оспаривать.

Горький сумел выделить Маяковского среди футуристов. «В них что-то есть» — эта знаменитая фраза вскоре была им расшифрована в смысле: у них *кто-то* есть. Этим «кто-то» и был Маяковский. Идею Горького о гордом человеке Маяковский открыл для себя, как свою, в ранних поэмах. Ныне в ретроспекции нашей литературы Маяковский и Горький стоят рядом.

Явно и наглядно несходство их творческих путей и многих эстетических принципов. Но в перспективе XX века это «взаимоотталкивание» первого прозаика пролетарской революции и ее первого поэта, можно думать, пошло на пользу революционной культуре, обозначило широту, размах великого искусства революции. Разными путями шли эти художники, но сущность их дела в искусстве XX века одна, это явления одного социального корня, вершины одного художественного направления — искусства социалистического реализма.

Соединение таких двух заглавных имен советской литературы, как Горький и Маяковский, показывает просторы художественной оригинальности в той новой общественной ассоциации, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех.

К сожалению, общность их дела в искусстве не все понимают, а иные настойчиво пытаются их противопоставить.

А между тем, в силу их действительно удивительного своеобразия, каждого из этих художников можно лучше и глубже понять че-

рез другого. Есть соприкосновение между Маяковским и Горьким в пафосе конкретного, в использовании ими факта, документа. Для каждого из них — прозаика и поэта — опора на факты имела свой смысл, по-разному питала их творчество, но можно сказать, что через факты, от самой действительности шел «единый музыкальный напор», — так говорил о сопоставлении художником фактов «из всех областей жизни» Александр Блок.

Если мы, следуя Пушкину, хотим судить писателя по законам, им самим над собою признанным, то нельзя забывать и высшей власти над ним — революционного правосознания эпохи. И мы видим, как в новаторстве Маяковского и Горького общими чертами запечатлелась сама история.

Мужества требовала революционная эпоха от своих художников. Еще в своей ранней поэме «Облако в штанах» Маяковский называл себя «апостолом» революции, он обращался к современникам с призывом — «чтоб от упивания сюсюканием расслабленных каждый из вас перешел к гордости и силе». После Октября он продолжил в повседневной работе русскую традицию поэта-пророка, а если сказать по-горьковски, поэта «третьей действительности».

Для Маяковского советской эпохи органичен исторический оптимизм. Даже в его сатире, где выставлены на всеобщее посмеяние люди и предрассудки, затрудняющие наш и без того «труднейший марш в коммунизм», есть истинное веселье борца, уверенного в грядущей победе. Автор покоряет нас своей убежденностью в преодолении препятствий изнутри, поэтому его сатира так смела и так резка. Однако, говорил поэт, «тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп...».

Мечта о мире будущего со всей полнотой гармонии, в котором не будет «сердца раздиравших мелочей», и — рядом реальность настоящего, уже наш мир «краснофлагого строя», в котором еще столько боли и горя. Поэт, «революцией мобилизованный и призванный», — борец против горя жизни. В самые трудные недели и месяцы молодой революции он видел светлое будущее: «Там за горами горя солнечный край непочатый...»



### СТРАНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ

1923 год. Консерватория. Вечер пятилетия Госиздата.

В большом зале идет торжественная часть, а в комнатухе, где обычно «концентрируется» президиум до начала заседания, собрались пять поэтов, долженствующих выступить с чтением стихов: Маяковский, Есенин, Безыменский, Тихонов и Городецкий.

Времени было у нас порядочно (ибо ораторы и в те времена любили долго разговаривать с трибуны), все были в прекрасном настроении. Есенин был трезв, добродушен, невысказанно красив. Неизвестно почему, но он не оставил в раздевалке шляпу и трость... (Причина такого поступка раскрылась для нас несколько позже...) Все сидели вокруг столика, а Маяковский шагал по комнате, наполняя собой все ее пространство. После нескольких минут веселой общей беседы завязалась интереснейшая игра между Маяковским и Есениным. Поскольку они давно уже не разговаривали друг с другом, игра велась при моем содействии, «через меня».

Владимир Владимирович обратился ко мне со следующим замечанием:

— А ведь некоторым товарищам лакированные туфли идут больше, чем лапти! Как вы думаете, Безыменский?

— Мне трудно решить такую проблему, ибо ни лаптей, ни лакированных туфель я никогда не носил. Но, может быть, вы, товарищ Есенин, окажетесь более компетентным, чем я?

Есенин ответил:

— Проблема обуви меня действительно всегда интересовала. Лакированные туфли, по-моему, удобнее лаптей, хотя и лапти хороши в определенных обстоятельствах жизни. Вы понимаете, что у меня нет желания язвить по поводу тех, кто носит лакированные туфли, ибо сам пребываю в них. Прогресс есть прогресс. Посему я с не меньшим удовольствием констатирую, что у некоторых товарищей под пиджаком отсутствует желтая кофта.

Я повернулся к Маяковскому:

— У вас есть какие-либо соображения по этому поводу, товарищ Маяковский?

Владимир Владимирович засмеялся:

— Прошу обратить внимание на то, что вопрос об обуви ловко подменен вопросом об одежде. Что ж? У каждого свой стиль и свои заботы. Я не против прогресса в обуви, хотя нахожу, что лакированные туфли неподходящая обувь для ходьбы по улице. Они больше приспособлены для ходьбы по гостиним.

Есенин заметил:

— На бульжной улице и в лаптях нехорошо...

Маяковский явно обрадовался:

— Вы слышали, Безыменский? На бульжнике и в лаптях нехорошо. Вот что правильно, то правильно! Да, в лаптях везде нехорошо, если носят их не по нужде, а из желания пофигистить. Особенно нехорошо, если стихи нарочно обувают в лапти, хотя иной товарищ умеет смастерить им более подходящую обувь. Не надо стихи нарочно в лапти ридить...

Пикировка продолжалась длительное время. Была она по форме шуточной, по существу серьезной. К сожалению, память больше не сохранила мне точной последовательности реплик Маяковского и Есенина; однако твердо помню, что их перепалка была задорной, но очень доброжелательной...

Через некоторое время нас позвали в большой зал. Мы должны были являть собой «художественную часть» собрания. Об этой художественной части необходимо рассказать подробно, ибо она представляла типичную картину тогдашних литературных выступлений.

Пять поэтов уселись рядом перед консерваторским органом. Сцена была пуста. Николай Тихонов явно волновался, Маяковский что-то набрасывал в записной книжке, Есенин положил рядом с собой шляпу и, опершись обеими руками на изгиб трости, внимательно разглядывал зал.

Мы уговорились, что каждый выступающий объявляет следующего оратора-поэта.

Первым читал стихи Маяковский. Это был, как всегда, подлинный триумф. В публике находилось немало лютых противников поэта, но могущество стиха пригвоздило их к месту, плотно закрыло им рты. Читал Владимир Владимирович блестяще. Кстати сказать,

и Есенин, и Тихонов, и Городецкий хором попросили меня выступить вторым, ибо читать после Маяковского они не решались. А я этого не побоялся. Стихи должны были говорить за себя, а не порядковый номер в очереди.

Маяковский объявил мое имя. Когда я шел на авансцену, Владимир Владимирович дружески сжал мне локоть и ободряюще кивнул головой. Читал я стихи «О валенках», «Партбилет» и «О шапке»...

Согласно нашему условию, я, окончив чтение, огласил имя Николая Тихонова. И тут случилось нечто непредвиденное. Через две-три минуты после того, как поэт начал чтение стихов, публика стала шуметь, роптать. Затем раздался свист — и зал превратился в бушующее море. «Довольно!», «Долой!», «Хватит!»...

Самое печальное заключалось в том, что публика была права. На трибуне стоял один из лучших советских поэтов, читал он одно из лучших своих произведений («Сами»), но читал он так, что и нам его не было слышно, не то что аудитории. А публика 1923 года привыкла выражать свои чувства и настроения не стесняясь.

Николай Семенович не сдавался. Он пропустил много строф, чтобы сократить выступление, но героически выдержал испытание и ушел с трибуны, дочитав «Сами» до конца. Однако объявить следующего оратора он, конечно, позабыл. Пришлось мне предоставить слово Сергею Есенину.

Тут произошло следующее. Как только назвали его имя, тихий, ласковый, милый Есе-

нин надел шляпу, встал и, вертя перед собой трость, медленно-медленно пошел на авансцену. Естественно, что его встретили шумом и криками: «Нахал!», «Хулиган!» «Безобразие!», «Долой со сцены!» С разных сторон стали свистеть.

Есенин оглядывал зал, прохаживаясь по сцене, а затем неожиданно заложил два пальца в рот и так свистнул, что люстры задрожали.

— Все равно меня не пересвистите, — добродушно сказал он, когда ошеломленный зал на секунду затих.

Ему ответили смехом, новыми выкриками. Есенин дождался относительной тишины и столь же добродушно, по-приятельски, сообщил залу:

— Ведь все равно будете мне аплодировать, когда стихи прочту...

Аудитория не успокаивалась.

— Мы еще посмотрим! Нахал! Долой!..

Но публика мигом затихла, когда золотобородый красавец поэт прочитал первые строки стихов. Впервые услышали мы в этот день стихи «Возвращение на родину».

По-байроновски наша собачонка  
Меня встречала с лаем у ворот...

Овации были нескончаемыми...

— Что вы думаете о сегодняшнем выступлении Есенина? — спросил я у Маяковского после окончания вечера.

— Продолжает зарабатывать себе славу скандалом, лакированными туфлями, тростью. Но лапти со стихов снимает. Это хорошо... — ответил мне Владимир Владимирович.

## Н. Харджиев

### ИЗ МАТЕРИАЛОВ О МАЯКОВСКОМ

#### 1. ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В ноябре 1914 года Маяковский стал постоянным сотрудником московской газеты «Новь» и был назначен составителем и редактором еженедельной «страницы поэзии и литературы». К участию в первой «странице», озаглавленной им «Траурное ура», Маяковский привлек своих литературных соратников — Б. Пастернака, К. Большакова, Н. Асеева, Д. Бурлюка. Анонс о назначении поэта-

футуриста редактором-составителем «литературной страницы» вызвал бурный протест читателей газеты. Маяковскому удалось составить только одну «страницу». Поспешная отмена «литературной страницы» объясняется испугом редакции, выступившей с резкой критикой «Траурного ура»: антивоенные мотивы, просвечивающие во всех произведениях «страницы» и с наибольшей четкостью в стихах

Маяковского и Пастернака («Мама и убитый немцами вечер» и «Артиллерист стоит у кормила»), могли обратить на себя внимание цензуры и даже привести к закрытию газеты.

Кроме стихов в «Траурном ура» напечатаны два прозаических произведения: «Кисть и штык» Д. Михневича и «Давно прошедшее», подписанное криптонимом: «— Ъ». Под псевдонимом «Д. Михневич» выступил в качестве прозаика Д. Бурлюк (Михневич — фамилия его матери). Что касается загадочного «— Ъ», то принадлежность его Маяковскому была доказана В. В. Трениным и мною (обнаружившими и впервые перепечатавшими ранние статьи поэта). Авторство Маяковского не подлежит сомнению: в импрессионистически поднятой конструкции рассказа как бы закреплены предварительные наброски системы образов поэмы «Война и мир» (1916): «мировой пожар», «кокаин», «зараженная кровь земли». Некоторые места рассказа перекликаются со стихотворением «Мама и убитый немцами вечер», впервые напечатанным на той же «странице», а также со стихотворением «Я и Наполеон» и поэмой «Флейта позвоночник» (1915).

К числу столь же убедительных параллелей относится и варьирование образа, находящегося в раннем стихотворении Маяковского: «... громадное напудренное ухо потолка с болтающейся серьгой люстры...»

Сравните в стихотворении «Порт» (1912):

...В ушах оглохших пароходов  
горели серьги якорей.

Фельетонный криптоним, так же как нейтральное заглавие, был использован Маяковским для зашифровки антивоенных тенденций его произведения.

Правильность нашей атрибуции была подтверждена двумя участниками «Траурного ура» — Б. Л. Пастернаком и К. А. Большаковым, беседы с которыми состоялись в 1932 году, вскоре после опубликования рассказа «Давно прошедшее».

Наконец, 19 июня 1956 года еще один участник «литературной страницы» Маяковского, Д. Д. Бурлюк, дал мне следующее письменное «удостоверение»: «... Не может быть никаких споров о том, что это произведение принадлежит В. В. Маяковскому. Если Вам... необходимо удостоверение *свидетельское* соучастника — здесь оно!»

Но уже за два десятилетия до того, как Д. Д. Бурлюк сделал эту запись, рассказ «Дав-

но прошедшее» был нами включен в основной раздел первого Полного собрания произведений Маяковского. Из последнего (третьего) Полного собрания сочинений рассказ исключен редакцией, не потрудившейся, однако, привести хоть какие-нибудь доводы, опровергающие нашу аргументацию.

Не вошли в последнее ПСС и три небольших стихотворения, написанных двадцатилетним Маяковским.

В Музее Маяковского хранится фотокарточка поэта (1913 год), на оборотной стороне которой находится беловой автограф стихотворения «Небо — какао...»:

Небо — какао.  
От лета запах  
паленого верблюда.  
Шаги азартны,  
как игроки в макао.  
А шляпа бульвара  
вся в перьях люда.  
Небо! Снимите поношенную шляпу!  
Я иду! Глухо!  
Вселенная устало положила на лапу  
с клещами звезд мохнатое ухо!

Не вполне точный текст этого стихотворения был впервые опубликован в качестве «чернового отрывка» из поэмы «Облако в штанах». Возражая публикатору, В. В. Тренин указал, что автограф, заключающий в себе всего две поправки, не дает никаких оснований считать его предварительным наброском к поэме: «Небо — какао...» — вполне законченное, самостоятельное произведение, написанное летом 1913 года и относящееся к жанру городских «бульварных» пейзажей Маяковского 1912—1913 годов. В 1915 году вторая строфа стихотворения с незначительными изменениями была включена в поэму «Облако в штанах» (см. финальные строки)<sup>1</sup>.

Аргументация В. В. Тренина, несмотря на всю ее убедительность, почему-то не была учтена редакцией последнего ПСС.

В последнем томе этого издания есть дополнительный раздел, хаотично объединяющий стихотворные экспромты Маяковского с его незаконченными стихами и поэтическими заготовками. Здесь впервые помещена транскрипция раннего микростихотворения Маяковского «Балалайка...». Подобно автографу стихотворения «Небо — какао...», автограф «Балалайка...» находится на оборотной стороне фотокарточки поэта (рядом с текстом известного трехстрочного стихотворения «Исчерпывающая картина весны»). Работа над

<sup>1</sup> «Литературное обозрение». М., 1940, № 13, стр. 56.

стихотворением «Балалайка...», построенным на составной каламбурной рифме, не была завершена. В томе XIII это стихотворение дано в чрезвычайно неточной транскрипции, совмещающей две стадии авторской работы. Было бы, однако, правильной дать связанное чтение — первоначальную «беловую» редакцию:

Балалайка.  
Будто лаем оборвала  
скрипки бала  
лайка.

Включив в дополнительный раздел тома XIII сводный и трудночитаемый текст «Балалайки...», редакция оставила за пределами Полного собрания стихотворение «Если на одеколоне...», беловой текст которого находится на 141-й странице альбома А. А. Шестеркиной<sup>1</sup>. Этот альбом содержит в себе много автографов, принадлежащих главным образом поэтам-символистам (В. Брюсову, К. Бальмонту, Ю. Балтрушайтису, Б. Садовскому и др.). Представлены в альбоме и поэты младшего поколения — футуристическая группа «Мезонин поэзии»: К. Большаков (друг Маяковского), В. Шершеневич и Б. Лавренев.

Стихотворение Маяковского, подобно ряду других находящихся в альбоме, относится к жанру «Gelegenheitsgedichten». 2 мая 1913 года во время одного из собраний в доме А. А. Шестеркиной не хватило спирту для варки кофе, который и был благополучно доварен на одеколоне. Кто-то из молодых поэтов предложил увековечить этот комический случай экспромтом. Два экспромта были написаны А. Альвингом и Б. Лавреневым, третий — Маяковским.

По свидетельству Ю. Д. Соколова, Маяковский сначала от участия в стихотворном тур-

нире отказался, но затем с необычайной быстротой написал стихотворение.

В автографе пунктуация отсутствует, и только некоторые строки выделены заглавными буквами. Воспроизвожу текст:

Если на  
о  
деко  
лоне  
Восприняты  
кофе  
роды  
Не  
дико  
ли  
мечтать  
о  
лоне  
Не помятой  
профилем  
природы

В первом и втором изданиях Полного собрания произведений этот экспромт Маяковского, примыкающий к его ранним опытам рифмового расчленения слов, был нами помещен в комментарии к стихотворению «Исчерпывающая картина весны».

Как известно, в период 1913—1915 годов Маяковский создал значительное количество стихотворных экспромтов. По устным сообщениям А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, Б. К. Лившица и Б. К. Пронина, ряд своих наиболее блестящих экспромтов Маяковский записал в альбоме артистического подвала «Бродячая собака». К сожалению, все попытки обнаружить местонахождение этого альбома, известного под названием «Свиной собачьей книги», не привели к успеху.

## 2. НЕИЗДАННАЯ КНИГА МАЯКОВСКОГО «ДЛЯ ПЕРВОГО ЗНАКОМСТВА»

В 1932 году А. Е. Крученых предоставил в наше распоряжение сверстанный первый лист книги Маяковского «Для первого знакомства». Сведения об этой неизданной книге Маяковского опубликованы В. В. Тренциным и мною в журнале «Литературное наследство» в 1933 году (№№ 7—8).

Сверстанный лист был передан нами в Литературный музей, где он, к сожалению, потерялся.

На первой полосе листа напечатано, в ка-

<sup>1</sup> Местонахождение альбома в настоящее время неизвестно.

честве вводного стихотворения, «Я сошью себе штаны из бархата голоса моего» («Кофта фата»), за ним следует цикл стихов, озаглавленный «Кофта желтая». В этот цикл Маяковский включил четыре стихотворения, напечатанные в футуристических сборниках («А вы могли бы?», «Ничего не понимают», «Нате!», «А все-таки»), монолог из трагедии «Владимир Маяковский» («Жирных, глухих, глупых...») и три стихотворения, напечатанные в журнале «Новый Сатирикон» («Гимн здоровью», «Вот так я сделался собакой», «Кое-что по поводу дирижера»).

«Сатириконские» стихи были включены в сборник до напечатания в журнале. Стихотворение «Вот так я сделался собакой», впервые напечатанное 30 июля, Маяковский еще 4 июля читал на вечере в Куоккале, а стихотворение «Кое-что по поводу дирижера», напечатанное 6 августа, поэт прочел И. Е. Репину, Б. Лазаревскому и К. Чуковскому 21 июня.

Полный состав сборника «Для первого знакомства» в настоящее время восстановлен быть не может, но к девяти произведениям, вошедшим в сверстаный первый лист книги, следует прибавить тексты корректурных гранок, находящихся у К. И. Чуковского (всего пять гранок). На трех гранках помещено еще десять стихотворений: «Мы», «Шумики, шумы и шумиши» и весь лирический цикл «Я»; «От усталости» и «Любовь»<sup>1</sup> и надзаголовок «Домашняя кофта»; заглавие раздела «Красная кофта» и тексты стихотворений «Я и Наполеон» и «Мама и убитый немцами вечер».

Названия разделов книги, вероятно, сохранились полностью: «Желтая кофта», «Домашняя кофта», «Красная кофта» (ср. названия циклов в другой неизданной книге Маяковского — «Кофта фата» (1918); «Пестрая кофта», «Домашняя кофта»).

История издания сборника «Для первого знакомства» до настоящего времени остается не вполне выясненной.

На титульном листе сверстанного листа отсутствует год издания, нет сведений и об издателе.

Одна из корректурных гранок, хранящихся у К. И. Чуковского, снабжена штампом типографии: «Коммерческая скоропечатня. Спб., Лиговская, 67».

В мемуарах Л. Ю. Брик, опубликованных в 1932 году, есть краткое упоминание о том, что «Новый Сатирикон» купил у Маяковского «книжку стихов». Это позволило нам сделать предположение об издании книги «Для первого знакомства» Аркадием Аверченко.

Однако дальнейшими разысканиями это предположение опровергается.

Уже после опубликования сообщения о книге «Для первого знакомства» нами были

обнаружены в еженедельнике «Журнал журналов» (1915, №№ 10, 12) две полуиронические хроникальные заметки о Маяковском. Привожу отрывок из первой заметки:

«Вл. Маяковский проходит сейчас в Куоккале под руководством К. Чуковского «курс хорошего тона». Футуристическому поэту вменено в обязанность каждую неделю написать пару понятных строчек, а по воскресеньям набрасывать по одному-другому портрету... Маяковский проделывает все это очень старательно, с большим прилежанием...»

Эта заметка помещена в предпоследнем июньском номере журнала, а в первом июльском номере напечатана вторая заметка, которую привожу полностью:

«Вл. Маяковскому уже надоело, очевидно, состоять в футуристах. На днях он выпускает книгу почти совсем уже понятных произведений. Предисловие к книге написал... Корней Чуковский».

Не подлежит сомнению, что эта заметка — своеобразный анонс о выходе книги «Для первого знакомства», подготовленной к изданию в начале июня 1915 года.

Отсутствие предисловия в сверстанном первом листе объясняется, по всей вероятности, тем, что в самом конце июня у Маяковского произошла размолвка с К. Чуковским, который, по его словам, был «горько обижен» стихотворением «Гимн критику».

26 июня 1915 года Н. Евреинов писал В. В. Каменскому: «...4 июля вечер (я режиссер вечера) с И. Репиным, Чуковским, Маяковским, балетными танцовщицами и т. п. Приезжайте на этот вечер»<sup>1</sup>.

На этом литературно-музыкальном вечере, состоявшемся в Куоккале, И. Е. Репин произнес вступительное слово, Маяковский прочел несколько своих стихотворений, но К. Чуковский не выступал. 9 июля «Гимн критику» был напечатан в «Новом Сатириконе».

Какие ж обстоятельства воспрепятствовали изданию сборника «Для первого знакомства» — ссора Маяковского с автором предисловия или внезапный отказ издателя — «менеджера»? Точного ответа на эти вопросы не дает даже великолепная память К. И. Чуковского.

Любопытная запись есть в дневнике писателя Б. Лазаревского от 7 июля 1915 года<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Стихотворение «От усталости» — в окончательной редакции, повторенной в сборнике «Простое как мычание», а стихотворение «Любовь» — в «промежточной» редакции (см. сборник «Простое как мычание»).

<sup>1</sup> ЦГАЛИ.

<sup>2</sup> ИРЛИ.

Встретив Маяковского, Б. Лазаревский сообщил ему о предложении В. М. Ясного издать стихи поэта-футуриста. Маяковский ответил отказом. Это свидетельствует о том, что участь книги «Для первого знакомства» тогда еще не была решена.

Как известно, первый сборник Маяковско-

го «Я!», заключавший в себе всего четыре стихотворения, был издан в 1913 году в количестве 300 экземпляров и вскоре стал библиографической редкостью.

Собрав свои стихотворения 1913—1915 годов, Маяковский не случайно назвал вторую книгу «Для первого знакомства».

### 3. АНОНИМНЫЙ МАЯКОВСКИЙ

В. В. Трениным и мною было установлено, что автор анонимной критико-полемической заметки «Братская могила», напечатанной 15 марта 1918 года в «Газете футуристов», — Владимир Маяковский<sup>1</sup>. Вместе с этой резко полемической рецензией нами была опубликована как произведение Маяковского анонимная заметка «Кафе Питтореск», также напечатанная в «Газете футуристов». Авторство Маяковского как будто подтверждалось заключительными строками заметки о «жующих ананасы и рябчики», связанными с его известным двустишием (1917). Кроме того, Маяковский в качестве автора заметки «Кафе Питтореск» упомянут в полемическом фельетоне, напечатанном в московской газете «Вечерняя мысль» (1918). Однако на основании стилистического анализа мы пришли к выводу, что в написании этой заметки принимал участие Василий Каменский.

22 июня 1956 года Д. Д. Бурлюк (редактировавший вместе с Маяковским «Газету футуристов») сделал в моем экземпляре газеты запись, удостоверяющую, что автор рецензии «Братская могила» — Маяковский, а автор заметки «Кафе Питтореск» — Василий Каменский<sup>2</sup>.

Заодно Д. Д. Бурлюк раскрыл псевдоним «Орасов», которым подписана в «Газете футуристов» восторженно-апологетическая заметка о поэмах Маяковского «Облако в штанах» и «Человек»:

«В этих двух книгах современность нашла свое наиболее яркое выражение. «Облако в штанах» вышло вторым изданием — показательно для имеющих первое — какой гнет отвратительной вивисекции цензуры ушел от нас. Насколько полнее, глубже, ярче это творение великого поэта во всей полноте. В «Человеке» еще определеннее, крепче выявился мужественный облик творчества Маяковского. Здесь окончательно рушилась кухмистерская «пушкинской хорошей» поэзии — язык наших праздников, будней, простой, безыскусственный и выразительный вместе с тем до предела, ставит эту книгу в ряду величайших творений века. Неудивительно, что Маяковский является родоначальником целой школы поэтов молодых, а старшие современники, как, например, Блок, Кузмин и Брюсов, не избежали его влияния».

Автор этой краткой заметки (где впервые отмечено воздействие Маяковского на поэтов старшего поколения) — Д. Д. Бурлюк.

### 4. МНИМЫЕ СТИХИ МАЯКОВСКОГО

В 1945 году едва не попали в ПСС Маяковского бездарно-дилетантские вирши, опубликованные в качестве подлинных его произведений.

Одно из них было напечатано в 1938 году в журнале «30 дней» (№ 4): там воспроизведен «автограф», который мог быть принят за таковой только теми, кто никогда не видел ни

<sup>1</sup> «30 дней». М., 1936, № 11, стр. 93.

<sup>2</sup> Впрочем, Д. Д. Бурлюк не отрицал того, что Маяковский мог вписать в текст заметки В. Каменского заключительную фразу.

одной рукописи Маяковского. В комментарии к «автографу» неизвестный «друг» великого поэта, некий Е. Вашков, удостоверяет с развязностью Хлестакова, что текст стихотворения «Была Русь...» записан Маяковским в рукописном журнале «Э», издававшемся «группой литераторов» весной 1917 года.

Редакция журнала «Тридцать дней» проявила чрезмерную доверчивость к сообщению Е. Вашкова. О сотрудничестве Маяковского с таинственной «группой литераторов» 1917 года не сохранилось никаких сведений, ни

документальных, ни мемуарных. Не подлежит сомнению, что рукописный «журнал» с идиотическим названием «Э» состряпала группа резвящихся обывателей, а чудовищные вирши «Была Русь...» представляют собой бездарнейшую пародию на лубки Маяковского, написанные в связи со свержением самодержавия.

Другой «псевдо-Маяковский» был опубликован И. Эвентовым в его книге «Маяковский-плакатист» (М.—Л., 1940). Привожу это двустишие — текст, вкомпонованный художником В. Лебедевым в его плакат:

Работать надо.  
Винтовка рядом.

Наличие такой, даже не бедной, а убогой, рифмы вообще невозможно в поэтической системе Маяковского, не говоря уже о его двустишиях, всегда построенных на виртуозной каламбурной рифме. Двустишие — ремесленная подпись к плакату петроградского Роста, в работе которого Маяковский не принимал участия. Поэтому устное сообщение художника об авторстве Маяковского серьезной критики не выдерживает. Сообщение В. Лебедева опровергается и вполне достоверными сведениями каталога выставки «Художники РСФСР за XV лет» (М., 1933): в описании этого плаката имя автора текста отсутствует.

## Вадим Шершеневич

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ

*Поэт Вадим Шершеневич (1893—1942) — один из литературных современников и сверстников Маяковского, выступивший в предреволюционные годы в числе представителей футуристического направления. В начале двадцатых годов В. Шершеневич возглавил группу поэтов-имажинистов (А. Мариенгоф, А. Кусиков, недолгое время С. Есенин и другие), с которой вел ожесточенную полемику Маяковский.*

*Публикуемые отрывки воспоминаний В. Шершеневича о Маяковском относятся к раннему, дореволюционному периоду их знакомства. Воспоминания извлечены из стенограммы выступления В. Шершеневича, записанного 9 октября 1938 года, хранящейся в Государственной Библиотеке-Музее В. В. Маяковского.*

Н. РЕФОРМАТСКАЯ

...Я помню, как Маяковский внимательно слушал Брюсова, когда тот критиковал его стихи и указывал на их недостатки. Маяковский шел вместе со мной домой и сквозь обиду шептал:

— Сам писать не умеет, а до чего здорово показывает!

Я помню Маяковского на самой заре его работы, когда он после ночи спора, на рассвете, прибежал (телефона у него не было) и признавал свою ошибку или приносил новое доказательство своей правоты.

Я помню почти нежные глаза Маяковского, когда он слушал новые стихи Есенина. А Есенин не любил Маяковского, и для Маяковского хвалить поэта, который его не любит, было не легко.

Однажды на рассвете я наблюдал, как Маяковский долго и пристально смотрел в лицо чугунному Пушкину, словно стараясь пытливым образом понять его глаза. Маяковский меня не видел. Он простоял почти полчаса и потом пошел домой.

А в это время он писал манифест, в котором требовал, чтобы Пушкин был выброшен за борт современности<sup>1</sup>.

Однажды вечером у меня сидел Маяковский. Раздался телефонный звонок, и сумрачный голос, позвав меня, просил приехать в отдельный кабинет ресторана «Бар» для «поэтической элоквенции». На мой вопрос: «Кто это говорит», — я услышал: «Игорь Васильевич Лотарев, только что приехавший из Петербурга»<sup>2</sup>.

Нам всем было интересно посмотреть на того, чьи стихи мы тогда увлекались, и мы поехали. Кроме Маяковского и меня были, кажется, Борис Лавренев, тогда только поэт, и С. Третьяков.

После того как Северянин прочитал нам свои стихи, Маяковский предложил ответно прочесть свои, на что Северянин надменно сказал: «Не будем омрачать нашу встречу». Маяковский растерялся и замолчал.

Вскоре после этого Северянин уехал вместе с Маяковским в провинцию с поэзоконцертами<sup>3</sup>. Сначала их поэзоконцерты проходили дружно, но вскоре они поссорились. Северянин рассказывал, что ссора произошла на почве того, что он, Северянин, прозрел и понял всю неталантливость Маяковского и бесполезность помощи «пошляку», ошибочно принятому им за розового слона. Это же позднее Северянин изложил в своих стихах.

Маяковский рассказывал о ссоре проще и, вероятно, правдивее. Северянин своей напыщенной самовлюбленностью мог действовать на нервы кому угодно. Тогда Маяковский начал его поддразнивать. Маяковский на язык

<sup>1</sup> Манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу», подписанный Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским, В. Хлебниковым. Писался в декабре 1912 года и тогда же был опубликован в альманахе футуристов, вышедшем под тем же названием.

<sup>2</sup> Игорь Васильевич Лотарев — поэт Игорь Северянин (псевдоним).

<sup>3</sup> В конце декабря 1913 года Маяковский и И. Северянин отправились в литературное турне по городам Крыма. Устроителем поездки, получившей по предложению Маяковского афишное название «Первая олимпиада российского футуризма», был живший в Симферополе поэт В. Сидоров (Вадим Баян). В первый и единственный раз на эстраде объединились эго-футурист И. Северянин и кубо-футуристы Маяковский и Д. Бурлюк. Принимал участие и сам «меченат» этого турне поэтов — В. Баян. (Много лет спустя Маяковский воскресил имя этого поэта в одном из сатирических персонажей своей пьесы «Клоп»: «Олег Баян — самородок из домовладельцев».)

был очень остер, а у Северянина самым красноречивым было его молчание.

Наконец Маяковский нашел верный способ. У Северянина есть строки, которые он читал на каждом вечере:

Олазбрим, легко олазбрим  
Пароход, моноплан, экипаж...

Как только Северянин доходил до этих строк, Маяковский вставал рядом на эстраде, внушительным баском начинал гудеть:

«Опозорим, легко опозорим...»

Северянин немедленно сбивался и упрашивал Маяковского прекратить издевки. Последний давал обещание, но, как только за день Северянин нахамит Маяковскому (а Маяковский был довольно обидчив), на «вечере» повторялась прежняя история. Северянин не выдержал, и они разошлись<sup>1</sup>.

Должен сказать, что в устных беседах мне ни разу не пришлось услышать от Маяковского неприязненного отзыва о Северянине как о поэте. Он всегда отмечал очень большую напевность и легкость северянинского стиха, указывал на влияние Фофанова, которого Маяковский тоже ценил, и утверждал, что вся пошлость Северянина проистекала от его второго увлечения — Мирры Лохвицкой.

Можно еще раскрыть происхождение строчек Маяковского в одном из его ранних сти-

<sup>1</sup> Из-за чего произошла ссора Северянина с Маяковским? В. Сидоров рассказывает, что Маяковский, зная наизусть тьму-тьмущую стихов Северянина, безжалостно цитировал их по каждому случаю, превращая в ядовитые пародии, чем действительно доводил Северянина до иступления. Но основная причина того, что «литературный мезальянс» Северянина с Маяковским оборвался, лежала в другом: «Такой яркий товарищ, как Маяковский, ни в какой мере не был выгоден для Северянина: желавшего доминировать среди собратьев по выступлению. Северянин сделал колоссальную ошибку по отношению к своей славе, пригласив Маяковского в свою группу. Выступать наряду с таким гигантом — это значило всегда казаться пигмеем и всегда терпеть провал...»

Слава бежала за ним изо всех городов и хоронила под собой другие поэтические славы» (В. Сидоров (Баян). «Первая олимпиада российского футуризма». Рукопись хранится в Государственной Библиотеке-Музее В. В. Маяковского).

Выступления Северянина и Маяковского нашли отражение в стихотворении И. Северянина «Крымская траги-комедия», написанном 2 января 1914 года. Позже крымское путешествие поэтов описано в автобиографическом романе «Колокола собора чувств» (Юрьев — Эстония, 1925) и уже без выпадов по адресу Маяковского.

хотворений — «Еще Петербург». Оно оканчивалось:

Часы нависали как грубая брань,  
За пятым навис шестой.  
А с неба смотрела какая-то дрянь  
величественно, как Лев Толстой.

Дело в том, что по тому времени Лев Толстой был просто тою очередной мишенью, в которую мы все били, потому что по этой мишени мы достигали наибольшего результата в смысле нервозности зрительного зала.

Зрительный зал совершенно легко переносил выпады по адресу Пушкина, Лермонтова и кого угодно, но как только дело доходило до Льва Толстого, то немедленно начиналось беснование.

Я помню один случай, когда после первой же неуважительной реплики кого-то из футуристов по адресу Толстого из зрительного зала поднялся пристав и потребовал от нас обещания, что больше имени Толстого упоминаться не будет, так как он, пристав, не может допустить, чтобы в его присутствии ругали такого почтенного писателя.

Когда Маяковский, вмешавшись в разговор, спросил, как относится пристав к церкви, которая отлучила Толстого и неоднократно отзывалась о нем очень неодобрительно, пристав сказал: «То, что допустимо для церкви, то недопустимо для футуристов».

Это было на вечере в студенческом клубе, на углу Малой Бронной, кажется, он назывался Романовка.

---

Фраза Маяковского о Бурлюке.

Я помню, как Бурлюк прислал пачку своих стихов для «Первого журнала футуристов»<sup>1</sup>, причем пачка была такая, что могла составить весь номер... И когда я говорил Маяковскому, что не стоит заполнять этими стихами журнал, Маяковский, смеясь, сказал: «Как же не печатать Бурлюка, когда это лучший художник среди поэтов и наоборот».

---

<sup>1</sup> «Первый журнал русских футуристов» вышел в 1914 году в Москве.

*Публикация и примечания Н. Реформатской.*

## Николай Асеев

### СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Никогда еще осень  
так не была хороша.  
Никогда еще так облака  
белизной не горели.  
Точно славный художник,  
задумавшись и не дыша,  
вывел на небо их  
в самой тонкой своей  
акварели.  
Может быть, потому  
эта синь так предельно  
близка,  
небеса так привольно  
широкой дугой разогнуты,  
что, прочувствовав день,  
до последнего  
светомазка,  
у последнего часа  
художник считает  
минуты.

1942

◆ ◆ ◆  
Дорогая моя дорогиня!  
Я лечу к тебе, руки сложа:  
ты и так, без владений — княгиня,  
безо всяких рабов — госпожа.

Ты из древней народной породы,  
той, какую Некрасов воспел,  
над которой не властны ни годы,  
ни гора переделанных дел.

Все вы девушки хороши...  
Так откуда ж и взяться женам,  
загубившим движенья души,  
неуживчивым, раздраженным!

Ты ж всегда посе́йчас молода.  
Как другие ни рядят, ни судят, —  
никакие зимы холода  
огонька твоего не остудят.

Ты как день нарожденный ясна,  
а обижу — печальна, как вечер;  
ты как снег первопавший честна,  
и сравнить тебя более не с чем!

Каждый пальчик твой — ответ луча,  
тени струн — на руках твоих вены.  
Если я и других замечал, —  
лишь чтоб видеть — как ты  
несравненна.

1962

◆ ◆ ◆  
Ты забыла зарю на снегу,  
на опушке лесного массива?  
Я тебе описать не могу,  
как и ты, она так же красива.

Вспышка, вспышка и вспышка и —  
красный, синий, зеленый. И разом <sup>вдруг</sup>  
все зажжется, заблещет вокруг,  
все устелется мелким алмазом.

Так и ты озаряешь мне дни,  
ставишь выше предельного роста:  
нет на свете роднее родни,  
нет светлей твоего благородства!

1951

## Анна Ахматова

◆   ◆   ◆

Если б все, кто помощи душевной  
У меня просил на этом свете, —  
Все юродивые и немые,  
Брошенные жены и калеки,  
Каторжники и самоубийцы, —  
Мне прислали по одной копейке,  
Стала б я богаче всех в Египте,  
Как говаривал Кузмин покойный.  
Но они не слали мне копейки,  
А со мной своей делились силой.  
И я стала всех сильнее на свете —  
Так, что даже это мне не трудно.

◆   ◆   ◆

Где-то ночка молодая —  
Звездная, морозная,  
Ой, худая, ой, худая  
Голова тифозная.  
Про себя воображает,  
По подушке мечется,  
Знать не знает, знать не знает,  
Что зачем, ответчица, —  
Что за речкой, что за садом  
Кляча с гробом тащится...  
Меня под землю не надо:  
Я одна рассказчица.

◆   ◆   ◆

Привольем пахнет дикий мед,  
Пыль — солнечным лучом,  
Фиалкою — девичий рот,  
А золото — ничем.

Водою пахнет резеда  
И яблоком — любовь,  
Но мы узнали навсегда,  
Что кровью пахнет только кровь.  
И напрасно наместник Рима  
Мыл руки перед всем народом  
Под зловещие крики черни,  
И шотландская королева  
Напрасно с узких ладоней  
Стирала красные брызги  
В душном мраке царского дома.

## МИХАИЛ СВЕТЛОВ

В 1922 году я поселилась в Москве. Нелегкое время... Хотя у меня было уже три поэтических сборника, я переживала некий «поворотный» кризис. Старый мой читатель был утрачен, новый не приобретен, а главное, не было приобретено ощущение времени...

В этом же году в Москве появилось два молодых поэта, два Михаила — Светлов и Голодный. Они были моими земляками по Украине, как и я, приехали оттуда. Приехали завоевать Москву и литературу. И они несравненно легче завоевали то, к чему стремились, нежели такая «хрупкая попутчица», как я. И несравненно легче жилось и дышалось им, нежели мне. Они неразрывно сливались с эпохой и со средой, о которой писали.

Шли годы. Прошло десять лет. Шел пятнадцатый год Революции. Весной 1932 года вместе со Светловым и Иосифом Уткиным я совершала поездку по Украине, которую мы покинули в 1922 году. Мы выступали в Харькове, Киеве, Брянске (Брянск тогда числился в Черниговской области). В моем родном городе Одессе. В своих старых записях я читаю:

«8 марта 1932 года. Харьков. Гостиница. Сегодня вечером выступаю с Уткиным и Светловым. Все билеты проданы.

Я боюсь не потому, что не уверена в себе. А потому, что мое положение ложно. «Беспринципный блок». Как же: два комсомольских поэта и «мелкобуржуазная» Вера Инбер».

Но все страхи и опасения мои оказались ложными.

Мы выступали каждый день и поневоле были вынуждены слышать друг друга, читающих в основном одно и то же. Я отлично помню, что читал Светлов. Особенно запомнились мне два стихотворения: «Гренада» и «Живые герои».

Странное дело: слушая ежедневно, ежевечерне «Гренаду» и «Живых героев», я каждый раз ждала их появления. И каждый раз мне не терпелось узнать, чем кончатся стихи. А главное, я не переставала волноваться

за судьбу крестьянского парня, который в России

\* ...пошел воевать,  
чтоб землю в Гренаде  
крестьянам отдать,

и за судьбу «Живых героев».

В тесной темнице  
Сидит Кочубей  
И мыслит всю ночь о побеге,  
И в час его казни  
С постели своей  
Поднялся Евгений Онегин:  
Печорин, мне страшно!  
Всюду темно!  
Мне кажется, старый мой друг,  
Пока Достоевский сидит в казино,  
Раскольников глушит старух!..

Мало сказать, что Светлов был талантлив. Конечно, талантлив. Но он был добр и умен. Из этого складывалась тайна его очарования, его влияния на сердца читателей. Стихотворения, написанные им в двадцатые годы, свежие, как будто выданы только-только.

В этой поездке мы сблизились со Светловым больше, чем живя на одной лестничной площадке в доме 2 в проезде МХАТа, куда оба переселились в 1931 году.

Шли годы. Десятилетия. Говоря словами Светлова, «на стене ходики отсчитывали годики». Но злокозненные годики теряют свою силу там, где присутствует талант. Они не накладывали, казалось, никакого отпечатка на лице Светлова.

Старость нас не застанет в сорок,  
Чуть покажется в шестьдесят,—

поется в застольной студенческой песне, написанной Светловым.

Чуть покажется в шестьдесят...

Старость едва показалась, когда Светлова не стало. Но он в моей памяти навсегда остался живым.

...24 августа 1941 года я приехала в Ленинград. Через четыре дня дорога на Мгу, последняя наша дорога, была перерезана немцами. Сама Мга была взята ими чуть ли не на следующий день после моего приезда.

Началась жизнь в осажденном городе. По

несколку тревог в день: по десять, пятнадцать. Вернее, одна сплошная тревога с короткими передышками.

4 сентября я была в редакции военной газеты Балтфлота как раз тогда, когда с передовой вернулись писатели Михаил Светлов и Лев Славин. Оба в шинелях, у каждого за поясом граната. У шофера, шедшего позади, их было четыре, в руках ручной пулемет.

Впервые я видела Светлова мрачным: на участке фронта, куда он и Славин выезжали, наших потеснили. Кроме того, они оба были голодны.

— Вы-то зачем здесь? — спросили они меня. Я не успела ответить. Зазвонил телефон: сообщили, что одна наша зенитная батарея сбила пятнадцать вражеских самолетов. Неслыханная цифра!

Подхватив гранаты и пулеметы, забыв про голод и про меня, все устремились к двери: поехали на батарею.

Через два года Светлов написал, пожалуй, самое любимое свое стихотворение «Итальянец».

Молодой уроженец Неаполя,  
Что оставил в России ты на поле?  
Почему ты не мог быть счастливым  
Над родным знаменитым заливом?

Я вновь и вновь перечитываю «Живых героев» и «Итальянца». И мне кажется, что вернулись мои молодые годы. Вот поднимаем бокалы на встрече Нового года в Тбилиси (выездной пленум Союза писателей на руставелевские торжества)... Вот Светлов предоставляет в распоряжение молодежи свою квартиру для танцев — моя дочь Жанна выходит замуж за молодого талантливого прозаика Григория Гаузнера.

Я прохожу через двор нашего дома и вижу двух стариков — это отцы Миши Светлова и Миши Голодного греются на весеннем солнышке. Они обсуждают последние события в Союзе писателей. Все бы хорошо, слышу я, но «формализм» мешает жить спокойно. Вот Светлов ведет своего старенького отца в Камерный театр на «Египетские ночи». Я сажу неподалеку, слышу, как вздыхает Светлов-старший при виде Клеопатры — Коонен. Он явно не одобряет ее. Визу, как ласково-иронично глядит на отца Светлов...

В стихотворении, посвященном памяти Иосифа Уткина, Светлов говорит об искусстве. По существу, он обращается к своему читателю, к каждому из нас:

Я тебе расскажу  
Все свои сокровенные чувства,  
Что люблю, что читаю,  
Что мечтаю в дороге найти.  
Я хочу подышать  
Возле теплого тела искусства,  
Я в квартиру таланта  
Хочу как хозяин войти.

Михаил Светлов вошел в эту волшебную квартиру и обитает в ней по праву. Его любили при жизни. О нем не забывают после смерти. Об этом говорит и Ленинская премия, которой он удостоен посмертно.

Внешность Светлова, его лицо давали богатую пищу для рисовальщика. Было и несколько портретов его в виде полумесяца.

Действительно, Михаил Светлов был ясным месяцем нашей поэзии. И в самой фамилии его есть свет, неугасающий свет умного, доброго таланта.

8—10 июля 1967 г.

## Борис Шиперович

### ПОЭЗИЯ В ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

Я познакомился с Николаем Островским в марте 1936 года.

Не могу сказать, что я сразу отдал себе отчет в том, с каким замечательным человеком свела меня судьба. Это мне стало ясно много позже. Но очень скоро я полюбил его, высоко оценил и старался, как мог, быть ему полезным.

...Помню: раздался телефонный звонок, — звонил Островский. Он просил зайти к нему. Меня это удивило. Ведь мы не были знакомы.

На следующий день я пришел. С волнением переступил порог его комнаты... Стараясь не нарушить тишины (меня предупредили, что Островский тяжело переносит шум), подошел к его постели.

Островский лежал на простой железной кровати, укрытый по грудь одеялом. Руки его были вытянуты вдоль тела. Френч защитно-го цвета застегнут.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, поближе... Понимаете, какое дело, — начал Николай Алексеевич, — задумал я подобрать библиотеку... Это моя давнишняя мечта... Сейчас я могу ее осуществить... Мне говорили, что вы опытный книжник... Не поможете ли?

Я с радостью согласился. Мы условились, что я составляю список, а потом обсудим, что в первую очередь нужно приобрести.

Вскоре я принес список — из двухсот названий. Я включил в него наиболее значительные произведения русских и иностранных классиков, а также писателей двадцатых и тридцатых годов.

Островский внимательно выслушал меня.

— А почему вы пропустили «Илиаду» и «Одиссею»? — спросил он. — Ведь если я не ошибаюсь, Гомера в древности называли «отцом поэзии»? Эти книги я хотел бы иметь...

...С каждым днем библиотека пополнялась новыми книгами. Московские букинисты, к которым я обратился с просьбой помочь Ос-

тровскому, с удивительным старанием разыскивали нужные ему книги. Они чуть ли не ежедневно звонили мне и просили сообщить Николаю Алексеевичу о своих находках.

Островского радовали эти сообщения.

Однажды он сказал:

— Знаете, Борис Яковлевич, мне кажется, что очень большим недостатком моей библиотеки является то, что в ней почти совершенно отсутствуют поэтические книги... Этот пробел хотелось бы ликвидировать...

Еще в первые мои посещения Островского я увидел у него в шкафу собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Некрасова. На видном месте стоял «Кобзарь» Шевченко. Но подбор других поэтических книг был в самом деле случайным. Да это и понятно! Островскому было не до собирания книг...

— Конечно, — продолжал он, подумав, — всего не охватишь, да и не все стихи, по правде сказать, меня интересуют. Камерная поэзия мне не нужна вовсе. Но публицистическую и гражданскую лирику, от наших старых древних поэтов до современных, мне бы хотелось иметь как можно полнее... Ну, подумайте сами, разве может быть настоящая поэтическая библиотека, скажем, без Ломоносова и Маяковского? Не важно, что какие-то книги были созданы, быть может, более двухсот лет назад. Или, скажем, «Слово о полку Игореве»!.. Я очень высоко ценю это произведение... Помните слова Шиллера: «Кто жил для своего времени, тот жив и для всех времен».

Я спросил у Николая Алексеевича, знает ли он, что в прошлом году уже вышли первые тома созданной Горьким серии «Библиотеки поэта»?

— По замыслу Алексея Максимовича, — продолжал я, — она включит в себя все лучшее, что создано за всю историю русской литературы... В нее войдет более трехсот названий.

Островского это заинтересовало.

— Такое, — с теплотой в голосе сказал

он, — мог придумать только Горький. Нет ли у вас его статьи «О библиотеке поэта»? А что вышло в свет?..

Я перечислил сборники Державина, Ломоносова, Дениса Давыдова, Сумарокова, Дельвига...

— Узнайте, пожалуйста, точнее и скажите мне, что уже вышло и что должно выйти в ближайшее время.

Мы решили приобрести сборники стихов Чаадаева, Грибоедова, Рылеева, Крылова, Гёте, Верхарна, Беранже, Мицкевича, Байрона. Не забыл Островский еще раз напомнить мне и об «Илиаде» и «Одиссее». Помнится, несколько позже были приобретены трагедии Софокла и «Шахнаме» Фирдоуси.

Лишенный возможности видеть свои книги, перебирать их, он знал, где они стоят, в каком порядке размещены, в каких они переплетах, что стоит или лежит рядом с ними. Человек, страдавший полной слепотой, и притом не от рождения, а приобретенной на двадцать восьмом году жизни, путем исключительной самодисциплины и тренировки памяти сумел во многом возместить отсутствующее зрение. Поразительно, что наряду с запоминанием значительного в его память входили и мелочи: он никогда не путал названий книг, имен авторов, издателей и даже авторов предисловий. Если какую-нибудь книгу не удавалось долго найти, Островский не забывал мне о ней снова и снова напомнить. Так, например, было с книгами А. Бзыменского, А. Жарова, И. Уткина, творчество которых он очень ценил.

Случалось, что после напряженной работы над романом «Рожденные бурей», когда ему хотелось немного отдохнуть, он просил кого-нибудь из друзей прочесть любимое стихотворение В. Маяковского.

Николай Алексеевич любил поэзию Блока, Демьяна Бедного. Он знал наизусть стихотворение Д. Бедного «Пою, но разве я пою, мой голос огрубел в бою» и стихи Полетаева о Ленине, а также песни и стихи революционных поэтов Радина, Кржижановского, Герасимова, Поморского.

Проявлял Островский большой интерес и к Брюсову, которого ценил за то, что в самое трудное для нашей страны время этот поэт без колебаний перешел на сторону революции и вступил в Коммунистическую партию.

Стихи Брюсова Островский знал с юношеских лет. Он рассказывал мне, что читал их и в клинике Харьковского медико-механического института, и в Новороссийске, куда забросила его судьба после неудачной операции.

Вспоминая одну из бесед Островского с поэтами-комсомольцами. Николай Алексеевич сам выразил желание встретиться с ними. Об этом мне, как заместителю секретаря комсомольской ячейки при Союзе писателей, сообщил А. А. Фадеев.

Я тотчас же позвонил Островскому и спросил, когда он сможет нас принять. (Сам он не мог держать трубку телефонного аппарата, ее держал кто-нибудь из родных.) Николай Алексеевич не любил откладывать задуманное и сразу назначил время встречи. В тот памятный для меня день у него собрались: М. Алигер, Е. Долматовский, В. Замятин, критик Ан. Тарасенков и драматург А. Луначарский, впоследствии погибший на Великой Отечественной войне, — сын нарком просвещения А. В. Луначарского.

Когда открылось наше, как сказал Островский, «комсомольское собрание», первым взял слово Николай Алексеевич. Извинившись, что не смог сам прийти из-за болезни к нам в Союз писателей, он попросил недавно выбранного секретаря ячейки М. Алигер рассказать о работе комсомольской организации. Покончив же с «оргвопросами», Островский попросил:

— Ну, а сейчас, друзья, расскажите, что вы написали за последнее время. Почитайте свои новые стихи.

Открыв это несколько необычное «литературное утро», Маргарита Алигер, смущенная необычной обстановкой, очень неуверенно, но с чувством прочла стихотворение «Друг» из своей первой книги «Год рождения». Островскому стихи понравились. Следующим выступил Евгений Долматовский. Его стихи о московских комсомольцах-метростроевцах были встречены очень тепло. А затем в комнате зазвучали стихи Н. Тихонова «Гвозди бы делать из этих людей...», «Гренада» М. Светлова, «В степи под Херсоном» М. Голодного, стихи А. Суркова и любимое Островским «Теплый солнечный дождь прошел стороною». Легко и свободно, с большим подъемом читал стихи Ан. Тарасенков.

Я уже давно заметил, что Островскому нравились стихи, в которых воспевались люди сильные, мужественные, настойчивые,

умеющие преодолевать трудности и одерживать победы. Поэтому я не удивился, что и на этот раз ему понравились стихи Б. Корнилова, особенно стихи о трипольских комсомольцах, которые перед лицом смерти мужеством своим приводили бандитов в ужас.

Вскоре мы заметили, что Островский устал и нуждается в отдыхе. Мы поднялись с мест.

— Спасибо, товарищи, — сказал Островский, тепло простившись с комсомольцами. — Если понадобится помощь или совет — заходите обязательно.

Островский всегда проявлял заботу о росте молодых поэтов. Это я понял не только тогда, когда присутствовал на встрече с поэтами-комсомольцами. Навестивший его однажды Михаил Златогоров писал:

«Помню, он заинтересовался, когда я сказал, что при «Смене» организовано и работает литературное объединение. К слову сказать, в этом объединении начинали свой путь такие молодые писатели и поэты, как Дм. Кедрин, А. Ойслендер, С. Смирнов, В. Замятин, В. Кожевников.

Островский спрашивал:

— Молодые? Печатаются уже? Писатели с опытом помогают им?

За этими расспросами чувствовалось не только желание поконкретнее узнать один из литературных кружков Москвы, но и живая заинтересованность в делах всей литературы, в росте молодых талантов».

Случилось так, что я был у Островского в тот день, когда ему привезли из книжного магазина несколько пачек книг. Как мне тогда казалось, этими последними книгами завершалось пополнение его библиотеки. В распакованных пачках были сборники стихов П. Антокольского, П. Шубина, Э. Багрицко-

го, А. Твардовского, С. Есенина, «Грузинские лирики» в переводах Б. Пастернака.

После одного из таких посещений, 15 апреля 1936 года, я записал: «Кажется, достал все, что мы хотели. Николай Алексеевич доволен. Сегодня он сказал мне, что в «порядке партийной дисциплины» его отправляют в отпуск в Сочи. Начались сборы».

26 апреля 1936 года я в своем дневнике писал: «Установились теплые дни. В 12 часов приходили железнодорожники. Готовят специальный вагон. Островский берет с собой в Сочи много книг. Попросил достать стихи Я. Купалы, Якуба Коласа, С. Васильева, новую книгу А. Суркова «Запев» и несколько прозаических книг. Грустно расставаться с Николаем Алексеевичем. Хочется верить, что солнце и морской воздух ему помогут».

Из Сочи я получил всего лишь два письма и одну телеграмму. Николай Алексеевич просил, чтобы я следил за новинками и регулярно их высылал ему. Из Сочи Островский вернулся в октябре. Поездка ему не помогла. Болезнь прогрессировала, он чувствовал себя неважно, но продолжал работать. Мы увиделись не сразу. Встреча была короткой. Ему трудно было говорить.

— Когда еще придете?

— Через несколько дней, — ответил я.

Больше не пришлось мне видеть Островского. Через десять дней он умер...

...Если Вам, читатель, доведется когда-нибудь побывать в московском и сочинском музеях Николая Островского, обязательно подойдите к библиотеке писателя. Вы увидите книги поэтов всех времен и народов — книги, которые были верными спутниками автора бессмертного романа «Как закалялась сталь».

## Николай Заболоцкий

*Эти стихи Н. А. Заболоцкого никогда не публиковались. Однако они представляют большой поэтический интерес и важны для понимания творческого пути Н. А. Заболоцкого.*

*Стихотворение «Пастухи» (заглавие условно дано редакцией) относится к 1931—1933 годам, примыкая по своей художественной структуре к стихам, написанным после «Столбцов» («Дерезья», «Битва слонов»). Глубокий философский замысел сочетается в нем с иронически-бурлескной манерой рассказа. Тема поклонения волхвов здесь тесно связана с иконописными и живописными изображениями этого сюжета у старых мастеров, которые восхищали Заболоцкого наивной чистотой и искренностью, о чем он неоднократно говорил. Незадолго до смерти поэт задумал написать трилогию из поэм, посвященных смене различных культур и эпох. По свидетельству Е. В. Заболоцкой, в него должна была входить поэма «Поклонение волхвов». Машинопись раннего стихотворения «Пастухи» находилась в рабочей папке поэта, так и не успевшего реализовать свой замысел.*

*Стихотворение «Собор как древний каземат» относится скорее всего к 1937—1938 годам. Писалось оно, видимо, одновременно с утраченной поэмой «Осада Козельска», знаменующая интерес Заболоцкого к исторической теме, древней Руси.*

*Стихотворение «Мир однолик, но двойственна природа» датировано 1948 годом. Автограф сохранился в архиве Е. Л. Шварца. «Мир однолик...» примыкает к стихотворениям Н. Заболоцкого о природе («Гроза», «Полдень» и др.), развивая одну из излюбленных тем поэта — тему человека, способствующего пробуждению разума в природе.*

Н. СТЕПАНОВ



(Отрывок)

Собор как древний каземат  
Стоит, подняв главу из меди.  
Его вершина и фасад  
Слепыми окнами сверлят  
Даль непроглядную столетий.  
Войны седые облака  
Летят над куполом, и воя  
С высот свергается река,  
Сменив движенье на кривое.  
А тут внутри — почти темно.  
Из окон, падающих косо,  
Квадратный луч летит в окно,  
И божья мать кривоноса  
И криволица — в алтаре

Стоит как столп, подняв горе  
Подобье маленького Бога.  
Из алебаstra он. Убого  
И грубо высечен. Но в нем  
Мысль трех веков горит огнем.  
Не слишком тонок был резец,  
Когда, прикинувшийся греком,  
Софию взяв за образец,  
Стал Бог славянским человеком.  
Из окон видим мы вдали  
Край очарованной долины.  
Славян спокойных корабли  
Стоят у берега. Овины  
Вдали дымят, и крыши сел  
Уже стругает новосел.

◆ ◆ ◆  
Мир однолик, но двойственна природа,  
И, подражать прообразам спеша,  
В противоречьях зреет год от года  
Свободная и жадная душа.

Не странно ли, что в мировом просторе,  
В живой семье созвездий и планет  
Любовь уравнивает горе  
И тьма всегда преодолагает свет?

Недаром, совершенствуясь от века,  
Разумная природа в свой черед  
Сама себя руками человека  
Из векового праха создает.

1948

## ПАСТУХИ

(Отрывок)

— Возникновение этих фигурок  
В чистом пространстве небосклона  
Для меня более чем странно.  
— Струи фонтана  
Менее прозрачны, чем их крылья.  
— Обратите внимание на изобилие  
Пальмовых веток, которые они держат  
в своих ручках.  
— Некоторые из них в тувельках, другие  
в онучках.  
— Смотрите, как сверкают у них перышки.  
— Некоторые — толстяки, другие — замо-  
рышки.  
— Горлышки  
Этих созданий трепещут от пения.  
— Терпение!  
Через минуту мы узнаем кой-какие новости.  
— В нашей волости  
Была икона с подобными изображениями.  
— А я видал у бати книгу,  
Где мужичок такой пернатый  
Из пальцев сделанную фигу  
Казал рукой продолговатой.  
— Дурашка! Он благословлял народы!  
— И эти тоже ангелочки  
Благословляют, сняв порточки,  
Земли возвышенные точки.  
— Послушайте, они дудят в серебряные ду-  
дочки.  
— Только что они были там, а теперь  
туточки.

### Пение

Из глубин, где полдень ярк,  
Где прозрачный воздух жарок,  
Мы, подобье малых деток,  
Принесли земле подарок.  
Мы — подобье малых деток,  
Смотрит месяц между веток,  
Звезды робкие проснулись,  
В небесах пошевелились.

### Бык

Смутно в очах,  
Мир на плечах.  
В землю гляжу,  
Тяжко хожу.

### Пение

Бык ты, бык, ночной мыслитель,  
Отвори глаза слепые,  
Дай в твое проникнуть сердце,  
Прочитать страданий книгу!  
Дай в твое проникнуть сердце,  
Дай твою подумать думу,  
Дай твою земную силу  
Силой неба опоясать!

### Пастухи

— Кажется, эти летающие дурни разговари-  
вают с коровами?  
— Уже небеса делаются багровыми.  
— Скоро вечер. Не будем на них обращать  
внимания.  
— Эй, создания!

## ПЛАМЕННАЯ ПЕСНЯ

Те песни гордостью и восторгом  
воспламеняли полки.

Д. Фурманов. «Чапаев»

В этом году исполняется сто лет со дня рождения старейшего пролетарского поэта Филиппа Степановича Шкулева (1868—1930), автора текста песни «Мы кузнецы».

Родословная песни корнями уходит в историю русской революционной поэзии. Тема «кузнеца» возникает в ней сразу же, как только в поэзии появляется труд рабочего. При этом фигура человека с молотом в руках сливается с образом борца, делается символом революционера. Атрибуты кузнечного труда — наковальня, молот, горн, пламя и т. п. — приобретают аллегорический смысл. Символика эта берет свое начало еще в поэзии революционного народничества (Д. Клеменц, П. Якубович).

Кузнец, разбивающий цепи рабства, изготавливающий оружие борьбы, выковывающий грядущую свободу, — традиционные мотивы ранней пролетарской поэзии. Мы встречаемся с ними в стихах А. Белозерова («Песни труда»), А. Микульчика («Песня кузнеца»), И. Привалова («Кузнец»), Н. Рыбацкого («Песня кузницы») и других рабочих поэтов 1890—1900-х годов.

С появлением русского перевода «Интернационала» (1902) рабочий класс выходит на улицу со своим гимном, в его словах та же, понятная всем символика:

Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,  
Отвоевать свое добро,  
Вздувайте горн и куйте смело,  
Пока железо горячо.

У Шкулева тема «кузнеца» проходит через все его творчество. Поначалу, в 1890-е годы, поэт говорит о работе кузнецов как о тяжелой рабочей профессии («В кузнице»). По мере того как в годы, предшествующие первой русской революции, поэт сближается с партийными рабочими, знакомится с нелегальной литературой, он становится «непримиримым врагом царизма, капитала и попов» (Автобиография). В дни вооруженного восстания на Пресне он строит баррикады, хранит оружие, издает и распространяет революционные брошюры и сатирический жур-

нал «Шрапнель». В 1904—1907 годах пишутся стихотворения «Гимн труду», «Куюм», «Мы кузнецы», «Поднимайте дружно молот, кузнецы...», «Для чего, — меня спросили...» в которых прославление труда как основы всего сущего и призыв к борьбе за свободу сопряжены в образе кузнеца:

— Для чего, — меня спросили, —  
Плуг и грабли я кую?  
Я ответил, ударяя:  
— Труд люблю!  
.....  
— Кто, скажи, устроит лучше  
Жизнь тяжелую твою?  
Я ответил, ударяя:  
— Сам скую!

Стихотворение «Мы кузнецы» впервые появилось в московском еженедельнике «Наше дело» 11 ноября 1906 года.

Мы кузнецы, и дух наш молод,  
Куюм мы к счастью ключи!  
Вздыхайся выше, тяжкий молот,  
В стальную грудь сильнее стучи.

Мы светлый путь куюм народу, —  
Полезный труд для всех куюм...  
И за желанную свободу  
Мы все страдаем и умрем.

Мы кузнецы. Отчизне милой  
Мы только лучшего хотим.  
И мы недаром тратим силы —  
Недаром молотом стучим.

Ведь после каждого удара  
Редеет тьма, слабеет гнет  
И по полям родным и ярам  
Народ измученный встает.

Этот текст с небольшими отклонениями стал текстом песни. В новой редакции стихотворение было напечатано в большевистской «Невской звезде» 27 мая 1912 года.

Взрывную силу «Кузнецов» быстро разглядела царская цензура. «Вышеназванное стихотворение написано в сильных выражениях, проникнутых революционным настроением и направленных к тому, чтобы возбудить народ к бунту», — говорилось в цензорском донесении. Постановлением Петербургского комитета по делам печати на выпуск «Нев-

ской звезды» был наложен арест, против редактора возбуждено судебное дело.

Можно запретить газету, осудить редактора, но остановить распространение стихотворения, которое, встретившись с мелодией, превратилось в революционную песню, уже невозможно. Песня живет в подполье, в революционных кружках. «Хорошо помню,— пишет член КПСС с 1905 года М. Л. Сулимова,— как пели ее мы, члены боевой группы при ЦК РСДРП(б), в лесу, на квартирах: открыто ведь петь было нельзя. Песня наполняла нас бодростью, зажигала нас боевитостью» («Комсомольская правда», 12 октября 1957 года).



В 1917 году песня «Мы кузнецы» переживает второе рождение. Она выходит на улицу, ведет в бой красноармейские полки. Об этом пишет Д. Фурманов в «Чапаеве». Песню размножают на листовках, перепечатывают в красноармейских песенниках. Авторство иногда приписывают разным лицам. (В воинских газетах гражданской войны стихотворение встречается с подписью: красноармеец такой-то.)

Революционная эпоха накладывает свой отпечаток на содержание песни, а текст ее видоизменяется в духе новых представлений. Вместо «к счастью ключи» появляется «грядущего ключи», «полезный труд» заменяется на «свободный», «вольный», «желанная свобода» превращается иногда в «железную», никто не поет «страдали» — обязательно «боролись», «отчизне милой» предпочитают «коммуну» или «страну рабочую», вместо «тьма» поют «враг», строка «И по полям родным и ярам» переделывается: «И по всему земному шару» или «В городах земного шара» и т. п.

«Мы кузнецы» переводятся на украинский, белорусский, эстонский, латышский, грузинский, армянский и другие языки народов страны, а также на иностранные языки — румынский, финский, немецкий, китайский — и становятся интернациональной песней рабочих.

В пролетарской поэзии первых советских лет образ кузнеца принимает характер символа свободного, раскованного труда, созидания новой жизни.

Искры, точно золото,  
Брызжут из-под молота,  
В горне вихрь поет...  
Нет в руках усталости,  
Нет к железу жалости,  
Бьет.

(В. Александровский.  
«Кузнец»)

Люблю ковать, силен и молод,  
У пасти огненных печей.

(М. Герасимов.  
«Люблю я зарево вагранок...»)

Мы творить пришли на землю,  
Наш удел горячий пот.  
Молот тяжкий я приемлю,—  
Пусть всю жизнь перекует.

(П. Орешин. «Молот»)

О кузнецах пишут стихи А. Гастев и А. Безыменский, Я. Бердников и Г. Санников, В. Торский и С. Оков и многие другие.

Всеобщее распространение получает лексика кузнечного обихода. Она применяется в заголовках газет, журналов, литературных сборников. Поэты объединяются в группу «Кузница», называют себя «кузнецами». Один из них говорит о своих товарищах:

Пролетарии и пророки,  
Мы пришли в предрассветной мгле  
Раскаленные выковать строки —  
Светлый гимн грядущей земле.

(В. Кириллов. «Поэтам Кузницы»)

Даже такой поэт, как К. Бальмонт, выпускает поэтический сборник «Песня рабочего молота» (1922).

Понятие «кузнец» превращается в синоним слова «рабочий» в широком смысле:

Мы с тобой родные братья:  
Я — рабочий, ты — мужик.  
.....  
Я кую, ты пашешь поле...

(Н. Тихомиров. «Братья»)

Из поэзии кузнец как образ-символ переходит в живопись, графику. Памятны плакаты первых лет революции с изображением кузнеца, разбивающего цепи, опоясывающего земной шар, или кузнеца за работой, призывающего всех на всероссийский первомайский субботник. Кузнец — на обложках книг, на издательских и почтовых марках, на первом советском полтиннике. Известна попытка изобразить кузнецом В. И. Ленина.

На парижской художественной выставке в 1925 году была выставлена картина художника Жана Гамани с изображением Ленина в виде кузнеца. Намереваясь принести свое произведение в дар советскому народу, художник обратился к советскому послу с письмом, в котором говорилось: «Я счел полезным нарисовать символическую фигуру нашего великого и оплакиваемого нами Ленина, кующего всеобщий мир» («Огонек», 1925, № 16).

В послереволюционных стихах Шкулева образ кузнеца раскрывается по-новому. Он олицетворяет теперь победителя и строителя новой жизни.

Каждый в бой, чтоб жить счастливо,  
Будь кузнец своей судьбы.

(«Гимн восставших»)

Что ни взмах — все ближе к цели,  
Сталь и гнется и шипит...  
Плуг и молот песню спели,  
Коммунизм все довершит.

(«Кузнец»)

Под металла звук ритмичный  
Люди новый мир куют.

(«Красные песни»)

Текст основного стихотворения «Мы кузнецы» снова переделывается. Автор прибавляет к нему еще две строфы (сб. «Рабочая

весна», М., 1923, № 2). Но песня уже сложилась, и дополнения к ней не прививаются. В новой строфе есть строки:

Не долог час — огнем объятый  
Великий грозный грянет бой...

Предчувствие новых битв не оставляет поэта в последние годы жизни. В 1928 году он пишет «Завещание — Товарищам», обращенное к членам его партийной ячейки:

«Живите, боритесь и ни пяди не сдавайте врагу. Ни вправо, ни влево, идите по славному ленинскому пути. Борьба еще впереди, враг силен, и только при дружной монолитной спайке нашей партии он будет сломен, и во всем мире разгорится светозарное солнце — коммунизм».

Песня «Мы кузнецы» продолжает и сегодня жить у нас и за рубежом. Недавно встретилось сообщение, что ее поют рабочие-металлисты в Западной Германии («Труд», 9 сентября 1965 года).

В «Желанной песне» (1905) Шкулев писал:

Хотел бы я песню такую пропеть,  
Чтоб мир от нее всколыхнулся...

Вряд ли он мог предполагать тогда, как на деле осуществится его мечта. Говорят, что песни, как книги, имеют свою судьбу.

Завидна судьба песни «Мы кузнецы»!

## Сергей Поделков

### О ПАВЛЕ ВАСИЛЬЕВЕ

Жизнь Павла Васильева проходила под «звездой скитальчества». В юности он изъездил вдоль и поперек Сибирь. Каких только не повидал мест, кем только не работал: старателем на золотых приисках в отрогах Яблонового хребта, каюром в тундре, экспедитором на Зейских приисках, культработником на Сучанских каменноугольных копях. В его руках побывали и лопата, и кирка, и рыболовные снасти, и горняцкий обушок. И никогда он не забывал о главном — о поэзии. Писал при любых обстоятельствах, в любых условиях. К написанному относился и строго, и небрежно. Что не нравилось — выбрасывал, рвал. Будучи уже известным поэтом, он не сидел на месте, путешественник по складу своего характера, он «без памяти

любил людей», и без них, как без воздуха, не могли жить ни он сам, ни его поэзия. В Москве Павла Васильева можно было увидеть с самыми разными людьми — с ткачами фабрики «Ливерс», с рабочими в цехах завода «Красный пролетарий», с жокеями на ипподроме, с учителями. А когда оказывался за городской чертою, в поле, в степи — спешил наговориться с хлеборобами, с мужиками, которых он высоко ставил и ценил.

Хочется привести строки одного из писем Б. Пастернака: «В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский... У него было то яркое, стремительное и счастливое вообра-

жение, без которого не бывает большой поэзии...»

Обладая феноменальной памятью, Васильев держал в уме не только тысячи строк своих и чужих стихотворений, но и сказки, рассказы Чехова и Лескова, целые куски из «Анны Карениной», из произведений Достоевского, творчество которого знал с доскональностью литературоведа.

Дарование Павла Васильева многообразно и самобытно. Он и эпик и лирик, причем работа над стихами и поэмами очень часто проходила одновременно. Например, летом 1932 года, когда ему шел двадцать второй год, им, помимо большого количества лирических стихотворений («Песня», «Сердце», «У тебя ль глазищи сини...», «К портрету» и др.), написаны поэмы «Лето», «Август», одновременно начат «Соляной бунт» и были сделаны первые наброски трилогии «Большой город». Публикуемый здесь отрывок из трилогии яв-

ляется началом второй поэмы. Целиком главу и стихотворение «Лагерь» сохранил библиограф М. И. Чуванов. Стихотворение «Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала...» сохранено В. Н. Клычковой. Автограф «Прощания с друзьями» передал мне Н. А. Минх, поддерживавший дружбу с Павлом Васильевым в течение ряда лет.

Не все написанное Павлом Васильевым разыскано. Будущим исследователям его творчества предстоит найти поэмы «Прииртышье», «Шахтеры», «Первая Конная», утраченные лирические стихи, например написанное гекзаметром стихотворение «Женщины моются в бане», «Сколь ступеней в тюрьме Таганской» и др.

Идут годы. Краски буйной васильевской поэзии не тускнеют. Все больше и больше становится почитателей его огромного поэтического дара.

## Павел Васильев

### ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Друзья, простите за все — в чем был виноват,  
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.  
Ваши руки стаями на меня летят —  
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные —  
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.  
Есть такое хорошее слово — р о д н ы е,  
От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него,  
Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним.  
Вы обо мне забудете, — забудьте! Ничего,  
Вспомню я о вас, дорогие, радостно.

Так бывает на свете — то ли зашумит рожь,  
То ли песню за рекой заслышишь, и верится,  
Верится, как собаке, а во что — не поймешь,  
Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочком за горесть мою,  
За то, что смеялся, покуль полыни запах...  
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,  
Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

На далеком, милом Севере меня ждут,  
Обходят дозором высокие ограды,  
Зажигают огни, избы метут,  
Собираются гостя дорогого встретить как надо.

А как его надо — надо его весело:  
Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,  
Чтобы только полено в печи потрескивало,  
А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы...  
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.  
Прощайтесь, прощайтесь, дорогие, со мной, — я еду  
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,  
Подпершись в бока, на бородах снег.  
— Ты зачем, бедовый, бедуешь с нами,  
Нет ли нам помилования, человек?

Я же им отвечу всей душой:  
— Хорошо в стране нашей, — ни грязи, ни сырости,  
До того, ребятушки, хорошо!  
Дети-то какими крепкими выросли.

Ой и долог путь к человеку, — люди,  
Но страна вся в зелени — по колено травь.  
Будет вам помилование, люди, будет.  
Про меня ж, бедового, спойте вы...

1936



Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,  
Дай мне руку, а я поцелую ее.  
Ой, да как бы из рук дорогих не упало  
Домотканое счастье твое!

Я тебя забывал столько раз, дорогая,  
Забывал на минуту, на лето, на век,  
Задыхаясь, ко мне приходила другая —  
И с волос ее падали гребни и снег.

В это время в дому, что соседям на зависть,  
На лебяжьих, на брачных перинах тепла,

Неподвижно в зеленую темень уставясь,  
Ты, наверно, меня понапрасну ждала.

И когда я душил ее руки, как шеи  
Двух больших лебедей, ты шептала: «А я?»  
Может быть, потому я и хмурился злее  
С каждым разом, что слышал, как билась твоя

Одинокая кровь под сорочкой нагретой,  
Как молчала обида в глазах у тебя.  
Ничего, дорогая! Я баловал с этой,  
Ни на каплю, нисколько ее не любя.

1932



Приятель мой, затихни и взгляни:  
 Стоят березы в нищенской одежде,  
 Каленый глаз, мельканье головни,—  
 То набегают родины огни  
 Прибоями, как набегали прежде.  
 Ты расскажи мне, молодость, почто ж  
 Мы странную испытываем дрожь,  
 Родных дорог развертывая свиток,  
 И почему там даже воздух схож  
 С дыханьем матерей полузабытых?  
 И отступили гиблые леса,  
 И свет в окне раскрытом не затем ли,  
 Чтоб смолк суровый шепот колеса?  
 И то ли свет, и то ли горсть овса  
 Летит во тьме, не падая на землю.

Решайся же не протянуть руки.  
 Там, за окном, в удушные платки  
 Сестра твоя закутывает плечи,  
 Так, значит, крепко детство на замки  
 Запрятывает сердце человечье.

Запрятывает (прошлая теплынь!  
 Сады и ветер) сердце (а калитка  
 Распахнута). О, хищная полынь,  
 Бегущая наперез кибитке!

Но сколько их влачилося здесь в пыли —  
 Героев наших,— как они скитались,  
 Как жизни их, как мысли их текли,  
 Какие сны им по пути встречались!..  
 И Александр в метелях сих плутал —  
 О, бубны троек и копыт провал!  
 (Ночь пролетит, подковами мерцающая,  
 В пустынный гул) — и Лермонтов их

гнал

Так, что мешались звезды с бубенцами.  
 Охотницкою ветряною ранью  
 Некрасова мотал здесь тарантас.  
 Так начиналось ты, повествованье  
 Глухой зари и птичьего рыданья,  
 И только что нас проводивших глаз.

1933

## Лев Озеров

### *Памяти Ильи Сельвинского*

Он родился за два месяца до начала двадцатого века.

Его детство и отрочество прошли накануне революции.

С ней связана его юность, его зрелость, вся его жизнь.

Жизнь Ильи Сельвинского была борьба, постоянная борьба. Рядовой боец, командир, грузчик, натурщик, рабочий, репортер, педагог. Поэт! Это — роды занятий, профессии, призвания. Но во всем, за что бы он ни брался, виден был следопыт, пролагатель и строитель пути, по которому шел он сам, по которому шли другие.

Это была кипучая, деятельная, сильная натура. Натура вулканической породы. Человек личной отваги, кристальной честности, обнаженного сердца. Глаза его смотрели открыто. Ни в них, ни в его сердце не было ни утайки, ни хитрости, ни подобострастия. Он излучал дружелюбие.

«Стихия писателя — совесть», — писал он и весь был в этой стихии, всем сердцем, всей

многогранной и напряженной жизнью. В этой жизни всегда был риск, подчас — отчаяние. Это — по существу. А внешне эти риск и отчаяние выражались в резкости, отчетливости, персональной обращенности жестов.

Поэтому у него были друзья и враги и, к счастью, не было равнодушных.

Как полагается в борьбе. Продолжительной и тяжелой.

В молодости он был образцом атлетического здоровья, редкостным для интеллигентов нашего века. Грудь колесом, мощное дыхание, железное рукопожатие. Он выстоял на своей богатырской заставе. Выстоял!

Но человеческое сердце, даже самое здоровое, имеет свои пределы. Тем более сердце художника. Кстати, вспомним: кто из сильных поэтов не являлся обладателем легкоранимого сердца?!

Сердце Ильи Сельвинского приняло на себя чересчур много ударов.

Одни видели только его прошлое: глава

литературной школы, проблематик, спорщик, мастер острого пера. Другие видели его настоящим и не помнили его прошлого пути. А это был именно путь — со взлетами и падениями, поисками и находками, беспокойный путь современника и участника эпохи войн и революций.

Тигр, походка тигра, хватка тигра — это, конечно, образ, миф. В действительности же это был огромный человецище с добрым и нежным, отзывчивым сердцем. Оно было там, где бой, беда, боль. Сквозь это сердце прошли бури века, молнии времени, океанские штормы, волны Черного моря, возле которого он родился и которое так любил. В этом сердце всегда жили любовь, поэзия, дружба.

Созданное им огромно, воистину необозримо. Прожив на земле шестьдесят восемь с половиной лет, он оставил нам поэтическую летопись своей эпохи. Это: лирика, эпос, драма, критика, публицистика, педагогика. Первое собрание сочинений, подготовленное самим Ильей Сельвинским, составляет шесть томов. Всем мало-мальски знакомым с наследием поэта ясно, что этот шеститомник — едва ли не половина созданного им, а если включить его обширную и инте-

реснейшую переписку, то, вероятно, одна треть созданного.

Это был человек неистового трудолюбия. Он мыслил большими поэтическими циклами, огромными художественными ансамблями. Не покладая рук он решительно все делал один. У него выработалась широта движений зодчего и ваятеля, имеющего перед собой первозданную породу: степи, леса, скалы, горы. Он работал не в ателье, а под открытым небом. Он жил в поисках масштабного стиля эпохи. Он искал не только большое, но и малое, но это малое в его руках обретало масштабность. Не стакан воды он пил, а «стакан океана».

Его нет среди нас. Напрашивается мысль о подведении итогов. Но — нет, его наследие продолжает борьбу. Оно — воспаленное, беспокойное и беспокоящее, оно не может сейчас стать достоянием архивов и академических примечаний.

Дни мои только кануны,  
Время мое — в грядущем.

Настоящая поэзия — всегда современница новых поколений. У нее всегда большое будущее.

## Илья Сельвинский

### СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

Итак, родная, вот уж четверть века,  
Как мы с тобою за руки взялись,  
Чтобы идти дорогой в голубое.  
То «голубое» от тяжелых туч  
Бывало черным. От военных залпов  
Бывало желтым, сизым и багровым,  
Но... серым не бывало никогда.

Мы радовались, горевали, злились,  
Томились, тосковали, упивались,  
Блаженствовали, падали, ползли,  
Опять вставали и, хромя, шли

И снова спотыкались, но нигде —  
Не правда ли, родная? — не скучали.

Так четверть века прожита, как день!  
Я серебрист. Лицо мое в морщинах.  
Утратив молодое обаянье,  
Теперь бы я тебя уж не пленил.  
Но ты глядишь веселыми глазами  
Сквозь маску моего лица и видишь  
Меня таким, каким в твоей душе  
Я отражен при вспышке молний —  
навек.



# Николай Ушаков

## ИГОРЬ ЮРКОВ

Он жил<sup>1</sup> и писал стихи рядом с нами 40 лет назад, однако следы его влияний — и в наших поздних поэтических трудах.

Молодой — он погибал от туберкулеза; любя жизнь, но угасая, поддерживал себя тонкой своей усмешкой.

Лирическое начало у него в стихах сочеталось с иронией.

Описанный Иг. Юрковым Пушкин подтрунивал над собственным вдохновением:

«На холмах Грузии ночная мгла» —  
Он говорит — «легла и прочее...  
Но, знаете, денежные дела  
Мои запутаны очень».

Иг. Юрков писал о черемухе, о глядящих в глаза звездах и о той — уезжавшей и крикнувшей *прощай*, но кто была эта она — душа, голос, а может, только платье?

Он писал о любви и разлуке, о поре цветения и о смерти:

...Весна, опять весна.  
От мокрых фонарей, от жидких пятен света  
Коснеет страшная такая высота,  
Что вскрикнешь, хватисься и вспомнишь это —  
это.

А через стихотворение почти карикатура:

— Гражданин, вы умерли?  
— Не подумал даже.

<sup>1</sup> Игорь Владимирович Юрков родился в Ярославле 16 июля 1902 года. Писал с тринадцати лет. Систематически выступал в печати с 1920 года («Ашхабадская правда»). Демобилизовавшись из армии, приехал в Киев, где принимал участие в киевских литературных объединениях и печатался в местных изданиях, в том числе и в газете «Пролетарская правда» (нынешняя «Киевская правда»). Здесь начинали многие из нас — критики, поэты и прозаики, — И. Бачелис, Б. Розенцвейг, Л. Длигач, Е. Нежинцев, Дм. Урин, В. Охременко, Р. Скоморовский, И. Ямпольский, И. Халифман, П. Тур (П. Рыжей) и Б. Турганов.

Долго и трудно боролся поэт со своим тогда неизлечимым недугом, но не оставлял занятия поэзией до последней минуты.

Он умер 30 августа 1929 года под Киевом, в дачной Боярке.

За несколько дней до смерти в Киеве вышла книга Иг. Юркова «Стихотворения». Книгу надо переиздать, включив в нее все сохранившееся у родных и друзей поэта.

Казалось бы, соединение того, что трудно соединить. Две реки в одном русле — струя светлая и струя темная. Впрочем, стихи совершенно русские и традиция русская тоже — пушкинский чудесный зимний день и глухая российская улица Полонского:

В одной знакомой улице  
Я помню старый дом,  
С высокой, темной лестницей,  
С завешенным окном...

Там:

Как не по-детски пламенно,  
Прильнув к устам моим,  
Она дрожа шептала мне:  
«Послушай, убежим!..»

У Юркова та же высокая и темная лестница, та же попытка к бегству, здесь явно неудачная.

Как спускалась по лесенке ты,  
Хвать-похвать — кошелек позабыла.  
А ступеньки, как на грех, круты —  
Ни туда, ни обратно — могила!  
А навстречу тебе господин:  
Волчьи зубы, румянец из воску.  
— Я живу совершенно один,  
Говорит он, крутя папироску.  
Ты за сердце хватилась — куда.  
Не болит, не горит и не бьется.  
И увел он тебя в те года,  
Где живут, потому что живется.

Задолго до Вознесенского резкими штрихами набросан Юрковым шаржированный портрет старого мира:

А, пробора ниже,  
На пустом лице  
Усики торчат.

В таких шаржах ритм у Юркова становился отрывистой, приятность привычной мелодии нарушалась. Как бы передавая смятение уходящего старого, поэт ломал размер и обрывал строку. А может, было это предчувствием новой стихотворной системы с ее еще не познанной и не признанной новейшей гармонией. Пока же вновь и вновь торжествовала пушкинская ясная душа:

...Кончилось лето,  
Так кончается жизнь, а мне легко,  
Потому что много красок и света.  
Потому что небо не так высоко.

Однажды мы встретились с И. В. Юрковым в самом центре Москвы. Он стоял, как бы заблудившись в железном заторе моторных и прицежных трамвайных вагонов, пришедших с площади Революции и с Моховой, с Большой Дмитровки и с Лубянки, и в недоумении листал длинную и узкую, будто бы бухгалтерскую, книжку, где у него были записаны адреса московских редакций.

В Москве ему не везло, — может, не в те редакции или не к тем редакторам он попа-

дал, а может, чересчур сложны казались его стихи тогда — в уже наступавшие времена прямых высказываний, но мы — его земляки — учились у него подкреплять наши целеустремленные высказывания пересечением планов, при котором чувства извлекаются из вещей и вещи определяют настроение.

Удивительная судьба поэта — уйдя из жизни, вернуться в жизнь во всем обаянии своего мастерства, зовущего из мира сумеречного в яркий мир радостных красок.

## Игорь Юрков

### АРАБЕСКИ

Гончие лают,  
Шурша в листах.  
В гусарском домике  
Огни зажжены.  
Ты знаешь, Татьяна,  
Какой это прах —  
Наша любовь  
И наши сны.

Когда поют комары  
И в открытом окне  
Сырая ночь  
Осыпает листья,  
Скажи мне, Татьяна,  
Можно ли мне  
С тобою пить  
И жить «на ты»?

«Пустая и глупая шутка жизнь»,  
Но как она радует  
Меня.  
Скажите, гусары,  
И ты скажи —  
Где столько музыки  
И огня?

Наши товарищи  
Лермонтов и Фет  
Проиграли чорту  
Душу свою.

Я ведь, Татьяна,  
Последний поэт —  
Я не пишу,  
Я пою.

Гончие лают,  
Звенят бубенцы.  
Скоро пороша  
В сад упадет.  
Скоро, скоро выведут  
Молодцы  
Настоящие песни  
В свой народ.

Что ж я, товарищи,  
К чорту грусть!  
Бутылки полны  
И луна полна.  
Горячая кровь  
Бушует пусть —  
Нас еще слышит  
Наша страна.

Морозное небо  
Сквозь листья и кусты.  
Антоновским яблоком  
Луна в ветвях.  
Скажи нам, Татьяна,  
Что делала ты,  
Пока мы рубились  
На фронтах?

*Октябрь 1927 г.*

## ТЕНЬ РАССКАЗЫВАЕТ СКАЗКИ

На подушке полосатой  
Он поживает до зари.  
Тихо ходит тень горбатая,  
Сказки на ухо говорит.

А в окне огни летучие,  
Станция, снега, пути.  
Тяжело проходят тучи,  
Громко стрелочник свистит.

Ты не просыпайся, голубчик,  
По широкой, столбовой  
Пугачев идет в тулупчике  
Со своей обидой вековой.

За обиженных, униженных  
Кто заступится теперь?  
По лесам пустым и выжженным —  
Человек, сугроб и зверь.

У костра сидят поручики,  
Водку пьют, жить хотят —  
Молодцы, лихие купчики,  
Весь карательный отряд.

Ишь, расстреляно, развешано  
Сколько русских на виду.  
Сколько было неутешенных  
В девятнадцатом году.

Мы за правдой не гоняемся —  
Она сама идет, горда.  
Только мертвые валяются  
И голодают города.

На подушке полосатой  
Мне не спится до зари.  
Тень худая, тень горбатая  
Сказки на ухо говорит.

1928

## РУБЛЕВ

Иконописец! Дощечки белы,  
И вот ты фигурам даешь движенье.  
Как будто ветер чужой земли  
Коледлет деревья, одежды и тени.  
Как будто краски уходят вглубь,  
В зеленоватый сумрак пещеры,  
Но кисть, легко касаясь губ,  
Оживляет облик пустой и серый.  
Жест на иконе сломан и пуст,  
Но в этом жесте такая мука,  
Что летит пылинка одна без чувств  
На переломанные руки.  
И убогий пейзаж — его душа.  
Два дерева входят в состав печали.  
Он хочет выйти и подышать  
Тем воздухом, что мы дышали.  
Но огромен воздух наших полей

И наши краски буйны и остры,  
И наших длинных, жарких дней  
Жестоки веселые пиры.  
У нас что ни чувство — эхом вдали  
Ему отвечают чувства других,  
У нас ветер нашей земли  
Создан для здоровых и молодых.  
Впрочем, входи, лепечи пустые  
Слова об искусстве, о смерти, о том,  
Что надо жить в вечера такие  
Совсем иначе, чем мы живем.  
Он входит. С треском ломается икона,  
И у наших ног бьется в тоске,  
Задыхается рыба ветхого закона,  
Раздувая жабры на золотом песке.

1927

Публикация О. В. Ковалевской

# Валентин Португалов

## ЕГОР ОБОЛДУЕВ

Это поэтическое имя мало кому известно.

Родился Егор Николаевич Оболдуев 6 (19) мая 1898 года в Москве. С раннего детства очень полюбил музыку и учился играть на фортепьяно. В 1916 году, окончив гимназию, поступил на философский факультет Московского университета. Однако учиться там ему почти не довелось: вскоре после Октябрьской революции он вступает в народную милицию, а в 1919 году призывается в Красную Армию. Служа в 19-м тяжелом артдивизионе, он побывал на Украине и в Туркестане на фронтах гражданской войны.

После демобилизации Егор Николаевич работает в Госиздате в качестве заведующего хранилищем клише, потом в Партиздате и Профиздате — выпускающим, в газете «Гудок» — техническим редактором.

Стихи писать Егор Николаевич начал в 1919 году, но жизненно необходимой поэзия стала для него с 1922 года. Как раз в это время он познакомился с поэтами Иваном Аксеновым, Сергеем Бобровым и Иваном Рукавишниковым, оказавшими на него огромное влияние.

Учась, одновременно с работой, в Высшем Литературно-Художественном институте им. В. Я. Брюсова, Егор Николаевич сблизился с многими молодыми, начинающими тогда, литераторами: К. Андреевым, И. Пулькиным, Б. Лапиным, Ст. Злобиным, М. Поступальской, Е. Благиной и другими. В Хлебном переулке, в квартире Оболдуевых, всегда было полным-полно литературной, музыкальной и артистической молодежи, вечно кипели споры, читались стихи, звучали музыка и пение. А в центре всего этого — Егор Николаевич — поэт, остряк, музыкант. Вечера в Хлебном переулке и квартиру, где они происходили, так и называли «оболдуевкой» или «оболдуевщиной»...

В тридцатые годы Оболдуев живет в Карелии. Он работает дирижером и концертмейстером, группирует вокруг себя талантливую молодежь, ездит с концертными бригадами по районам, под псевдонимом «Ю. Бегаев» сотрудничает в местной газете.

Отечественная война. Фронт. Солдат Егор Оболдуев — разведчик в 336-м отдельном разведывательном противотанковом дивизионе.

В августе 1945 года Егор Николаевич демобилизуется.

В 1952 году у поэта обостряется гипертоническая болезнь, появившаяся как следствие тяжелой контузии, полученной на фронте. После двухлетней изнурительной болезни, 27 августа 1954 года, Е. Н. Оболдуев умер в Голицыне, под Москвой, где и похоронен.



В 1929 году в журнале «Новый мир» было опубликовано стихотворение Егора Оболдуева «Скачет босой жеребец» — одно-единственное из всего им написанного.

В чем же дело? Почему только одно?..

Причиной тому — невероятная, доходившая до самого смешного, застенчивость автора в делах, касающихся поэзии. Он стеснялся ходить по редакциям. Не единожды, дойдя со свертком своих стихов до дверей «Красной нови», «Нового мира» или «30 дней», он поворачивал обратно, в душе кляня себя за проклятую робость.

Зато переводил он много и квалифицированно. Им переведены на русский язык: вышедшая отдельной книгой поэма туркменского поэта Амана Кекилова «Любовь», две большие главы из «Всеобщей песни» Пабло Неруды, стихи грузинских поэтов — Григола Абашидзе, Ило Мосашвили, Иосифа Гришашвили, армянского поэта Геворка Эмина, белорусских и литовских поэтов. С особенной любовью работал он над переводами поэмы Адама Мицкевича «Гражина» и стихов из книги Шарля Де Костера «Тиль Уленшпигель».

Но главным делом своей жизни Егор Николаевич считал лирическую поэзию.

Стих Оболдуева замешен на самых лучших традициях русской поэзии. Фактура стиха мускулиста, лексика точна и богата. Образы ярки и своеобразны. Поэт разрабатывает свою собственную образную систему («Живописное обозрение»), свою собственную, ни на чью-либо другую не похожую, строфику («Я видел»).

Он всегда был в непрерывном творческом поиске.

## ОСЕННИЙ ЛЕС

Быть может, этот лес обычен  
На заячий иль птичий взгляд:  
Они живут с листвою в лад,  
И капли крупные брусничин  
Для них не чудеса таят.

Мне ж сквозь лепечущий осинник —  
Глубоководное, как дно, —  
Небес окно разведено,  
Где облака в объятых синих  
Бегут бесшумно, как в кино.

За тишиной древесной клади  
Таится земляная тишь:  
Ты дышишь ей, в нее глядишь...  
И пойман вдруг, в привыкшем взгляде,  
Грибной, испуганный малыш.

В ветвях продета шкурка лисья,  
И воздух терпкий, как вино,  
Висит с закатом заодно...  
И аметистовые листья  
Летят бесшумно, как в кино.

*Декабрь 1947 г.*

## СВЕТ И ТЬМА

Этот день был пригож и весеннь:  
Распускался, сверкая все искристей...  
Тенью ль жизни из памяти выскрести  
Леса благоуханную тень?

Как бессмертно пищали птенцы!  
Как деревья шуршали доверчиво!  
Как всю жизнь провело под уздцы  
От рассвета до позднего вечера!

Вслед ему наступившая ночь  
Я не думал, что будет соперницей,  
Я не подозревал, что подвергнется  
Размноженью красы во всю мочь.

Что там делалось! В сон уроня  
Контрапункты прищуренных путаниц,

Все подробности бывшего дня  
Будто лунным туманом окутались.

Будто брали стесненно займы,  
Будто в чем извинялись застенчиво,  
Заслоня травинками птенчиков  
От живой бесценности тьмы.

Вся рожденная светом весна —  
В трепетаньи, в сверканьи и в высвисте  
Повторялась в безмолвном неистовстве  
На луну наведенного сна.

А теперь, когда близится тьма,  
Свет ложится все ниже, все косвенней.  
Придвигаются пасмурно к осени  
Жизни бестолочь и кутерьма.

*Июль 1947 г.*

## НАСЕЧКИ

Как ствол до гибели доносит  
Болячки закорузлых букв,  
Так и во мне пустоголосит  
Насечек чуждый давний звук.

Чье горе бережно хранит он,  
Чье счастье нежно бережет,  
Притягивая, как магнитом,  
Сок сформированных пород?

Когда гармония живая  
Встает глубоко, не спеша,  
Спокойно преодолевая  
Все, чем топорщится душа,

Тот звук свое находит место,  
Он вдруг становится моим,  
С насечкой своего насеста  
Ничем другим не заменим.

И, как серебряные блюда  
Под бегом яблок наливных,  
Чужие жизни перельются  
В мой жадный и горячий стих.

Имей я силу чародея,  
Я б на себя весь мир навел:  
Пусть насекает, не жалея,  
Моей души могучий ствол.

*Декабрь 1947 г.*

# Ксения Некрасова

## АВТОБИОГРАФИЯ

Родилась в 1912 году.

Родных своих не помню. Взята была из приюта семьей учителя на воспитание.

В 1929 году окончила семилетку.

Два года училась в Пед. техникуме. Остаток по состоянию здоровья.

Через год (в 1932 году) поступила культ. работницей на Уральский завод тяжелого машиностроения.

В начале 1935 года Свердловский обком ВЛКСМ дал мне направление в Москву для лечения и ходатайство о приеме меня в Литературный институт, после лечения.

Стихи начала писать давно, лет с восьми.

Печатать начали в 1937 году.

5/IX 38 г.

К. Некрасова

## УКРАИНКА

Черным мрамором  
В солнечных лучах  
Горят твои, украинка, глаза  
В ветвях ресниц.  
И губы чувственно,  
Как красный лист  
Осин,  
Дрожат, смеясь.  
Ручьем журчит,  
Ручьем звенит  
Средь улиц,  
Средь полей,  
И, как осенний яркий день,  
Рубаха белая на ней,  
Вся в вышивках, горит.  
А рукава что облака.  
Заря в холстину  
Луч вткала.  
Заря умыла ей лицо,  
Луною вытерто оно.  
Вокруг тебя поля лежат,  
Холмами горизонт,  
И хаты утками сидят

Среди оранжевых садов.  
Что скалы, — в небо уперлись  
Пирамидальные тополя,  
И бьются, как прибой, кусты,  
Дробится, пенится листва  
У тополиных ног.  
И вот красавица моя  
Вдоль улицы идет,  
Ногами босыми пылит  
По колее дорог.  
И деды старые,  
Как древние курганы,  
Нагорбились у белых хат,  
И ветер тихо шевелит  
Ковыль серебряных седин  
И лист желтеющих калин.  
Уж ночь, как черное рядно,  
Покрыла пышно село,  
И песня медью зазвенела  
В мое открытое окно.

с. Балахлава,  
октябрь 1936 г.

## ОГНИ

Горностаевый вечер —  
он накинул на серые плечи  
снежную шкуру  
с хвостами снежинок...  
Все как в детстве.  
Но я уже не буду  
от стекол отцарапывать льдинок,  
и, калачиком ноги, сидеть на окне,  
нос расплоснув в стекло.

За спиной в темноте  
тени виснут в углах,  
и, как баба-яга,  
надо мною топорщится страх.  
Из сугробов ползет тишина,  
заползает в трубу,  
и из печки глядит в темноту на меня  
слепая ее башка.  
Ровно в девять с шахт гудели гудки,

из-за белых готических елей  
появлялись черные тени  
и в сугробах играли вдгонки  
золотые от ламп огоньки.  
Да, огни...  
Вот уже мне двадцать три!  
И девчонка, и мысли ее  
убежали назад...  
А огни, как и прежде,  
каждый вечер горят и горят.  
И как вам сказать,

когда ночью глухой  
я увижу огонь?  
Горностаевый вечер, —  
он накинул на серые плечи  
снежную шкуру  
с хвостами снежинок.  
Все как в детстве...  
Но девчонка и мысли ее  
убежали назад...  
А огни вот горят и горят.

1936

## ДЕВУШКА МОЕГО ВРЕМЕНИ

Девушка!  
Я не знаю тебя живую  
И не видела твоих, как солнце,  
Дерзких глаз.  
Ведь фотографий  
Мало для знакомства.  
Правда, летчица?  
Я знаю,  
Что крики сухопарых строк  
Тоже не по вкусу вам  
И не для вас.  
И вот таким-то,  
Измочаленным языком  
Пишут  
О гонках,  
О продаже ломбардных  
вещей  
И о вашей улыбке,  
Что шумит, как береза  
В веселом вихре,  
Вздыбленная к облакам.

Да разве газетные строки  
Нужны для сердца,  
Чтоб передать людям  
Музыку ваших дум,  
Таких высоких,  
Как огромные звезды вселенной,  
И здоровых,  
Как сенокосный луг.  
Мне, право,  
Немножко завидно:  
Вы были птицей,  
С крыльями,  
Как у настоящих орлов.  
А я...  
Ну что ж,  
У меня есть стихи,  
И я хочу стать поэтом,  
Чтобы так же, как вы,  
Над землей взлететь.  
*Бобрин-Донской,  
17 августа 1935 г.*

## ИЗ ДЕТСТВА

Я полоскала небо в речке,  
И на новой лыковой веревке  
Развесила небо сушиться.  
А потом мы овечьи шубы  
С отцовской спины надели,  
И сели  
в телегу  
И с плугом  
Поехали в поле сеять.

Один ноги свесил с телеги  
И взбалтывал воздух, как сливки,  
А глаза другого глазели  
В таежные щели.  
А колеса на оси,  
Как петушки очи, вертелись.  
Ну, а я посреди телеги  
Как в деревянной сказке сидела.  
1948

## ОТДЫХ

Вчера был вечер.  
И небо синее,  
Как папиросная бумага,  
Натянутое на обруч горизонта,  
На яблоневиый снежный цвет  
Бросало тень.

Ах, эти яблони в цвету  
У белых хат...  
Их ветви в лепестках  
Напоминают мне Урал,  
Засыпанный сугробами,  
Увязнувший в снегах.

Да, был вечер.  
Без слов, без звуков.

Лежала дума на челе  
Спокойной тишины.  
О чем?

Не надо слов.  
Имей большое сердце,  
И ты поймешь величие полей,  
Величие земли.

Вчера был вечер,  
Косились в стороны  
Из окон огоньки,  
Как слезы ребяташек,  
Роняли ветви наземь  
Свои вишневые цветы.

*Май 1935 г.*



Из года в год  
хожу я по земле,  
И за зимой зима  
проходит под ногами,  
И день за днем гляжу на снег,  
И наглядеться не могу снегами...  
Вот и сейчас  
На черностволье лип  
Снег синий молнией возник.

О, сердце у людей, живущих здесь,  
Должно оно любезным быть  
От этих зим.  
Прозрачным быть оно должно  
И совесть белую, как снег,  
Нести в себе.

Шел белый снег  
На белые поляны,  
И молнии мерцали на ветвях...

## Лев Славин

### МУЖЕСТВО БОРИСА ЛАПИНА

Борис Лапин хорошо известен как прозаик. Книги его — «Повесть о стране Памир», «Тихоокеанский дневник», «Дальневосточные рассказы» (в соавторстве с З. Хацревиным), «Подвиг» — неоднократно издавались и полюбились широкому читателю.

Но только в тесном кругу литераторов старшего поколения известно, что Б. Лапин был и поэтом.

Три стихотворения, публикуемые здесь, далеко не дают представления о его поэзии — глубокой и оригинальной.

В Отечественную войну нас раскидало по разным фронтам. Но мне случилось быть с Борей в тридцать девятом году на Халхин-Голском фронте. Там я не раз имел случай убедиться в его спокойном и ровном мужестве. Не такова ли его поэзия!

В последний раз мы увиделись с ним в августе сорок первого года, когда редакция «Красной звезды» вызвала со всех фронтов своих корреспондентов, чтобы дать им новые инструкции. Ночью мы с Борей стояли на крыше девятиэтажного дома в Лаврушинском переулке, и после фронтовых испытаний это дежурство во время бомбежки казалось нам заслуженным отдыхом.

Краткое пребывание в Москве Борис использовал, между прочим, и для того, чтобы записать свои стихи прежних лет. До тех пор они хранились только в его памяти. Но вдруг

он решил собрать их на бумаге. Откуда это «вдруг»?

Испугался ли он, что попадет в положение героя бальзаковского рассказа «Неведомый шедевр», которого маниакально-одержимая работа над формой привела к обесмысливанию самого произведения?

Или Лапин решил закрепить свои стихи на бумаге, потому что память так хрупка, да и мало ли что может случиться с их автором! Не забудем, то были тревожные дни сорок первого года.

Так появился рукописный сборник, тонкий альбом в кожаном переплете с медной застегжкой, единственное хранилище поэзии Бориса Лапина. Сам он не вернулся. Как и его друг, Захар Хацревин, он погиб на фронте под Борисполем, городом, который совпал с его именем.

В немногие дни нашего последнего свидания Борис Матвеевич сказал мне, что хочет писать поэму. А мы-то, друзья его, полагали, что он отошел от стихов. На самом деле он не переставал писать их. Оказалось, что среди них есть прекрасные вещи. Но Лапин не опубликовывал их, стремясь еще к большему совершенству. Да, он не вмещался в одной прозе. В сущности, поэзия всегда прославала его прозу. Но сам он считал, что его стихи не более чем обещания.

Сейчас мы видим, что они не только обещания, но и свершения.

## Борис Лапин

### САМАРКАНД

Ночь горит огнем. Уплывает сад.  
Молодой соловей кричит.  
Путник всходит на холм, не глядя назад,  
И за ним его тень бежит.  
И бежит вдали, слыша чей-то крик,  
И за ней еще тень ползет —  
Это черный куст, как немой старик,  
Беспокойный холм стережет.  
Путник снова свернул. Вот горят огни.

Он идет по своим следам,  
Спотыкаясь о каменных кладбищ пни  
И гробницы помойных ям.  
Кто его зовет? Или сонный царь  
Снова встал из былых высот?  
Иль ждет его роковая сталь  
Там, где есть в пути поворот?  
Нет, не ждет его ни чужая сталь,  
Ни крутая о друге весть,  
Ни домашний страх, ни любовь, ни ложь,  
Ни отчаяние, ни месть.  
Это всё, что может лежать в суме,  
Что блестит на храме звезды,  
Что бело в земле и черно в сурьме  
И течет сквозь поток воды.

### ПОСТУПЬ КОНЯ

Внизу повисли купы звезд,  
В янтарь оделась бирюза,  
Дрожит над бездной чуткий мост.  
Будь осторожен, как слеза,  
Повисшая на реснице.

По камню сполз в кустах арчи  
Закат Восточной Бухары,  
И за рекою басмачи  
Кошмами кутают костры,  
Но кто ты, одинокий?

Ты должен спать, припав к земле,  
На тюфяке одной из рук  
И слышать, как в холодной мгле  
Скрывается и цвет и звук.  
(И разве ты существуешь?)

Ты, может быть, один из тех,  
Кто скрылся от дневных лучей,  
Кто говорит без слов и вех  
На языке баранчачей  
Под свист железной сабли.

И может статься, кровь бежит  
На твой мохнатый малахай,  
И может статься, ты — джигит,  
Навеки потерявший рай,  
Погибнув под штыками.

И может статься, ты — обман,  
Ты — только эхо среди гор,  
Бегущее в сырой туман  
Под черствыми ножами шпор,  
И это мой ступает конь.

### СЕСТРА УБИТОГО КОМИССАРА

Заплакала, поцеловала  
Портрет, не видный в темноте,  
Лицо горящее прижала  
К шершавой каменной плите.  
Прозрачным светом, пылью звездной  
Кавказ дымился за горой.  
Из виноградников морозной  
Тянуло ночью и сырой.

Так ты, Баку, горишь над морем  
У темных низких берегов,  
Суровым скованное горем  
В огне домов, в тени холмов.

1923

*Публикация И. И. Эрбурга*

## Марина Цветаева

Сборник «Юношеские стихи», подготовленный Цветаевой к печати в 1919 году, не увидел света по не зависящим от поэта внутрилитературным обстоятельствам. И тем не менее, говоря о своих книгах, Цветаева неизменно указывала: «Юношеские стихи. 1912—1916» (фактически в сборник входят стихи с весны 1913 года по 31 декабря 1915 года). Такое постоянство не может быть случайным, очевидно, Цветаева придавала особенное значение этой книге, считала ее каким-то из своих этапов. Так оно и есть на самом деле. «Юношеские стихи» — третья по счету книга Цветаевой — оказались как бы переходом от полудетского романтизма ее первых сборников «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912) к страстной, яростной, подчас трагической романтике зрелой Цветаевой.

Ощущения стремительности, ветра, бьющего в лицо, чувства легкости и свободы преобладают в «Юношеских стихах». И даже стихи о смерти, которых много в этом сборнике — значительно больше, чем в последующие годы у Цветаевой, — не придают книге мрачности. Много думая о смерти, Цветаева, по молодости, еще как будто не очень верит в ее реальность, воспринимает смерть как нечто, может быть, и неизбежное, но очень далекое.

Однако в «Юношеских стихах» прорываются уже и трагические мотивы, определившие дальнейшее творчество поэта.

Один из машинописных экземпляров «Юношеских стихов» принадлежит автору этих строк. Он буквально испещрен неповторимым цветаевским почерком: Цветаевой приходилось не столько править текст, сколько обводить слепую, плохо читающуюся печать. Ведь шел девятнадцатый год, и бумага и качество машинописи оставляли желать лучшего. Некоторые из стихотворений прямо написаны Цветаевой от руки. На автографе стихов «Солнцем жилки налиты — не кровью...» сделана позднейшая притиска поэта — в день объявления войны: «Из Юношеских стихов, нигде не напечатанных. МЦ. Москва, 22-го июня 1941 г.».

Некоторые из «Юношеских стихов» вошли в однотомник М. Цветаевой, изданный «Библиотекой поэта». Публикуемые ниже стихи печатаются впервые.

В. ШВЕЙЦЕР

### ИЗ КНИГИ «ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ»



Солнцем жилки налиты — не  
кровью —

На руке, коричневой уже.  
Я одна с моей большой любовью  
К собственной моей душе.

Жду кузнечика, считаю до ста,  
Стебелек срываю и жую...  
— Странно чувствовать так сильно и  
так просто  
Мимолетность жизни — и свою!

15 мая 1913 г.

С. Э.

Я с вызовом ношу его кольцо.  
— Да, в вечности — жена, не на  
бумаге.—

Его чрезмерно узкое лицо  
Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,  
Мучительно-великолепны брови.  
В его лице трагически слились  
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.  
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —

Под крыльями распахнутых бровей —  
Две бездны.

В его лице я рыцарству верна,  
— Всем вам, кто жил и умирал  
без страху.—  
Такие — в роковые времена —  
Слагают стансы — и идут на плаху.

*Коктебель*  
3 июня 1914 г.



Над Феодосией угас  
Навеки этот день весенний,  
И всюду удлиняет тени  
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,  
Иду одна, без всякой мысли,  
И опустились и повисли  
Две тоненьких мои руки.

Иду вдоль генуэзских стен,  
Встречая ветра поцелуи,

И платья шелковые струи  
Колеблются вокруг колен.

И скромн ободок кольца,  
И трогательно мал и жалок  
Букет из нескольких фиалок  
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,  
В тоске вечерней и весенней.  
И вечер удлиняет тени,  
И безнадежность ищет слов.

*Феодосия*  
14 февраля 1914 г.

ИЗ ЦИКЛА «ПОДРУГА»

1

Сегодня таяло, сегодня  
Я простояла у окна.  
Взгляд отрезвленной, грудь  
свободней,  
Опять умиротворена.

Не знаю, почему. Должно быть,  
Устала попросту душа,  
И как-то не хотелось трогать  
Мятежного карандаша.

Так простояла я — в тумане —  
Далекая добру и злу,  
Тихонько пальцем барабаня  
По чуть звящему стеклу.

Душой не лучше и не хуже,  
Чем первый встречный — этот вот, —  
Чем перламутровые лужи,  
Где расплескался небосвод,

Чем пролетающая птица  
И попросту бегущий пес.  
И даже нищая певица  
Меня не довела до слез.

Забвенья милое искусство  
Душой усвоено уже.  
Какое-то большое чувство  
Сегодня таяло в душе.

24 октября 1914 г.

2

Все глаза под солнцем — жгучи,  
День не равен дню.  
Говорю тебе на случай,  
Если изменю:

Чьи б ни целовала губы  
Я в любовный час,  
Черной полночью кому бы  
Страшно ни клялась,—

3

Есть имена, как душистые цветы,  
И взгляды есть, как пляшущее пламя...  
Есть темные извилистые рты,  
С глубокими и влажными углами.

Есть женщины.— Их волосы, как шлем.  
Их веер пахнет гибелью и тонко.  
Им тридцать лет.— Зачем тебе, зачем  
Моя душа спартанского ребенка?

*Вознесение, 1915 г.*

Жить, как мать велит ребенку,  
Как цветочек цвести,  
Никогда ни в чью сторонку  
Глазом не повесть...

Видишь крестик кипарисный?  
— Он тебе знаком! —  
Все проснется — только свистни  
Под моим окном.

*22 февраля 1915 г.*

4

Вспомните: всех голов мне дороже  
Волосок один с моей головы,  
И идите себе... — Вы тоже,  
И Вы тоже, и Вы.

Разлюбите меня, все разлюбите!  
Стерегите не меня поутру!  
Чтобы могла я спокойно выйти  
Постоять на ветру.

*6 мая 1915 г.*



Даны мне были и голос любый,  
И восхитительный выгиб лба.  
Судьба меня целовала в губы,  
Учила первенствовать Судьба.

Устам платила я щедрой данью,  
Я розы сыпала на гроба...  
Но на бегу меня тяжелой дланью  
Схватила за волосы Судьба!

*Петербург  
31 декабря 1915 г.*



Что видят они? — Пальто  
На юношеской фигуре.  
Никто не узнал, никто,  
Что полы его, как буря.

Остер, как мои лета,  
Мой шаг молодой и четкий.  
И вся моя правота  
Вот в этой моей походке.

А я ухожу навек  
И думаю: день весенний  
Запомнит мой бег — и бег  
Моей сумасшедшей тени.

Весь воздух такая лесь,  
Что я быстроту удвою.  
Нет ветра, но ветер есть  
Над этою головою!

Летит за крыльцом крыльцо,  
Весь мир пролетает сбоку.  
Я знаю свое лицо.  
Сегодня оно жестоко.

Как птицы полночной крик,  
Пронзителен бег летучий.  
Я чувствую: в этот миг  
Мой лоб рассекает — тучи!  
*Вознесение, 1915 г.*

## АННЕ АХМАТОВОЙ

Узкий, нерусский стан —  
Над фолиантами.  
Шаль из турецких стран  
Пала, как мантия.

Вас передашь одной  
Ломанной черной линией.  
Холод — в весельи, зной —  
В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь — озноб,  
И завершится — чем она?

Облачный — темен — лоб  
Юного демона.

Каждого из земных  
Вам заиграть — безделица!  
И безоружный стих  
В сердце нам целится.

В утренний сонный час, —  
Кажется, четверть пятого, —  
Я полюбила Вас,  
Анна Ахматова.

*11 февраля 1915 г.  
Публикация В. Швейцер*

## Константин Поздняев

### ИВАН РОГОВ

Иван Михайлович Рогов родился в 1913 году в деревне Леонтьево Горбатовского уезда Нижегородской губернии, погиб в боях за Родину на Смоленщине в июле 1942 года.

Он был моим другом с начала тридцатых годов до последних дней его жизни: мы вместе работали в горьковской комсомольской газете «Ленинская смена»; вместе в декабре 1934 года были направлены из Горького в Малеевку на Первые Всесоюзные курсы комсомольских писателей; вместе, хотя и на разных курсах, учились на литфаке Горьковского педагогического института.

Я всегда поражался тому, что он, выходец из многодетной деревенской семьи, где, в подлинном смысле этих слов, было «семеро по лавкам», сын крестьянки, которая до последних дней своей жизни так и не постигла грамоту, уже в свои двадцать — двадцать два года обладал широкими познаниями в области литературы, особенно поэзии, отменным художественным вкусом, удивительной целеустремленностью и упорством в самообразовании, в поэтическом самоусовершенствовании.

Иван Рогов был талантлив и как поэт очень самобытен. Это единодушное мнение всех, кто его знал, а знали его и такие его «однокашники» по малеевским курсам, как Борис Ручьев, Аркадий Кулешов, Микола Нагнибеда, Анатолий Софронов, Микола Упеник, Мирвари Дильбази, Товшан Эсенова, Эди Огнецвет...

При жизни Рогов печатался преимущественно в коллективных сборниках горьковских писателей и в областной периодике. Через 23 года после гибели поэта вышел сборник стихов Ивана Рогова «Письма друзьям».

Всех, кто хочет подробнее познакомиться с жизнью и творчеством Ивана Рогова, я отсылаю к этой отлично составленной и любовно оформленной книге.

Предлагаемые вниманию читателей «Дня поэзии» стихи «Далекой девчонке» и «Разрыв» были напечатаны в 1934 году в литературно-художественном журнале «Натиск» (гор. Горький). В книгу «Письма друзьям» эти стихи не попали потому, что журнал «Натиск» является библиографической редкостью и они просто на его страницах «затерялись».

## ДАЛЕКОЙ ДЕВЧОНКЕ

Это все с годами опадет  
На кривую грустную усмешку.  
И растают, как весенний лед,  
Наши встречи, клятвы и измены.  
Выхожу. Пошумливает март,  
Омывая звезды в чистых лужах.  
Наклонилась зимние дома,  
Прослезясь от выжданного счастья.  
В это время, где-то далеко  
Ты лелеешь наше обещанье.  
Я его скреплял своей строкой,  
А теперь и март, и ночь.  
И я  
Прохожу, как в позабытом сне,  
Заслоняя наше обещанье,  
Девушка протягивает мне  
Длинный взгляд и маленькую руку.

И в ответ ей покачнулся я,  
Кровь метнулась, и забыло сердце,  
Что другая, клятву затая,  
Дождается конца разлуки.  
Будь же так. А я, я за беду,  
Жгучую, что долго не встречалась,  
Опечалю каждую звезду,  
Может, не последнюю печалью.  
Разрешите мне в песнях сохранить —  
Всю тебя до кружева на юбке.  
До поры, когда вот эти дни  
Упадут на грустную улыбку.  
В это верь! А в остальное — нет.  
Я сломал тяжелую поруку:  
Девушка протягивает мне  
Длинный взгляд и маленькую руку.

1934

## РАЗРЫВ

Заря в огородах над нашим пряслом  
Тысячу раз взлетала и гасла.  
Друзья засыпали и вновь вставали,  
Яблони отряхивались и расцветали.

А мы все бродили с тобой, бродили.  
Ломали орешник, мяли цветы.  
О чем-то вполголоса говорили,  
Сшибали росинки с сучков, и ты  
Манила, звала меня под Кипрово  
Уйти на заветные бугорки.

Шли. Рука об руку. Ни слова.  
Дрожью несло от твоей руки.

Подруги завидовали, не смея,  
Бабы предсказывали у дверей...  
Меня оплетали и жгли, как змеи,  
Каленые косы с твоих плечей.

Шла перед нами, как жизнь большая,  
Мечта в ослепительной голубизне.  
Я припадал к тебе, все прощая.  
И думалось: больше не надо мне.

Я буду в буранах надеждой греться,  
Любовь проносить сквозь ласки

вьюг.

Да, это надо высказать.  
Б. Пастернак

А наши клятвы, как в честном  
детстве,  
Лучшими песнями обовью.  
Чего же мне больше?

Пастух над  
нами  
Последнюю зорю кнутом рассёк.  
Ты, вострепенувшись, взмахнув  
бровями,  
Пропала.

Забыть бы, забыть бы всё!

Долго ль ты будешь мне сниться,  
стерва?  
Где твои клятвы? От встречи первой  
Остались верны, прижились со мной  
Открытки с печалью и бред ночной.

А ты вот никак не поймешь.

На свете  
По-разному, видно, смеяться нам.  
Платки твои мне не нужны, а эти,  
Что были у сердца, — рву пополам.

1934

# Валентин Португалов

## ПОЭТ ИЗ ПОДМОСКОВНОЙ ДЕРЕВНИ – ИВАН ПУЛЬКИН

Весна,  
    когда зелень полянок  
Убрана, будто стол в колхозной,  
Чисто вымытой и просторной,  
Пахнувшей смолою избе,—  
У нас такая веселая,  
Что, право, похожа на девушку,  
Идущую за водой.  
Идет она прямо, как ветка  
Убранной в пушок бредины,  
Позванивая порожним,  
Жажущим влаги ведром...

Добротой, человеческим теплом и ясной простотой веет от этих строк. Простотой истинного искусства.

Строки эти написаны поэтом, имя которого пока еще мало известно нашему читателю.

Звали его — Иван, по фамилии — Пулькин. Сам он частенько смеялся: «Почитай, что — Пушкин...»

...Иван Иванович Пулькин родился в деревне Шишково, Яропольской волости, Волоколамского уезда, Московской губернии, в 1903 году.

Не получив, по сути дела, никакого образования (церковноприходская школа), он был человеком большой культуры, носителем огромных знаний в области литературы, русского фольклора, истории и этнографии. И с очень раннего времени он сочинял стихи.

Прочитайте то, что опубликовано здесь, и вас удивит сочность и глубокая народность языка И. Пулькина. Такому не научишься ни в какой академии, ибо язык входит в человека вместе с молоком матери, вместе с воздухом родных мест. Так он вошел и в Ивана. Мать его, Авдотья Яковлевна, знала бесчисленное количество сказок и песен, а отец, Иван Никитич, в разговоре так и сыпал поговорками, присловьями и прибаутками. Видно, отсюда-то и влился в стихи поэта Пулькина язык его отцов и дедов — потомственных русских крестьян.

...Ивана Пулькина вырастил и ввел в поэзию Комсомол. Поэтому неудивительно, что лирическая нить его поэзии теснейшим образом переплетается с темами общественного звучания. Поэт и Гражданин в его творчестве неразделимы. Особенно ярко это ощущается в поэмах: «Северолес», «Верея», «Яропольская волость», «Александра Смирнова», «Кружилиха», «Вокруг своей оси», «Москва», в сатирической поэме «Житие Иосифа Волоколамского».

Шли двадцатые, тридцатые годы. Росла и строилась страна. Ветер времени гудел в лесах новостроек. Ветер времени врвался в стихи молодых советских поэтов, в стихи Ивана Пулькина:

...Круша нагроможденья гранитов и кремней,  
Искрясь, блистая, звеня,  
Мчится ветер времени,  
Обвеивая меня!  
Глуша болтовни обывательской звон,  
Кипеньем наполнена всклень,  
Клубясь рокошет река времен,  
На самый гребень кипучих волн  
Вздымая сегодняшней день!

...1936 год. Угроза фашизма становится все ответственней. С сердечной болью ощущает это поэт. Боль немецкого народа — это и его боль. В поэме «Ночь повествует» он говорит:

...Если Германия четыре года  
Под каблуком фашистов,—  
Это мою Родину душит  
Свастикообразный паук!  
Если Тельман в тюрьме томится  
И чья-то сестра рыдает,—  
Это отца моего фашисты  
Готовятся расстрелять!  
Если топор и плаха  
На перекрестках Берлина  
Стали гербом и знаменем  
Гитлеровской державы,—  
Это значит — и моя шея  
Бледнеет под топором!

... . . . . .  
Что делать мне с моим сердцем,  
С моими большими руками,  
Если по всему миру  
Кипит огневая боль;  
Если на моем теле,  
На всем необъятном теле  
Места нет без ожога  
Или без штыковых ран?

...В первые же месяцы войны поэт-патриот Иван Пулькин встал в ряды действующей армии. Иного и быть не могло.

Он погиб, защищая Родину, в декабре 1941 года.

...При жизни у Ивана Пулькина не было своей книги.

Второе рождение поэта произошло в 1965 году, когда, после почти двадцатипятилетне-

го перерыва, было опубликовано несколько его стихотворений.

Однако, к сожалению, рукописи поэта еще не собраны, да и большая часть того, что найдено, пока еще не напечатана.

Хочется надеяться, что в самое ближайшее время будет издана книга стихов и поэм талантливого русского поэта Ивана Пулькина, который всей своей жизнью и всем своим творчеством заслужил право встать перед советским читателем во весь рост,

## Иван Пулькин

### РЫБАЛКА

(Глава из поэмы «Луга»)

Выйду за ворота,  
Посмотрю далёко,  
Далекó-далёко —  
На луга-болота...  
Где луга-болота —  
Озеро глубóко!..  
В этом во озере  
Живет рыба-щука,  
Живет рыба-щука —  
Бéлая-белáя,  
Бéлая-белáя,  
Где ж моя милáя?  
Моя расхорошая  
По бережку хóдила, —  
По бережку хóдила, —  
Неводочек нóсила...  
Первый раз закинула,  
Ничего не вынула...  
Ничего не вынула,  
Второй раз закинула...  
Второй раз закинула,  
Много грязи вынула,  
Много грязи вынула —  
Еще раз закинула.  
В третий раз закинула,  
Карасика вынула...  
Окунек, окунек,  
Золотая рыбка,

Выйду ль я на реченьку,  
Погляжу на быстрюю...

*Песня*

Чешуйчатое серебро реки трепещет  
В моих руках, отражаясь в глазах  
Огненно-рыжего, щедрого солнца,  
Переливаясь и источая прохладу.

*«Сказки реки»*

Окунулась, перевернулась —  
Показалось глыбко...

Я был на том озере

С бредешкóм,  
Обходил и облазил пешком  
По песочку  
Низочком,  
Тишком  
По кусточкам...

Точка...

Далекó-далёко Сазóнов Бугор, —  
Лужки, перелески, лесочки...  
Он смотрит в упор  
На меня,  
Из глаз моей памяти.  
И его взор  
Уводит меня в глубины  
Подпочвенного бытия,  
В область памяти глухой и богатой,  
Как бор:  
Земляником,  
Мхами,  
Птицами,  
Ягодой.

Лежит бочагом,  
Перерезан пушистой и пыльной дорогой, —  
Опоясан кустами,  
Дорогой моей памяти детский узор  
Из воды,  
Облаков, отраженных глубоким и чистым  
песочком,

Из лугов,  
Из песков золотистых и нежных,  
Что зелены и плавны...

Точка...

На крутом берегу —  
Наша ставка —  
Шалаш...  
Словно братья-разбойники,  
С топором, у костра  
я и братья:  
Сергей, —  
Словно грачи,  
Говорлив и неповоротлив;  
Николай,  
Чья речная походка вразвалку  
Прошла сквозь Прошало́во ночью...

Мы сидим у костра,  
Перечувствовав ливень,  
Неводочек разостлан  
По бе́режку,  
Еще травы мокры  
И деревья блестят серебром, отражающим  
солнце...

Мы брели в непролазной трущобе,  
Где листы лопухов  
Лопоухих,  
Ушами слоновьими  
Заклеили глянец воды, —  
Их протяжные стебли  
Тянулись до самого дна,  
Где вязались узлами  
Огромных и грубых,  
На канаты похожих, корней...

Если с берега  
Рыбкою,  
Вниз головой...  
И когда легкий обруч воды  
Над головою сомкнется,  
Вдруг откроешь глаза,  
То, в зеленом пространстве,  
Туманном, как ранний рассвет,  
Ты увидишь зари  
Розоватые отблески  
На чешуйках соробы,  
На глазках плотвы;

Розово-алый,  
Полосатый как тигр,  
Горбатый, щетинистый окунь  
Глянет прямо в глаза тебе  
Немигающим  
Ласковым взглядом.  
Робких рыбок  
Крылатая стайка  
Стайкой школьников  
Ринется врассыпную —  
И нет их!

У кустов,  
Где подмыт  
Глинобитный  
Обрывистый берег,  
Ютятся налимы;  
У осок,  
Где вода как процежена, —  
Щуки;  
В лопухах —  
Караси и лини;  
На быра́х,  
Где по доньшку выслан  
Узорчатый камень,  
Окуней разбитные стада  
И задорных ершей...

Мы тянули  
Сквозь травы,  
Сквозь воду, густую,  
Как наваристый борщ,  
Неводок,  
Горловиной...  
Уж рыбешка плескалась в мотнё.  
А конец  
Обещал нам богатый улов,  
Когда звонкой стрелою  
Через горлышко озера  
Мчащийся уж  
Пересек нам дорогу...  
Рыбаки — кто куда!  
Крылья невода всплыли  
И, словно подбитые  
Ястреба крылья,  
Тихо и мертво повисли...  
Нет охотников в воду соваться,  
Если в ней,  
В такой близкой,  
Прохладной и милой, — гадюки!..  
Неводок мы выуживали потём,  
А на ужин  
Рыбачили рядом, —  
В бочажке — карасей...

Хорошо отдыхать вечерами  
Вдалеке от поселков и сёл,

Когда ближе чем за пять  
Верст даже дымом не пахнет!..

Луговина мокра от росы,  
А в кустарниках птицы  
Щебечут, непохожие на денных,  
В голосах их какая-то тихая грусть.  
Плачет вальдшнеп,  
Да выпь  
Где-то ухаёт изредка  
Бархатным басом...

Далеко над Кузьевом  
Тихое зарево песни,  
В Телешове,  
В Харла́мхе — тоже поют...  
Догораёт костер.  
Время спать, —  
Завтра утром, чем свет,  
Николай по жерлицам пойдёт,  
А часов с девяти,  
Позабывши вчерашние страхи,  
Снова с неводом в воду, —  
Не с пустыми ж руками  
Домой возвращаться!

А пока  
Я, почти засыпая,  
К сказкам ночи прислушиваюсь...  
Хорошо — шепчет лес,

Хорошо —  
Тихо травы лепечут...  
Костер догорает...

Наши реки не блещут  
Глубиной, —  
Наши щуки —  
Не крупней чем в три фунта...

Я спросил у реки:  
— Ну, а если  
Щука вырастет на три аршина,  
Что тогда?  
— А тогда мы ей купим колеса.  
Без колес  
Ей у нас не прожить,  
По пескам ей ползком  
Не пробраться, —  
Вот она на колесах  
И покатится  
Словно автобус  
По пескам, перекатам  
И отмелям.

Костер  
Догорел.  
Время спать...  
Я уже засыпаю.

1935—1936

## ДЕРЕВЕНСКИЙ РЕПЕРТУАР

(Глава из поэмы «Яропольская волость»)

Все мы песни пирипели,  
Про кумарика ни спели...  
*Песня в яропольской  
транскрипции*

Ишь ты,  
Сыростью с полей  
Потянуло. Темно...  
Наступает на земле,  
Певчая, густая ночь...

Зноем полдня опая,  
Солнце за горы скатилось, —  
Отдыхают тополя,  
Спит в сухих хлевах скотина —  
Жвачку сонную жуя.  
В мир небытия не веря,  
Бык, дарами бытия  
Насладившись в полной мере,  
Слушая петушье пенье,  
Погружается в забвеньё.

Кот на крыше, — тише, мыши, —  
Уши вóстро, хвост трубой...  
Поле равномерно дышит  
Сном и влагой голубой.  
Пахнет клеввером и медом,  
Небо плавно, рожь густа,  
Сельский сторож — лысый Федор  
В колотушку стукать стал.  
Кромка зорьки ўже... ўже...  
Семьи собрались за ужин.

У-ух ты, как заливаются,  
Воздух накаливая,  
Что называется,

Запузыривают, вваливают:  
— Наши вужинать садятся,  
Сумлеваются об нас:  
Где-то буйные головушки  
Шатаются у нас.  
— Ванька, выходи на вулицу.  
— Чичас,  
Только повужинаю.

Одиннадцатый час...  
Вьюжливая  
Гармонь ухнула как из пушки.  
Резко перебирая ножками,  
Вкалывала частушки  
Онька Барабошкина  
На пару с Настей,  
Пляшет как на смерть.  
— Родила ль меня мать,  
Под пятницу —  
Веселую, гулливую,  
Ребятницу.

От Суворова, важно, будто на клиросе,  
На глас осьмый,  
Выпевают «Коробочку» выученики  
Козьмы

Регента.  
— Смилуйся,  
Ронная мать,  
Пожалей дочку, —  
Не пуцай гулять  
На всю ночку.  
Рожь-лебеда,  
Погулять не беда.  
Мораль — оторви да брось...  
А впрочем, пугаться нечего, —  
Наши девушки ни в чем не замечены.  
Да и ваши тоже, небось...

А парфеньковских-то ребят  
Издали можно узнать:  
— В саду девка гуляла,  
И кукушка куковала,  
Сидя на сухом суку:  
Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку.  
Поют ниже, выше ли, —  
Не удивишь, слышали.

А вот и новости  
Из Буйгородской волости:  
— А ты в светлице  
сохнешь... —  
Льются давидовские...

Такие ли, бывало, певались.  
Вздохнешь да охнешь —  
Куда это песни девались?

Время на покой,  
Пора...  
Летом, когда заря зарю за хвост ловит,  
У девушек закон такой,  
Что лучше не прекословить —  
Резонно о вещах  
Судят:  
увы, как милый ни красив,  
Но если поутру косить,  
Прости-прощай...

Накануне еще отбиты косы, отточены  
Лопаточками на пряжках.  
Осьмаки разбиты... Очинно  
Приятно покосить, особенно первую  
упряжку.

Вникаешь в характер косы, —  
Иная с норовом.  
Любо хватить в охотку росы —  
Сердце обжигает — здорово!

Солнышком в окошко прозвенела коса...  
Кутаясь в сонное тепло,  
Собираются будущие косцы на сходку.  
Даже председатель сам  
Вышел с остатками сна на ресницах.  
Торжественно звучит апломб  
Дельщиков, ходко  
Распределяющих участки (а хорошо  
спится

На утренней заре).  
— На два осьмака отрез  
У Лисеевны, да на Песках  
На осьмак... Лебнцовский скат,  
Мордыли, полдни  
На всех, а если мало, дополнить  
На Макаркине — от плеча...  
— Довольно кричать,  
Начинай жеребьевку.  
Меж двух пальцев зажат картуз,  
Глаза внимательны, как железо, —  
Прыгают жеребья, что ртуть...  
— Косынка — резвый,  
Лысый — второй,  
Храпы —  
Третий.

— Храпы с травой! —  
Перебивает Митрофан, — зависть  
Мучает...

— Крюки — зálezь.  
— Крюкáми самая лучшая —  
Ни вымочки, ни потравы.  
Не торопясь пошел —  
По местам!  
— Дюжа хороши травы.  
— Не прорежешь.  
— Не свалишь.

Диагоналями пересечен луг, от резвого,  
По зálezь...  
Порхают платочки,  
Курчавятся волосы,  
До самой рощи размежеваны полосы, —  
С кочки на кочку  
Брод. По росе дорожка.  
— Пореже.  
— Аль невдомек,  
Паренек,  
Пошагистей, — пятки подрежу.

Два прокóсья под свал,  
Пора поточить, пожалуй...  
— Эк отполосовал!  
Взвизгивает брусок по жалу  
Косы.  
Коса жалуетса:  
— Травы поем — зубы притуплю,  
Пески хвачу — снова вывостряю.

Журавлями старики  
До реки  
Вытянулись. У иного размах,  
Будто перед ним дубняк —  
роща,  
Двухвершковóй и толще.  
— Малыш, чего обмяк?  
Звóнок в селе,  
Звони и на лугу,  
Косьё-то согнул в дугу,  
А ты его пусти повеселё, —  
Чтобы в руках  
Пело!

Вежливо обхаживают кустики,  
Пеньки  
Дотошные до точки  
Бородачи...  
— Иван, поточи  
Косу, все жало  
Вывернула...  
— Ах ты, какая жалость,  
Вывернулась  
Из-под ног утица,  
Жирна, как боров...

Восток мўтитса  
Струйками зноя.  
— Этак скоро  
И по домам...

Но пока еще трава хоть выжми,  
Косы остры, словно глаза вон тех  
Девушек, что бредут от брода,  
Пока жаворонок не звенит еще,  
Силы еще не вышли...

В этакóй-то влажной густоте  
Ногам легко, будто по́ небу идут  
обходом.

То ли солнце, то ли девушки  
румянцем щек  
Обогревают стариков, —  
Идут прямо, будто выше  
Стали,  
Легко  
Дышат,  
Будто и не устали,  
Будто полсотни лет скостили  
Со счету,  
Будто только и делали, что косили  
Десятины без счету.  
Такого не свалишь с ног,  
Хоть волосы на снегах белились.  
Взмах...

И уперлись в венóк.  
Дальше еще не делили.

От рубах пар —  
Соль выступила.  
Косы на́ плечи вскинуты.  
У девушек полураскрыты губы:  
— Поцелуй, милый. —  
Бабы попарно,  
По старине  
(Запоют, так наплачешься).  
Мужики в стороне,  
Махоркой попыхивая...

Покачиваясь, будто и не тверёзые,  
Затягивают бабы:  
— Что ж ты, моя лучинушка  
березовая,  
Не ясно горишь — горишь  
не вспыхиваешь...  
И про свекровь, и про деверя, — все  
хороши.



— Я, невзгода.  
— Я, чужое горе.  
— Я, тоска.  
— И я, людская грусть...  
Терем тесен.  
Все печали в сборе.  
В сердце у поэта  
плачет Русь.

Думаешь, поэта  
в самом деле  
застрелил Мартынов  
на дуэли?  
Думаешь, поэт обыкновенно  
умер от чахотки,  
взрезал вены?  
Сказки и легенды  
прошлых лет!

На Кавказе,  
в Лиссе,  
за Уралом  
от разрыва сердца  
умирал он —  
милостью народною поэт.

В сердце он беду  
вместить не мог.  
Сердце, сердце!  
Терем-теремок!

И теперь  
поэты умирают.  
Радость, что ли,  
сердце разрывает?

## Михаил Зорин

### РУССКОЙ ПЕСНИ ЗАПЕВАЛА

В стихотворении «Алексей Фатьянов» Ярослав Смеляков назвал его запевалой русской песни и ее мастеровым.

И в самом деле, корни творчества А. Фатьянова надобно искать в русской народной песне. Он любил сюжеты старинных народных песен, знал их множество наизусть, читал или напевал, наслаждаясь музыкой слов. Он считал, что в мире есть два бессмертных поэта — народ и природа.



Лето 1942 года.

Мы часто встречались с Алешей, и он говорил:

— Тяжелое время, но вот меня в это тяжелое время тянет писать лирику. О любви к земле, к девушке, оставленной воином, о тоске по родному дому. Не утратили же люди эти чувства? И хочется писать что-то шутовское. Ведь если наши бойцы умеют шутить сейчас, значит, они не унывают, верят в победу...

И вот Фатьянов принес к нам в редакцию стихотворение «На солнечной поляночке».

— Ну что ты скажешь, — говорили литературные противники Фатьянова. — О чем он пишет? И когда — сейчас, сегодня...

Лето 1942 года...

Тяжелейшие бои в районе Харькова и на Дону, оставленные города, жертвы, потери, трагедия Керчи, величие и горе Севастополя.

Шестая германская армия Паулюса, оставляя на своем пути кровавый след, рвется к Волге.

А тут стихи:

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь,  
Парнишка на тальяночке  
Играет про любовь...

Стихотворение дали читать всем работникам редакции. И конечно, некоторые подвергли его резкой критике.

— Сейчас нужен гнев Эренбурга, страсть Симонова, мужество Суркова. Сейчас нужны такие стихи, как «Убей его», а он пишет черт знает что и несет в военную газету...

Потом стихотворение подвергли литературной критике. Тут Фатьянову досталось на

орехи. И банальные рифмы, и сюжет примитивный, и легкомысленное бодрчество, схожее с пошлостью... Словом, споры разгорелись. Один из поэтов не то серьезно, не то шутя заявил:

— Попробуйте напечатать эту «солнечную поляночку», я члену Военного совета буду жаловаться...

Тогда, в 1942 году, текст казался некоторым сотрудникам нашей газеты просто кощунственным.

Редактор вызвал Фатьянова. Он сказал ему, что думают, что говорят об этом стихотворении в редакции.

Алексей не мог доказывать, не мог защищаться, не мог логично убеждать. Он цитировал Симонова, Светлова, Уткина и производил одну и ту же фразу:

— Но любовь осталась и в войну, и стала даже сильней...

— Даже сильней, — согласился редактор. И приказал напечатать.

Стихотворение «На солнечной поляночке» было опубликовано на второй странице, завершенное среди корреспонденций о тяжелых боях на фронте. И этот контраст настроений был так явно выражен, что сразу казался диким, нелепым бурно-шутливый тон фатьяновского стихотворения рядом с горькими сообщениями, что наши войска оставляют города, что гитлеровцы совершают злодейские преступления, что враг приближается к Волге.

А может быть, это было не так? Может быть, мы поступили правильно, опубликовав незатейливые, но искренние, лирические фатьяновские строки о любви именно в такие, тяжелейшие для нашей Родины дни — летом 1942 года.

Правда, так об этом думается сейчас, но тогда, на редакционной летучке, Фатьянова крыли всюду:

«Нет глубоких чувств...»

«Цыганщина...»

«Бездумная любовь...»

Конечно, были и защитники этого стихотворения. Они доказывали, что сейчас, во время войны, чувство любви обострилось, в сердцах живет тревога и боль за близких, все мелочное, обыденное отошло, есть только возвышенное, благородное и чистое чувство любви, которое поэты призваны воспевать и сейчас, ибо личная любовь, ощущение сердечной близости двух человек — это сегодня не узкий мир двоих, разлученных войной. Это уже любовь к Родине, которую защищает лю-

бимый, к отчому дому, к роще, где встречались... А что за любовь без доброй шутки, без душевного мягкого юмора, за которыми застенчиво прячутся настоящие большие чувства. Это и есть жизнь, за которую надо бороться...



В 1943 году Василий Павлович Соловьев-Седой написал музыку на слова этого фатьяновского стихотворения.

И песню запели...

В войсках, на концертах выдающихся советских певцов, в цехах оборонных заводов, в школах, в госпиталях, на фронтовых дорогах, в эшелонах, идущих в действующую армию.

Песню запела вся армия, вся страна. Она звучала в эфире, ноты и текст публиковались в центральных, фронтовых, армейских, дивизионных газетах. Несмотря на военное время, музыкальное издательство (Музгиз) выпустило эту песню в свет большим тиражом. Мы снова напечатали в газете текст и ноты под рубрикой: «Запевалы, песню!»

«На солнечной поляночке» взяли на вооружение все ансамбли армии и флота, и прежде всего красноармейский ансамбль под руководством А. В. Александрова.

Фатьянов как будто притих от восторга:

— Надо в ножки поклониться Василию Павловичу. Берет слово — обыкновенное, привычное — и начинает к нему присматриваться, начинает его пробовать на звук, и глядишь, слышишь — звенит. Ты и сам не думал не гадал, что в нем такие звуки гаятся...

А песня волновала людей искренне и сильно.

Литературные противники Алексея Фатьянова успех песни объясняли так:

— Все сделала музыка...

Я не собираюсь полемизировать по этому поводу, — конечно, музыка понесла ее на крыльях, но я часто слышал, как в войну эту песню пели бойцы, не знавшие фамилий авторов текста и музыки. Просто говорили гармонисту:

— Давай «поляночку»...

И пели...

Поют четверть века...



Летом тысяча девятьсот сорок шестого года я очень жалел, что Алексея Фатьянова не было со мной в лагере военнопленных японских солдат.

Японские солдаты разгромленной грозной Квантунской армии в лагере военнопленных вели себя тихо и дисциплинированно. Были они почти все небольшого роста, узкоплечие, в неуклюжих широких шинелях, в солдатских ботинках или сапогах. Вечером солдаты дали концерт, в котором приняли участие акробаты, фокусники, драматический коллектив, певцы, музыканты. Концерт изобилов сценками древнего японского быта: сбор риса, ловля рыбы, провожание японского крестьянина в город. Но вот неожиданно, к моему удивлению, раздалась мелодия песни «Соловьи». Японские солдаты, взявшись за руки и покачиваясь в такт музыкальному ритму, вдруг запели одну из самых популярных песен Фатьянова и Соловьева-Седого. У певцов — их было пять японских солдат — лица светились печальной торжественностью. Пели тихо, проникновенно, с каким-то придыханием, грустно улыбаясь сидящим в зале.

— Кто перевел текст? — спросил я у нашего офицера.

— Японские солдаты...

В лагере транслировали советские песни по внутреннему радио, и вот, услышав «Соловьи», японцы попросили перевести им текст песни. Сохранив фатьяновский сюжет, они переложили текст по-своему, без рифм, и в их песне говорилось, что скоро, очень скоро наступит такой день, когда все солдаты мира будут слушать только пение птиц, а не грохот пушек.

Они пели эту песню, возвращаясь с работы, в часы досуга, и, вероятно, увезли ее с собой на родину. Кто знает, возможно, и сейчас поют ее бывшие военнопленные или их дети (в Японии песни и стихи бережно сохраняются в семье и передаются по наследству), сохраняя память о России.

## Сергей Смирнов

### АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ

Широкоскулый и широкоплечий парень ходил по институтскому двору, по Тверскому бульвару, размахивал правой рукой и разговаривал не то с Москвой, не то с небом, не то сам с собою. Так искал свои ритмы и на ходу писал стихи Александр Шевцов.

Среди поэтов довоенной поры он внешне выглядел мрачноватым. Я не помню его смеющимся, но, странное дело, когда он без тени улыбки, буквально «на полном серьезе» читал свои стихи, слушатели смеялись и аплодировали остроумию его строк, восхищались их афористичностью, прицельной меткостью, политической одухотворенностью почти каждого стихотворения.

Вот он, большой и сильный, в чем-то схожий с молодым Маяковским, так, по крайней мере, казалось мне, громко и властно выступает с эстрады, иронизируя над мелкотравчатостью любовных тем, решаемых его сверстниками:

...Зина моя!  
Рая моя! —  
Где ты?  
И — я без тебя  
  в тоске.

И тут же противопоставляет своему мнимому соратнику острейшие злободневные, общественно значимые строки:

А за морями  
  висит,  
Абиссиния                        раздираемая,  
На волоске.

Не знаю, сохранилось ли это стихотворение целиком. Но я однажды слышал его из уст самого автора и на десятилетия запомнил броские строки, хотя и не ручаюсь за точность каждого слова, цитируемого мною по памяти.

Александр Шевцов, несомненно, наследовал поэтический опыт Владимира Маяковского, его партийную огненность и образность, но и тогда он уже обретал и обрел свой собственный голос, и даже первая книга стихов Шевцова так и называлась: «Голос».

Очень рано оборвалась жизнь этого поэта-самородка. Но его друзья, его товарищи по поэтическому цеху и все любители подлинно поэтического слова хранят в сердцах образ этого российского парня. Он был одержимым творчески и для многих из нас поныне держит равнение на поэтические высоты. Молодой, сильный, звонкоголосый Александр Шевцов.

# Александр Шевцов

## ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Понимая в мире слабо  
Этих дней большой полет,  
Несознательная баба  
Две селедки продает.  
Просит мало она,  
Много ль,  
Я не знаю,  
Я сердит.  
Николай Василич Гоголь  
Супротив нее сидит.  
Он сидит, не зная дрожи,  
Не волнуясь,  
Не дыша.  
Эта баба —  
Это что же?  
Это мертвая душа.  
Это просто вроде груза,  
Как иные говорят...

Восемь членов профсоюза  
У товарища сидят.  
И кричит он им:  
«Бригада,  
Сотоварищи мои!  
Больше спайки!  
Скоро надо  
Отражать  
В боях бои.  
Это скоро, —  
Враг наводит  
Пулеметы на завод.  
Над страной  
Война восходит,  
Там,  
Где солнечный восход.  
Больше силы!  
Больше спайки!»  
(И стоят, теряя страх,  
Две домашние хозяйки  
Два часа, как на часах.)  
И кричит он:  
«Скоро в поле  
Будет ветер,  
Бой и бред!»  
И кричит он:  
«Выпьем, что ли,  
За поход  
Больших побед!  
За поход,  
Что в мире света  
Образует полосу.

Ты за это,  
Он за это —  
Я закуску принесу!»  
И ушел,  
Сбив шапку набок...

На углу, отгладив лед,  
Несознательная баба  
Две селедки продает.

На планете мимо пашен  
И во все ее концы  
Ходят наши и не наши,  
Ходят дети и отцы,  
Ходят ветры, и мы еле  
Их улавливаем свист.  
На помятой на постели  
Просыпается фашист.  
И лежит (ему не спится)...  
Он готов  
За пятилетку  
Мне  
Свинцовую синицу  
Посадить  
В грудную клетку.

Он готов, но это хуже  
Для него лишь.  
Я в ночи,  
Растерзав на клочья лужи,  
Прохожу.  
Летят лучи  
Фонарей.  
Бежит аллея...  
Пробежала...  
Темен вид...  
Красный мрамор Мавзолея  
Посреди земли стоит.

Сон шагает по квартирам.  
Город грозен.  
Город глух.  
Звезды падают над миром  
В виде точки,  
В виде двух,  
В виде белых,  
В виде алых,  
Оставляя серый след  
Над страной  
Больших и малых  
Сотрясений  
И побед.

## КРЕСТЫ

Было тихо  
На квартире,  
У ворот,  
У серых стен...  
Я писал  
Часа четыре,  
Но ложились  
На листе  
Строчки скучно  
И не ново,  
И стихи  
Теряли вес.  
И, подняв  
Перо сурово,  
Я на них  
Поставил крест.  
Не писалось...  
Грусть большая...

И, теряя  
Серый след,  
Шел в ботинках,  
Размышляя,  
Обыватель  
Средних лет.

Изменился пейзажи,  
Лето прятало  
Концы,  
И уж свежие  
В продаже  
Исчезали огурцы  
На прилавках.

Были бойки  
Ветры осени  
У нас,  
Только ты  
На тихой койке  
Неожиданно погас.  
Тяжело...

А надо б петь,  
Петь и не тужить.  
Мы родились умереть,  
Умереть, чтоб жить.  
И пускай истлеют кости,  
Коль процесс начат.

Три лопаты на погосте  
Медленно стучат.  
Ветерок летит мгновенный  
И тоску таит,

Тут же  
Крест  
Обыкновенный,  
Над могилою стоит  
Понагнувшись.  
(Вспомни снова,  
Как над рядом  
Лишних мест  
Я занес  
Перо сурово,  
На стихи  
Поставив крест.)  
Так и тут —  
И тучи висли,  
Так и тут —  
И кровь горит,  
Так и тут —  
В таком же смысле  
На могиле  
Крест стоит.  
Его плотник  
Сбил уездный,  
Уронив  
Беспечный свист,  
И прибил  
К нему железный  
Доброкачественный лист,  
На котором  
И с опаской,  
И по выдумке родных  
Написал  
Зеленой краской  
Нижеследующий стих:

«Снова горе,  
Снова стон,  
Плачьте все  
Навзрыд:  
Здесь  
Глубоко  
Под крестом  
Мещанин зарыт!  
Спи, отец,  
И по совету,  
Чтобы  
Скуку оградить,  
На могилу  
Будет эту  
Твой сыночек  
Приходить».

И действительно:  
В тревоге

Выполняя  
«Сей обет»,  
Шел в ботинках  
По дороге  
Обыватель  
Средних лет.  
Шел...

Покачивался еле  
Веток  
Серый полукруг.

По-иному на постели  
Ты скончался,  
Технорук.  
И лежишь,  
Растратив силы  
На великие бои,  
И проводят до могилы  
Гроб  
Соратники твои.

Ты болел,  
И ты метался,  
Мало пил  
И мало ел.  
Ты погиб,  
И ты остался  
В сочетаньи  
Наших дел.  
Ты ушел  
От нас героем.  
На работе догорев.  
Завтра мы тебя  
Зароем  
Под волнующий напев,  
Завтра мы...  
Но слезы бросьте.  
Слезы —  
У девчат.

Три лопаты на погосте  
Медленно стучат.

## МИР

Уж на клумбах клуба  
Падали цветы,  
А я стоял (у дуба  
Средней высоты)  
С топором. На холоде.  
На повестке дня  
Бронзовые желуди  
Падали, звеня,  
В силу всем известного  
Правила, и вот  
Из колхоза местного  
Ехал ряд подвод.  
И мелькали  
Спицы,  
И мелькали спины,  
И летали  
Птицы  
В порядке дисциплины,  
И высились преграды  
Выше нас и ниже.  
Стреляли с баррикады  
Рабочие в Париже,  
И шли полисмены,  
И сочилась вновь  
Из австрийской Вены  
Безработных кровь,  
И проходила хроника,  
И смеялись дети,  
И несли покойника,  
И поднимался ветер,

Не жалея свиста,  
И под нашим небом  
Четыре тракториста  
Закусывали хлебом,  
И после пели грубо —  
И девки польщены.

А я стоял у дуба  
Средней толщины.  
И лежали сонные  
Травы и река,  
И демисезонные  
Плыли облака.  
И у нас, и в Азии,  
И за валом вал  
Во всем многообразии  
Мира  
Проплывал  
Век  
С его борьбою,  
Где ощутим напор  
Жизни.

Над собою  
Поднял я топор,  
И дуб  
Взмахнул руками  
Ветвей,  
И зазвенел...  
И рос он тут веками,

И гнил,  
И зеленел,  
И солнце безнаказанно  
Заслонял собой.  
И вот срубить приказано  
Его в колхозе.

Бой  
Начался.  
Но крепок  
Дуб,  
И тяжело мне  
Под обстрелом щепок  
Быть.  
Но в тишине  
Уж подносят пилы  
Друзья  
Путями нив,  
И свалим дуб мы,  
Силы  
В одно соединив.  
Свалим...

И в тревоге  
Я ощущал страну...  
И мир,  
И две дороги,  
И силу,  
И войну,  
Где под песни  
Веские,  
Выждав до поры,  
Пронесут советские  
Годы топоры.  
И дуб веков наклонится,  
И треснет  
От натуги.  
И пилы  
Уж готовятся  
В городе Калуге,  
И в Париже-городе,  
И в Москве, и в Туле...

Бронзовые желуди  
Падают,  
Как пули.

## Вероника Тушнова



В темных соснах замолчали птицы,  
почернела на реке вода...  
Надо бы как следует проститься, —  
уж теперь-то это навсегда.  
Я просила у тебя немного,  
жаль, что ты не услышал меня, —  
в трудную, далекую дорогу  
отпустил без хлеба и огня.  
Ничего.  
Наверно, так и надо, —  
не считать оставшихся минут.  
Встанет солнце — вечная отрада,  
запутаться — люди не дадут.  
Ты себя, пожалуйста, не мучай,  
я сегодня очень далеко...

Друг мой добрый,  
друг мой самый лучший,  
как тебя обманывать легко!

◆ ◆ ◆

Знаю я бессильное мученье  
над пустой тетрадкою в тиши,  
знаю мысли ясное свеченье,  
звучную наполненность души.  
Знаю также быта неполадки,  
повседневной жизни маету,  
я хожу в продажи и палатки,  
суп варю, стираю, пол мету...  
Все-таки живется высоко мне.  
Очень я тебя благодарю,  
что не в тягость мне земные корни,  
что как праздник  
        праздную зарю,  
что утрами с пеньем флейты льется  
в жбан водопроводная вода,

рыжий веник светится как солнце,  
рдеют в печке чудо-города.  
От стакана  
радуги осколки  
мотыльками выются по стене,  
все — от сковородки до иголки —  
в службе верной присягает мне.  
Длится волшебство не иссякая,  
повинуются мне  
ветер, дым,  
пламя, снег и даже сны,  
пока я  
заклинаю именем твоим.

◆ ◆ ◆

Дремлет стужа, сок из веток выжав,  
в чашах спят, умаявшись, ветра.  
Хочешь, завтра в лес пойдем на лыжах?  
Хочешь, выйдем из дому с утра,  
в час, когда еще нельзя взглядеться  
в нерассветший дымчатый простор...  
Мы заглянем по дороге в детство,  
на опушке разведем костер,

станем греться рядом, на снегу...  
Ты не говори мне:  
«Не могу».  
Ты не вздумай намекать на старость, —  
слова нет такого в словаре...  
Если вправду мало жить осталось,  
надо выйти раньше...  
на заре...

*Публикация Н. Розинской*

## Лев Аннинский

### ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ МАКАРОВЕ

Публикуемые здесь отзывы А. Н. Макарова на произведения поэтов предназначались не для печати, а для издательского рабочего употребления. Не причисывая и не приглашая этих рецензий (лишь некоторые частности сократив в них), мы представляем их вниманию читателей в той непосредственной форме, которая позволяет судить о многом. О том, как критик читает поэзию. О том, как он участвует в ее деловом развитии. О том, наконец, *какой* это критик.

Над гробом А. Н. Макарова было сказано, что он один из немногих современных критиков, которые заслуживают издания их работ не в пестрых сборниках и не в пре-

ходящих отдельных книжках, а собранием сочинений. Это значит: есть не просто десятки заслуживающих чтения печатных листов, но урок творческого пути, имеющего смысл именно как целое. Точно: А. Макаров интересен не просто многими работами, которые, естественно, будут откорректированы временем. Он интересен своею судьбой, своею личностью. Случай не частый.

Вообще говоря, грань между тем, что выносится людям (для всех), и тем, что переживается внутренне (для себя), существует во всех искусствах и во всех жанрах творчества. Для публики пишут немножко не так, как для себя, — эта рознь драматична, избежать ее нельзя, но избегать надо. Это спор-

но, но для меня беззащитность черновика даже ценней всезащитности издания, прошедшего семь вод, — но, чтобы была эта ценность, в каждой, даже случайной строчке должна чувствоваться правда данного существования. Пусть спорного. Говорю об этом, чтобы объяснить, чем близок мне был А. Н. Макаров как критик. У него грань между «для себя» и «для всех» была нерезка. Он *хотел* быть одним — для себя и для всех. Поэтому то, что он писал «для себя», можно печатать без причисывания. Поэтому то, что он писал «для всех» (то есть в журналах и книгах), обладало неуловимой и бесценной прелестью личного присутствия.

Годы его активной работы в литературе не были временем райской идиллии. Он писал о главном, писал о спорном, он чувствовал направление страстей и обладал чутьем попадать в нерв всеобщей дискуссии. Естественно, с ним много спорили, и слева, так сказать, и справа. Но перечтите эти споры с ним: споря, его оппоненты не смеют перейти некую грань благородства; *его* никто не решался отлучать даже в те моменты, когда отлучать друг друга можно было за здорово живешь. Видно, правы англичане: на плохие манеры надо отвечать хорошими, — и воздастся. А. Н. Макаров бывал гневен. Но злобен, зол, озлобен — никогда. Он отстаивал то, что любил. Но не толкался локтями и не тыкал пальцами.

Он написал очень много. Словно почувствовал, что судьба отмерила ему пять десятков и не больше. Он писал о классиках и о современниках, о прозаиках и о поэтах (к поэтам влекла его всю жизнь потаенная приязнь). Твардовский и Симонов, Смеляков и Исаковский, Чехов и Бабель, Павел Васильев и Артем Веселый, Эдуардас Межелайтис и Демьян Бедный, Евтушенко и Липатов... От статей первых послевоенных лет, пронизанных военным духом, до последней книжки, посвященной молодым и похожей на завещание, от «Воспитания чувств», «Разговора по поводу» до «Серьезной жизни», которая нас, не воевавших, ободрила в 1961 году, толкнула додумать себя, — выстраивается литературное наследие А. Макарова, вобравшее огромное количество фактов, имен, течений, мыслей, версий, споров, аргументов, эпизодов... и схваченное воедино личной судьбой. Он писал много и, кажется, все выбирался к главному — и главного не успел. И не *успел бы*, ибо главное, что вечно

мерещилось ему впереди, было в нем самом, — его беспокойство, его вечная встревоженность. В таких людях невозможно успокоение; мысль, что главное *уже* сделано, им запретна.

Макаров был человек военной эпохи. Из тех поколений, что в юности черпнули на всю жизнь маршей, и с ощущением «если завтра — война» дождались совершеннолетия, и вынесли потом на себе всю пятилетнюю тяжесть войны, и всю дальнейшую жизнь оставались солдатами. Макаров знал это в себе. «Для нашего поколения все оборвала война...» Не только «оборвала», — мог бы он добавить. Оборвала предисловия к жизни и начала самую жизнь — и навсегда определила. «В нашей стране почти нет людей без военных биографий», — писал А. Н. Макаров. Точнее сказать: он просто не принимал всерьез людей без военных биографий. Такая была эпоха: «строить, держа оружие под рукой». Стреляли люди, стреляли идеи. Человек не мог уйти от «великой битвы времени»; из бойцов строила себя эпоха. Сталь, железо и камень — вот ее стиль и ее материал. И еще — кровь, возбужденная, задорная кровь бойца. Поколение, вынесшее войну, выдвинуло разных художников. Были стальные, железные, каменные. И были — задорные, возбужденные, вечно подвижные, спешащие... Из этих, последних, — А. Макаров.

Не оценки, часто пронизательные, но часто и спорные, — его решающая сила. И не охват материала, сам по себе поразительный. Неповторима — макаровская интонация. Обертонь его голоса. Быстрый ритм его писательского дыхания. В нем — вся правда. Процитирую кусочек и выделю характерную фразу... только помните: это текст не прозаика и не поэта, но критика, — и вы почувствуете, что это был критик особенный:

«Как-то, когда на экранах демонстрировался фильм «Павел Корчагин», выходя из кино, я услышал реплику, брошенную каким-то юнцом: «Что же, партия не могла даже обуть их?» Поначалу меня взорвало. *Да, не могла!* Страна не могла еще как следует обуть и сытно накормить даже тех, кто строил Магнитку и Березникихмстрой! Молокосос, маменькин сынок, что ты смыслишь в тех далеких годах?! Однако парень по виду не стилига, одет без претензии... а кисти рук бугроватые... рабочие руки... По

всей видимости, молодой токарь, скорее всего, с соседнего завода. Да и интонация вопроса была не дерзкой, а робкой, недоумевающей...»

Раздумье о прежних и новых временах, навеянное этим эпизодом, прочтите сами в статье «Серьезная жизнь», — здесь я хочу лишь дать почувствовать секрет личной интонации А. Макарова, то, что делает живыми его строчки: мгновенный взрыв — и мгновенное же вглядывание в лицо собеседника, готовность понять его тоже, встать и на его место. Макаров не скрывает ни моментального импульса, ни собственной же реакции на импульс. Он весь тут. Он доверяет себе и поэтому доверяет своему оппоненту. Он видит человека в своем противнике, потому что дорожит человеком в самом себе. Это — не «прием критика». Это — тип существования.

Писатель, прошедший все огни, уготованные его поколению, к тому же вступивший в словесность через строгие ворота литературной критики, — Александр Макаров пронес через свою жизнь жажду контакта и понимания, чуткости и сочувствия; эти качества,

сохраненные им на этапах, когда нужней бывали, пожалуй, душевная сталь и железо доводов, и обусловили внутренний смысл его судьбы. Статьям же его обеспечили читателей. Оппонентам же его — то благородное чувство меры, которого пример он давал первый. Вкус и глубина, богатство аргументации и блеск письма — это у многих, да без этого и нет критики. Неповторимо макаровское, единственное и дорогое — биенье совестливого сердца под броней бойца.

Собранные здесь отзывы относятся к последним годам его жизни. До некоторой степени они характерны для современной ситуации в поэзии, с ее далеко пошедшей разработкой конкретных душевных сюжетов (и отделкой формы) и тревожным поиском всеобъясняющей идеи, которая оправдала бы прихотливое многообразие частных.

Оценки проходят, они — дело временное, а вот то, ради чего оценки, — душевное состояние личности автора — ценность непреходящая, абсолютная. И это лучшее, что оставил нам в своих работах Александр Николаевич Макаров.

## Александр Макаров

### СЕМЕН КИРСАНОВ. «ЗЕРКАЛА»

Поэма Кирсанова превосходна. Удивительный полет воображения, накал чувства и свойственное Кирсанову филигранное мастерство на этот раз образовали нерасторжимое единство, и, на мой взгляд, по своей поэтической заразительности эта «повесть в двух сценах» не уступает даже такой его вещи, как «Твоя поэма», будучи явлением более сложного, философского плана. Лирическое здесь так трогательно, так человечно, то же, что можно назвать философским началом в поэме, носит глубокий нравственный и мобилизующе-боевой характер. Этический пафос поэмы, вобравшей в себя конкретные

памятные всем и волнующие каждого большие явления действительности, — этот пафос как нельзя лучше выражает и соответствует общественным настроениям, настрою души современника.

Подзаголовок «повесть в двух сценах» мне показался случайным и грубым. И дело не в том, что, в сущности, никаких двух сцен нет, скорее два плана, а в том, что самое слово «сцена» уже что-то неискреннее, театральное, искусственное. А может быть, «повесть в двух отражениях», поскольку зеркала?!

**ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА.**  
**«ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ». СТИХИ**

Существует безошибочный критерий поэтических достоинств книжки стихов. Если после того как книга прочтена, вам захотелось продлить очарование и вы начинаете перелистывать ее вновь, — вы можете с полным основанием сказать, что перед вами подлинная поэзия. Перелистывая вновь и вновь сборник «Вечерний день», я пожалел, что это пока еще рукопись и я не могу стать ее обладателем, чтобы и впредь возвращаться к этим стихам по первому зову сердца. Больше я, пожалуй, ничего путного не могу сказать, ибо трудно в презренной прозе объяснить, в чем же состоят самые достоинства. Тут лучше было бы просто цитировать стихи, но цитировать пришлось бы слишком много.

Голос Веры Звягинцевой негромок, но это голос поэта, и с годами он становится как-то все душевней, глубинней. «Вечерний день», настроению которого так отвечает тютчевский эпиграф, покоряет неувядающей остротой восприятия, высоким душевным ладом, сердечной добротой.

Стихи ею не пишутся, они рождаются непроизвольно, и строка «я пишу, как дышу» отнюдь не фраза. И в том, что «дышит-то она воздухом века», поэт тоже права; как ни интимны, казалось бы, ее признания, как ни личны душевные побуждения — все это лицо советского человека, и радость, и боль, и грусть таковы, что найдут отзыв в сердце современника. И какая заразительная радость бытия пронизывает стихи! Пожалуй, правы Мечников и Тютчев: с возрастом приходит к человеку душевное равновесие, неистребимый оптимизм и «в сердце не скудеет нежность». Творчество Веры Звягинцевой покоится на трех китах: человечность, душевная чистота и благородство чувства, — а это киты устойчивые, и от ее книги отрадой повеяло на сердце.

Перехожу к чисто деловым, частным замечаниям.

Стихотворением «Вечерний свет» я не открывал бы сборника. Его разухабистый ритм как-то не гармонирует с содержанием. Да и мрачновато оно для начала. В то же время мне было бы жалко расстаться с ним, в нем отличные образные находки. Но лучше в середине. Предпоследняя строфа корявовата, а строки «не берет меня усталость», «обер-

нулся вечер днем» без нужды залихватские. И уж очень старомодно: «видеть адом жизнь иль раем». Нельзя ли поближе к образному мышлению молодого современника? Ведь основной потребитель стихов — юность! У Веры Звягинцевой изредка попадаются сравнения устаревшие, и лучше бы от них вообще освободить книгу. «Видеть адом жизнь иль раем» — это не только старомодно, но и жестокоромансно. А открыл бы я сборник превосходным и очень точно выразившим натуру поэта стихотворением «Порою спросит кто-нибудь...» (стр. 76) — лирическим шедевром в полном смысле этого слова.

Стр. 5 — «...в час агонии» — не слишком ли, даже если ради рифмы. Здесь та самая краснота фразы, против которой Вера сражается в предыдущем стихотворении. В час агонии ничто не поможет. Это стихотворение немножко литературное.

Стр. 6 «Октябрь». Увы, неудачное, хотя есть отличные строфы в начале, но начиная с «по радио звучал» все как-то измельчало. «Бог живущих — труд»? — это что-то из 20-х годов. А нельзя ли сразу после четвертой строфы последнюю? Ведь недоговоренностью иной раз скажешь куда больше, чем уточнением.

Стр. 10 «Преодоление» — я бы преодолел желание включить его в книжку. Тут опять допотопное мазанье лбов елеем (многим ли это теперь понятно?) и какие-то, право же, слишком знакомые слова — терзание, мука отступленья, закатный час, безысходная боль...

Стр. 13 — «розовый рот»? Хорошо ли это в хорошем стихотворении? Слово о котле!

Стр. 33 — «таинственный, мятежный Шуман» — ну дайте же менее банальные эпитеты. Ведь началось же так здорово. А может быть, вообще вторая и третья строфы от лукавого.

Стр. 34 — как хотите, но последняя строфа не звучит искренно. Да что же это и за определение — «заокеанские края»? Это же и народ США, и вся Латинская Америка, и Куба. Это же полмира, зачем же их полностью отдавать империалистам.

Стр. 49 — «Как в полуметной церкви свечи» — сравнение запоздало на полвека.

Раздел «Посвящения». Среди них есть удачное, такое, как «Марии Петровых».

А вот от «Пушкину» я отказался бы, слабовато. И хуже, чем сказано о Пушкине в «Памятках» и в «Белых ночах». И уж если помещать Пушкина в ряд с современниками, так надо о нем сказать покрепче, чем о них.

### МИХАИЛ СКУРАТОВ. «НА РУБЕЖЕ ВРЕМЕН»

Я не принадлежу к поклонникам поэзии исторической, в ней, особенно в наше время, часто чувствуешь какую-то оперную фальшь. К тому же многие современные поэты в стихах на исторические темы изъясняются на таком волапюке, что хоть святых вон выноси. Но у Михаила Скуратова ощущение истории, видимо, в крови: он как у себя дома и в стихии образов прошлого Сибири и в стихии узорчатой и певучей старинной речи. «Сказание о братском остроге» просто превосходно. И как колоритны самые образы наших предков!

Думаю, нет необходимости объяснять, как важно, чтобы наш молодой современник почувствовал плоть прошлого, чтобы на него духом прошлого пахнуло, ибо без ощущения прошлого нельзя ощутить и будущее. Мы об этом часто забываем, сами на себя смотрим (да и молодежь приучаем) так, как будто нас вчера насадка под кустом высидела. В стихах М. Скуратова ощущаешь связь времен, а еще более, пожалуй, родство характеров предков и потомков. Сибирь же в ее прошлом — тема в наши дни, пожалуй, самая современная из исторических тем. И к чести автора будь сказано, в своем «Сказании» он отнюдь не приукрашивает дел давно минувших дней.

Об этих днях минувших он пишет лучше, чем о днях сегодняшних, и, может быть, был бы смысл открыть сборник именно «Сказанием», а стихи отнести во вторую часть сборника.

Сборнику стоит предпослать небольшую, свободно написанную статью о поэте, творчество которого действительно сыграло роль в развитии нашей поэзии о Сибири.

Согласен я и с мнением, что хорошо бы сборник иллюстрировать. Что же касается состава сборника, то по поводу того, что включать, а что не включать, можно спорить до бесконечности, ибо тут начинают играть роль субъективные вкусы. В. П. Друзину «Забяйка» не нравится. А вот «Раздумье», хотя и расценивается как историческое (в литературном смысле), мне совсем не нравится.

Мне очень бы хотелось как можно скорее получить «Вечерний день» обратно уже напечатанным. Не для пополнения личной библиотеки, просто для души...

И думается, что поэту и будущему редактору стоит подумать, как сделать сборник еще лучше, ибо, хотя поэт многим поступился, все же присутствует в сборнике нечто, что засоряет его и портит общее впечатление. Но избавить сборник от этого «нечто» может только сам поэт вместе с редактором, поразмыслив, почему то или иное недостаточно хорошо, а иногда само по себе и хорошо, но рядом с чем-то другим выглядит дурно, потому что схоже.

А я просто подброшу автору и редактору несколько замечаний для размышлений над содержанием сборника.

1. Так, включение в него «Посольских оказий», на мой взгляд, не способствует украшению книжки. Вещь эта выглядит незаконченной, незавершенной и написанной без какой-либо значительной цели. Как бы просто пришла автору охота попробовать старинные документы пересказать в стихах, сохранив своеобразие старинной речи. Задача сама по себе выполнена хорошо, но это скорее задача лабораторная, чем общественно значимая.

2. Почему мне не понравилось «Раздумье»? Для итогового сборника оно, может быть, и нужно, да в том беда, что в том же сборнике «Мы — родом из Братска», «Покаяние» и т. д. И получается, что автор вот уже сорок лет долдонит одно и то же: не пора ли мне, мол, вернуться в Сибирь, которую я променял на Москву. В Сибирь, однако, он не возвращается. И поневоле вспоминаешь чеховскую вдовицу, которая, когда гроб мужа опускали в могилу, крикнула: «Пустите меня к нему!» — но в могилу к мужу не пошла, должно быть вспомнив о пенсии. И «Мы — родом из Братска» и «Раздумье» каждое в отдельности такого впечатления не вызывают, а вот в одном сборнике такого рода ламентация в течение сорока лет комична. И, м. б., лучше расстаться с «Раздумьем» и потому, что оно старое, и потому, что стихи с таким настроением были так привычны в те годы, что тогда же еще высмеивались в пародиях.

## КАТИБА КИНЬЯБУЛАТОВА. «ТРАВИНКА»

Сборник Катибы Киньябулатовой «Травинка» на русском языке — плод замечательной творческой дружбы автора и ее талантливой переводчицы Новеллы Матвеевой.

Известная в Башкирии поэтесса Киньябулатова обладает прекрасным лирическим дарованием. Благородство и тонкость, я бы сказал, даже трепетность чувства, рожденного силой сердечного порыва, глубиной проникновения в предмет, в соединении с пластичностью изображения, простодушно-доверительная интонация, самобытная, словно принесенная ветрами родных просторов образность — отличительные черты ее лирики, пронизанной пафосом подлинной гражданственности и патриотизма.

Лирическое дарование Новеллы Матвеевой известно русскому читателю. Но, как показывает рукопись сборника, Матвеева обладает и способностью перевоплощения, постижения души другого поэта, души родственной и в то же время, как всякая душа, своеобразной. Я хорошо знаю стихи Матвеевой, как знаком и с творческим обликом Киньябулатовой, и, по правде говоря, просто взволнован искусством, с каким переводчица любовно передает оттенки поэзии своей подруги-соперницы. Ибо перевод — это всегда и дружба и соперничество. Когда читаешь стихи, забываешь, что

это перевод, — как и в оригинале, здесь чувства женственно-скромны, краски акварельны, травы и деревья шелестят, звезды сияют, а цветы пахнут. А это как раз приметы именно киньябулатовской, а не матвеевской лирики, с ее крепким рисунком и густыми мазками.

Сборник «Травинка» не просто обычный перевод одного талантливого поэта другим. Это итог творчества. И автор и переводчица в течение двух лет занимались на Высших литературных курсах, где родилась их взаимная дружба и этот сборник. Переводчица имела дело не с подстрочником, а с поэтессой, которая не только могла ей «растолковать» оттенки образа, но и в дружбе раскрылась как личность, во всей индивидуальности своего мирозерцания, образного восприятия мира. И этим, мне думается, объясняется волнующее эмоциональное звучание переводов и поэтическая целостность сборника «Травинка» на русском языке. А это делает сборник недюжинным в области художественного перевода с языков братских народов страны.

Горячо рекомендую этот сборник издательству, как книгу, имеющую ценность поэтическую.

Публикация Н. Ф. Макаровой

## Георгий Шенгели

*Георгий Аркадьевич Шенгели — поэт, переводчик, литературовед — родился в 1894 году в городе Темрюке (Кубань). Стихи писать начал с семнадцати лет, изредка печатая их в керченских газетах (без подписи: гимназист!). В 1914 году выпустил свой первый сборник стихов «Розы с кладбища». Весной 1916 года вышла его большая поэтическая книга «Гонг», в 1918 году — «Раковина».*

*В 1918 году Г. А. Шенгели окончил юридический факультет Харьковского университета, но, вместо занятий юриспруденцией, всецело посвятил себя литературной работе. В начале 1922 года Г. А. Шенгели переехал в Москву. Здесь выходят его книги: «Изразец», «Броненосец», «Потемкин», «Норд», «Планер», «Избранные стихи», «Трактат о русском стихе». Он активно занимается преподавательской деятельностью, читая лекции в Высшем Литературно-Художественном институте имени В. Брюсова (ВЛХИ).*





Он просиял над родиной унылой,  
Резцом алмазным несравненной прозы  
Эпохе начертал свой приговор.  
И в страшный день, когда глупец

надутый

Ему пробил пылающее сердце, —  
Когда рыдала над далеким телом  
Опять осиротевшая страна, —  
Другой глупец потер палачьи лапы  
И со злорадством пробурчал: «Собаке  
Собачья смерть».

Почти сто лет прошло;

Палач лежит в распахнутом сарае  
Собора — экскурсантам на погляд  
Презренную гробницу подставляя;  
Убийца стерт из памяти людской,  
Оставля имя кличкой непотребной,  
А он, певец, — миллионом друг и брат, —  
Живет в нетленных песнях и поныне.  
С томленьем и любовью мы глядим,  
Как там — по синим волнам океана —  
Его, навек загадочной ладьи,  
Белеет парус одинокий.

1939

Публикация Н. Л. Манухиной

## Сергей Бобров

### И НОВЫЙ БЕРИНГОВ ПРОЛИВ ЗАСИНЕЕТ

Когда Андрей Белый, шурясь, и сгибаясь, и чуть ли не садясь перед нами на корточ-ки — и вдруг выпрямляясь со сразу расширившейся грудью и пылающими глазами — и вдруг замирая в минутном молчании, словно к чему-то прислушиваясь, — говорил нам об архитектонике художественного образа, говорил быстро, метко и тонко подбирая замечательные примеры из Пушкина, Некрасова, Гоголя... тут же легко и свободно подчеркивая свою мысль неожиданными цитатами из Тютчева, Блока, Верлена — словно проникая своими тонкими пальцами в самое нутро художественного произведения, — мы сидели, как очарованные, затаив дыхание. Художник вставал перед нами, словно обнаженный, — и в эту минуту можно было поверить любому мифу. Когда Белый в каких-то чуточку неуклюжих словах, запинаясь, словно пробираясь по всем этим дебрям человеческого духа ошупью, вдруг расцветал сча-

стливой улыбкой — и было видно, что он сам только вот сейчас попал, наконец, на достаточно удачную формулировку — и, касаясь какой-то действительно сокровенной и чистой тайны искусства, прекрасной и прозрачной, как те осенние дни, которые живописал Тютчев, — то он привлекал сердца с неодолимой силой. И это так горячо задевало в то время, когда кругом все просто цвело талантами — Щусев, Паоло Трубецкой, Голубкина, Серов, Врубель, Блок, Чехов, Скрябин, Николай Метнер, Шаляпин, Качалов, Павлова, Нижинский...

Но иногда Белый вдруг как-то весь опал, словно парус в безветрии. Все его существо покрывалось горьким пеплом невыносимой усталости. Он стоял с потухшими глазами. Руки его повисали безжизненно. Начинался глухой, почти панический лепет: «Искусство ведь, в сущности... религиозно...», сыпалась безостановочно терминология ин-

дусских богословов, странные нагромождения все более и более абстрактных понятий, особенно громоздких из-за их образного облика, — а ведь в глубине их не было на самом деле ничего, кроме глубокого восхищения перед разумом человека, перед обожествленной творческой силой человека, перед способностью человека именовать, запоминать, различать и тонко судить о силе собственных различений. Но Белый хотел просто пить эти индийские притчи, он упивался их непосредственно-убедительной красотой и глубокой нежностью, отрываясь от человека, который их вырастил в глубине неведомых тысячелетий, и надеясь, как дитя, что эти мысли во всей их задумчивой и громадной красоте сами по себе спасут его от всех зол.

И постепенно он оживлялся. Действительно, эти древние мифы сияли непомерной силой, и поистине они были громадно высоки. Белый смотрел на них и оживал. Но он оживал не в действии, а в умиленном любовании торжественными плодами чужого действия. Он, словно дитя, начинал присматриваться к курьезным чудачествам нищенствующих монахов, пытаюсь найти в человеке ту точку, где высокая философия сходится с веригами, принимая эти эмблематические детали элементарного суеверия за суть человеческой трагедии! Все это его мучение трогало, но потом проходил день, другой, и ты уже снова спрашивал себя — что же он, собственно, хочет сказать? Выходит, что просто поп не такой? А что из этого всего толку? И какое-то недовольство, у которого был

очень решительный характер, начинало почесывать себе затылок, выговаривая с досадой: «Эх-ма!»

Архитектоника художественного образа — чистота искусства — его детски простые очи — это все было так. Но остальное было совсем не так. Отнюдь. Мир коченел в странных противоречиях и словно разваливался у нас на глазах. Белый сам уверял нас в этом — ведь это обломки миров, — говорил он о творчестве Блока. И тут же начинал уверять снова и снова, что искусство религиозно. Но что это была за религия? И вдруг Белый с чуть не припадошной настойчивостью заявлял — это религия конца. Но это было слишком уж окончательно для наших юных мозгов. Кончать мир мы не собирались. С этим нам было откровенно не по дороге. Обломки — ну, пусть обломки! Пусть неразбериха — когда-нибудь утрясется! А мы и в неразберихе найдем человека — найдем его грозную, славную и мощную мудрость — его детски-чистую поэзию — и всю сложность его пылающей и победительной мысли. Нам нужна новая жизнь — человек должен сам построить себе «новый водопад Замбези» — и он построит его. Надо подпирать жизнь «новой кариатидой» — и она будет. И «новый Берингов пролив» засинеет среди великих просторов человеческого бытия. И «барабан динамо» должен стать братом человеку, а не страшным богом, как у Уэллса. И гиперболы и эллипсы должны дышать с нами вместе, трудиться с нами. Мы хотим быть людьми. И мы любим то будущее, когда все это осуществится.

## Дмитрий Голубков

### ПИИТИЧЕСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ

*Заметки о книге стихов Сергея Маркова «Топаз»*

Существовало некогда такое, школьно-гимназическое, диковато звучащее ныне понятие: «пийитическая вольность».

...Ведь соседи твои  
Работают давно.

Вот это самое «работают» — с экзотическим ударением на незаконном слогe — и

приводилось во времена наших бабушек как пример «пийитической вольности».

Мне нравится этот термин, почти вышедший из употребления, нравится и в его наивно-узком, схоластическом, и в расширительном смысле. Еще в отрочестве недоумевалось: почему у Державина сказано (про Суворова): «Ляжет на воды, — воды кипят?»

Почему в стихотворении Блока платье «*не-ло* в луче»? И наивно осознавалось (с помощью всеведущей стихолоубки — мамы): питическая вольность!

«Пиитическая вольность» — что может быть пленительней в стихе? Да ведь вся русская поэзия — от древнего «Слова», от величаво-пышного и легкокрыло-улыбчивого Державина до раскованно-певучего Есенина, до самозабвенно захлебывающегося Пастернака, до грохочущей свободы полифонических полотен Маяковского, — вся она не что иное, как Великая Пиитическая Вольность...

Раскрываешь изборожденный Сергей Маркова, входишь в это строгое, чистое здание. Осматриваешься, вслушиваешься... И вдруг ощущение вот этой вольности охватывает душу.

Слышал я от вольного стрелка,  
Что струится Радуга-река  
По югорской золотой земле.  
С той поры я слышу светлый звон,  
Бег соболий, лебединый стон,  
По ночам мне, молодцу, не спится...

И уже легко, радостно идти за неведомым молодцем, за радужным, светоносным словом, то ручным, послушливым, то ершистым и стропотным, — идти за сказкой, за волей:

«Где в Мезени тот чудесный кит,—  
Вопрошал я, вставши спозаранок,—  
Что горячим дыхом шевелит  
Сарафаны юных поморянок?» —  
«Бог с тобой, болезный человек...»

Оглядчивые, трезвенные встречники отговаривают его; важные, начальные люди пытаются силком удержать мечтателя. И даже в родных местах нет ему отныне приюта:

Негде мне порою ночевать,  
За душою — два алтына меди.  
«Ссылный вор... Бродяга... Бражный  
тать...» —  
Попрекают бывшие соседи.  
Воевода хвалится: «Ни в жизнь  
Не пушу на родину бродягу,  
В Кинешме да в Юрьевце селюсь,  
А в родные слободы — ни шагу».

Но он, болезный, одержим веселым и изматывающим недугом. Его неудержно влечет черное серебро морозного Севера:

И лежу, мечтою обуян,  
На Мезени, всеми позабытый,  
Слышу, как студеный океан  
Подступает к тундре снеговитой.

Его мощно манит и огненное, оплавленное ленивой лазурью золото Востока...

Черная Арапия лежит  
Вдалеке за теплою Хвалынюю.  
Там песок сверкает и горит,  
Небо пышет багрецом и синью.  
Там орех — поболе колеса  
У боярской важной колымаги,  
Сладкий дух — пьяней медовой браги,  
Источают ладан дерева...

Этот беспокойный, жадный до всяческой красоты и доброго дела молодец вмещает в своем сердце не только свой угол, свой посад, — но всю родину, всю землю, все небо... Он зорек и пристален. Он беззаветно пленяется открытым, смелым лицом, радостно очаровывается удачным красным словом. Люди ратного и ученого подвига покоряют его, по-мальчишески любознательного, по-стариковски мудрого и сдержанного... Но это — уже о поэте, а не о его «лирическом герое», это — черточки авторского характера, штрихи его личной биографии... Но личность автора так кровно сращена с образами, созданными его вдохновением, что кажется — это нечто единое, неразлучное. Это один человек — неугомонный ходонок, мужественный охотник и ратник, пылкий ученый, пылкий и верный любовник. Он вольно и независимо перемещается во времени, в природе. Строками народного эпоса звучат слова его исповеди:

Я за тобой, как за красной ланью,  
Шел через весь хребет.

...В свинцовую гору близ Акатюя  
Я душу свою зарыл.

Скажи так любой другой — и подумается: «Пожалуй, вычурно, непредставимо». Но сказал Сергей Марков — поэт, бродивший пешком, искакавший в седле, исплавивший в лодке чуть не весь «земной круг», — и поверилось. Верим же мы былинным деяньям Добрыни и Потока-богатыря... Вольность, прихотливая, властительная, необычайно привлекает в стихах этой книги. «Посвист синих пуль», — как бы небрежно бросает поэт... Но почему — «синих»? Неведомо. Не убеждает — сразу, с лету. За этой убедительностью — опыт зоркой души, корнем своим уходящий в родную почву, к первоистокам нашей речи, нашей старины. Отсюда — дивное (именно: диву даешься!) чутье нашей истории, нашего языка. Отсюда — счастливая возможность не ерничая, с бережью поиграть словом, прозвенеть им, проблистать... И отсюда же — гибкая, никогда не умиравшая в нашем искусстве воль-

ность, позволяющая себе то прошелестеть рассыпчатым и подначливым хохоточком, то звучащая набатом всеслышного гнева...

В который раз перечитываю «Сказ о Коловрате» — и вновь изумляюсь ему. Особенно одному маленькому, вроде бы «проходному» эпизоду... Евпатий, ничего не знающий о разорении Батыем Рязани, возвращается в родной город. Представим — хоть туманно — древнюю русскую дорогу, да еще зимнюю. Что-то белое под скучно нависшим серым небом, что-то ровно откованное, безотраднодлинное... Но своевольная фантазия поэта вспыхивает внезапным огнем — словно разыгравшаяся кисть древнего изографа, рисующая на клеймах, окаймляющих истовый канонический сюжет, нечто детски-яркое, нежданно-пышное:

Евпатий видит: скбзю туман  
Идет у ледяного яра  
В пыли морозной караван  
Купца из Камского Булгара.  
И темноликий эфиоп  
В наряде, некогда богатом,  
Рыдая, падает в сугроб  
Пред изумленным Коловратом.  
...«Я разорен, я наг и сир,  
Один в снегах чужого мира,  
Кружным путем бегу в Каир —  
Но как дойти мне до Каира?»

Как зримо возникает в белых рязанских снегах этот темноликий, в некогда богатом (и все еще красочном, конечно) наряде эфиоп! Как естественна интонация его смятенной и бессмысленной (ведь вряд ли Евпатий разумеет по-эфиопски, а купец — по-русски) речи!

Стих Сергея Маркова слагается свободно и органично, повинувшись каким-то внутренним законам обязательности и связности, — так, наверно, складывались в еще докрепостную нашу старину песни, былины, присказки...

Мне бы жить в Любиме, Сапожке,  
Или в славном городке Торжке...  
Да чтоб в светлой горнице вдова  
Пела да сплетала кружева,  
Говорила тихие слова.  
Иль пила, потупив томный взор,  
Из пузатой чарочки кагор.  
Чарка — золоченого стекла,  
\* А на ней — и сердце, и стрела!  
Да чтоб деревянный голубок  
На шнурке взлетал под потолок...

Но почему именно — кагор? И «сердце и стрела»? И этот «деревянный голубок» — совсем уж смешной, почти нелепый?

А просто так. Так повелось поэту. Та-

кие краски подсказала ему его русская муза — дева своенравная и своеобразная.

Так всегда жил и писал Сергей Марков. Вольно бродяжил, занимался краеведением, с головой уходил в географические (весьма плодотворные, к слову сказать) изыскания. Хотелось — сочинял стихи. И сочинял, как хотелось. Сергея Маркова сурово порицала критика за «вневременность» его великолепных исторических новелл. А он гнул свое: о Великом Устюге, о стрелецкой любви, о женищинах русского Поморья... Влюблялся в слово, в старинное имя. Как светлые льдинки, катал на ладошке строфы, любующись изменчивым блеском: Мезень, Олисава, ферязь, взводень... И вовсе не выходил из времени — да это и невозможно для настоящего поэта, о чем он ни пиши. Просто создавал стихи, а не злободневные стихоотчеты. Разве не современны его «Багратион», «Суворов» и «Славяне», написанные в сорок первом году:

С зарею сливается чад,  
Кусты одиноки и голы,  
Под каждой пятою трещат  
Сучки и погибшие пчелы...  
Мы знаем, что время придет,  
Свершатся труды и заботы,  
И снова сверкающий мед  
Наполнит глубокие соты.

И какой пророческой верой звучал голос Минина в стихах, написанных в самую тяжелую пору фашистского нашествия:

Не быть тому, чтоб самозванный шут  
Сквернил собой Кремлевские палаты!

Нынче принято именовать классическими многие просто прилично сработанные, гладкие по языку стихи. Вчитаемся же в эти марковские строки — и воздадим должное их строгой законченности:

Огонь объятая распростер,  
Богатырям готова тризну;  
Они, как в рожь, вошли в костер  
И в муках славили отчизну.

. . . . . гремя,  
С горячим запахом кремня  
Упало сбитое забрало.

А вот кусочек из описания ташкентской осени тридцать первого года:

...Не в меру голосиста,  
Гремит синеколеса арба  
И грязью обдаёт кавалериста.

Или:

Как жаворонки вертятся,  
Монеты с желтым драконом  
Летят в засохшую грязь.

Мы понемногу отвыкаем от подобной точности и строгой простоты образа, от высокой ответственности за произнесенное слово...

Ранние стихи Сергея Маркова некоторыми своими чертами напоминают манеру Бунина-стихотворца (есть сходство и внутреннее, даже биографическое: тяга к странствиям, любовь к Востоку), иногда их хочется сопоставить с чеканными описаниями позднего Гумилева (эпохи «Огненного столпа»):

...Гранит чернеющих надгробий —  
Приют золотоглазых сов.

Но уже тогда, в первой юности, девятнадцатилетний Сергей Марков гордо восклицает:

Я идолу перед концом,  
Как предок, кланяться не буду!

И впрямь: он всегда оставался верен себе, поэтической своей воле. От самых первых опытов до недавних стихов он завидно целен. И оригинален — «ибо мыслит», как обмолвился о Боратынском Пушкин...

А мыслит Сергей Марков своеобразно. Его мудрость опять-таки особая — она не схва-

чена на лету, чтобы хлестко вчеканиться в строчку, она не вымучена над страницами популярной философской брошюры. Она рождается неторопливо и естественно. Это спокойная, выверенная сердцем и опытом мысль... Поразительна концовка стихотворения о Беринге:

И неизбежного бессмертья  
Страшится бренный человек.

Хочется подробно говорить о живописном даре старого мастера, о труднейшем жанре стихотворной новеллы, разрабатываемом Марковым («Барон Унгерн», «Дон Сысой», «Живешь-поешь в Голутвине...»), о его удивительном лиризме («...научи в минуты встреч с тобой не задыхаться...»). Особая тема — звукопись его стихов. Вспомним хотя бы многожды цитируемое «Знаю я — малиновою ранью...». Когда-нибудь обязательно появится книга, исследующая творчество этого замечательного художника. Но уже и сегодня ясно: одной из заметных страниц современной русской поэзии стали стихи Сергея Маркова, светящиеся радостным и строгим блеском поэтической вольности.

## Александр Михайлов

### ЕЩЕ РАЗ О СИЛЕ ТРАДИЦИЙ

Поиски новой выразительности традиционных форм в ряде случаев уводят поэтов в глубь веков, к истокам языка, к фольклору и древней письменности. Как время меняет отношение к традициям! Архаические речения, став признаками традиционности, в XIX веке употребляются в качестве «иронической лексики», зато в XX веке молодой Маяковский широко вводит в стихи библеизмы, старославянизмы и архаизмы и дерзко соединяет их с «корявым говором миллионов», выражая свое презрение к «расслабленному интеллигентскому язычишке». Алексей Югов, специально исследовавший вопрос, обнаружил в поэтике Маяковского много словарного и синтаксического сходства с поэтикой древней Руси.

Маяковский, как величайший реформатор в поэзии, относился к древней традиции без всякого почтения. Архаическая лексика, как и современный ему разговорный язык, про-

пагандистская и газетная фразеология служили для него той самой «словесной рудой», из которой выплавлялись и чеканились строки с именным клеймом Маяковского. Их дерзкая новизна не настраивала говорить о продолжении или развитии традиций. Это была революция в поэзии.

У нас же идет речь о продолжении и даже о возрождении и обновлении некоторых забытых традиций.

Поэзия Беллы Ахмадулиной выражает ту, пока еще подспудно вызревающую, тенденцию, которая опирается в поэтике на элементы самой древней речевой традиции. Не надо преувеличивать ее значения и ее перспектив. Кроме Беллы Ахмадулиной я назвал бы пока только одно значительное имя — Виктор Соснора.

Обращаясь к одному источнику — древней речевой традиции, Ахмадулина и Соснора резко расходятся в эстетических принципах

собственного творчества. Соснора, по сути дела, совершенно независим от традиции. Хотя многие его стихи написаны «по мотивам» «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве», — это свободная импровизация, где памятники древней русской литературы (их сюжеты) вольно переосмысливаются и обогащают лексику стихов. Соснора в этом плане идет по пути Маяковского, соединяя в поэтической лексике самые разнообразные элементы. Он решительно обновляет всю структуру стиха.

Белла Ахмадулина более почтительно и осторожно относится к традиции, хотя и не избегает кое-каких новаций. Собственно, она и начинала с некоторых словесных сближений по чисто формальному признаку:

Светофор. Это странное имя.  
Светофор. Святослав. Светозар.

Чистый эксперимент не увлек поэтессу. В ее первых стихах можно встретить почти некрасовские строки:

Как металася по комнате,  
как кручинилась по нем.

Тут есть элементы народно-песенной поэтики:

Человек в чисто поле выходит,  
травку клевер зубами берет...

Где-то мелькнет грибоедовский «маскерад», гумилевские «манжеты» (правда, не розоватые, брабантские, а «холодные»). Но уже в первых опытах Ахмадулина обнаруживает дивное чутье слова, его семантической и эстетической «изворотливости».

И верю я одна на свете,  
что зацветут его сады,  
что странно засияют с веток  
им совершенные плоды.  
(«Садовник»)

Здесь в последней строке могли бы стоять другие слова из синонимического ряда: возвращенные, выведенные, взлелеянные, выхоженные... «Совершенные» — слово необычное в данном контексте, появилось оно не только потому и, может быть, совсем не потому, что ритмически укладывается в строку. Герой стихотворения — садовник, милый мечтатель, неудачник. Неудачи преследуют его («...о, сколько фруктов несъедобных он поднял из тебя, земля!» — и опять неожиданное: «поднял!») А он не отчаивается, и верит, и продолжает делать свое дело. Нет, не делать — вершить! — так высока и поэтична его мечта, так самоотреченно он стремится к ней.

И надо ли удивляться, что воображение любящего человека рисует в будущем *им совершенные* плоды!..

Вкус к незанушенному, свежему и точному по смыслу слову оберегает поэтессу от увлечения модными новациями и направляет ее поиски к истокам русской речевой традиции.

Влечет меня старинный слог.  
Есть обаянье в древней речи.  
Она бывает наших слов  
И современнее и резче.

Юношеская непосредственность и полемический пафос этих строк не нуждаются в объяснении. Архаическая лексика понемногу начинает входить в стихи Ахмадулиной, общая колорит торжественности и особой значительности поэтической речи. «На большие плечá», «воссиявшая правота», «чертог», «чело», «нисходит тишина», «алчность», «снедает» и другие архаические речения встречаются в книге стихов «Струна».

Старинная лексика сочетается у Ахмадулиной с самой что ни на есть разговорной речью.

За то, что девочка Настасья  
добро чужое стерегла,  
босая бегала в ненастье  
за водкою для старика,—

ей полагался бог красивый  
в чертоге, солнцем залитом,  
щеголеватый, справедливый,  
в старинном платье золотом.

Лексическая структура этих строк безупречна, разве только эпитет «щеголеватый» в данном контексте не вполне органичен. Сочетание «девочка Настасья» — это уже образ: девочка, еще подросток и уже Настасья, чуть ли не женщина, увидевшая неприглядную сторону жизни, познавшая нужду, но чистая душой, наслушавшаяся сказок и мечтающая о прекрасном!

Не только лексикой привлекла Ахмадулину древняя речевая традиция. В одном из ранних стихотворений она скажет о цветах: «Их дарят празднично на память, но мне — мне страшно их судьбы...» (курсив мой. — А. М.) Синтаксис древней письменности, изысканность сентиментальной прозы начала XIX века обретают черты новой выразительности в поэтическом языке Ахмадулиной.

Поэтесса с разных сторон приступает к древней традиции — со стороны песенной, книжной, сказочной. Вживаясь в нее, она вообразила себя царевной Несмеяной — то ли тогдашней, то ли сегодняшней. И, немнож-

ко посмеиваясь, немножко рисуясь, а в общем-то — совсем не шутя, пропускает мимо себя строй похвальных богатством царевичей и отвергает их ради «гуляки и изменника», ради любви. Любовь, эстетическая близость определяют и ее отношение к традиции старой письменности.

Несколько отдалившись от древней традиции, Ахмадулина осваивает книжную лексику и синтаксис более позднего времени — конца XVIII и начала XIX века. Какими-то элементами они входят в стихи, — с одной стороны, отяжеляя их старомодной велеречивостью, а с другой — придавая им волнующую красоту иной, кем-то в древние времена испытанной эмоциональности.

Поэтесса угадывает тот случай, тот сюжет, когда полуторавековой давности книжность не покажется странной, ибо необычен и странен сам сюжет «Приключения в антикварном магазине».

Может быть, и не надо выводить прямой морали из этой прихотливой по сюжету, грустной и вовсе не традиционной сказки, но написана она ради «правнука Ганнибалова». И уж никак не скажешь, что автор дает поэтическую реминисценцию сложившегося в нашем воображении по многим литературным источникам характера. Фантазия Ахмадулиной вызвала к жизни современника и несчастного соперника великого поэта, и через его взгляд, затуманенный ненавистью, с неожиданной стороны показала мощь и притягательную силу личности Пушкина.

Двухсотлетний антиквар, не в силах вытеснить соперника из жизни, заполнил собою магазин. И как только возник непримиримый и пока еще внутренний от одного взгляда конфликт меж антикваром и героинею стихотворения, а символически — меж веком минувшим и веком нынешним, так в стихотворении воцаряется атмосфера прошлого. Вот ее речевой колорит:

Меж тем искала выгоды толпа,  
и чужеземец мудростью холодной  
вникал в значенье люстры старомодной...

Печальную пылинку серебра  
влекла старуха из глубин юдоли,  
и тяжела была ее ладони  
вся невесомость быта и добра.

В контексте героини стихотворения речевой колорит несколько меняется за счет элементов современной образности. Новые оттенки речи в общем-то довольно трудно уловимы, так как налет книжности остается от

начала и до конца. Даже прямая речь героини звучит книжно, высокопарно, она как бы настраивается на век минувший (« — Мне, ставшею открытой раной слуха, угодно слышать все, что я хочу»).

Чтобы уловить особенности стилистической манеры Ахмадулиной в «Приключениях», надо объяснить, почему, скажем, она написала: «Он бледен стал и закричал». Ведь можно было написать: «Он побледнел и закричал». Так ближе к разговорному языку, естественнее. Но чтобы объяснить, мотивировать стилистику фразы Ахмадулиной, надо процитировать все стихотворение, надо войти в его атмосферу и тогда убедиться, что лучшего варианта, чем авторский, не придумаешь.

Новые стилистические оттенки появляются в описании женского портрета. Прерывистый ритм фразы, лексика выдают необычайное волнение.

И он открыл футляр. И на крыльцо  
из мглы сеней, на волю из темницы  
явился свет и опалил ресницы,  
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте,  
ожегшей ум, по духоте пространства  
я вычислила, сколь оно прекрасно,  
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз  
лицо ее внушало мысль простую:  
утратить разум, кануть в тьму пустую,  
просить руки, проситься на Кавказ.

Здесь элементы книжности менее заметны, они уравниваются разговорной обыденностью других элементов стихотворной речи. Эти строфы подводят читателя к кульминации сюжета, к тайне женщины, которая, судя по портрету, способна была внушать страсть.

Когда же автор вновь выводит на сцену антиквара, когда антиквар включается в диалог, речь его звучит высокопарно:

О, я любил ее не первый год,  
целуя воздух и каменья сада...

Лексико-синтаксический колорит, в котором возникает образ «правнука Ганнибалова», составляет удивительное соединение разнородных элементов — от книжной выпренности антиквара до современной речевой экспрессии Ахмадулиной. Эмоциональность эпизода с Пушкиным достигает такой точки, когда автор незаметно вытесняет рассказчика-антиквара. А дальше, в рассказе о трагической судьбе женщины, полюбившей

«правнука Ганнибалова», речь антиквара обретает присущую ей книжную изысканность.

«Приключение в антикварном магазине» дает пример артистического владения книжным слогом в создании лексико-синтаксического колорита. Поэтическая речь Ахмадулиной богата оттенками, полутонами, как правило находящими психологическое обоснование. В «Приключении» эта ее особенность видна отчетливо, так как психологическая атмосфера здесь часто меняется в зависимости от развития сюжета.

Видно, мы все-таки отвыкли от возвышенной поэтической речи, если слог Беллы Ахмадулиной так пленяет воображение. В послевоенной поэзии не было недостатка высокой поэтики, трибунной мощи, но Ахмадулина заставила ощутить своеобразную прелесть «тихой» патетики, старинной изысканности речи. Она сумела опоэтизировать то, что нередко служило предметом иронических обыгрываний.

Стилистическая манера Ахмадулиной не является каким-то повторением пройденного, простым возвращением в прошлый век. Какие бы фантастические истории, сказки и сны ни придумывала поэтесса, как бы ни играло ее воображение, это все-таки воображение современника, а образный язык ее стихов — язык современного поэта.

В «Уроках музыки», «Сне», «Тоске по Лермонтову», «Плохой весне» и некоторых других стихотворениях Ахмадулина более изысканна, влияние старинной речевой традиции в них более ощутимо, и это находит внутреннее объяснение.

В поэме «Моя родословная» лексическая, синтаксическая и метрическая структура меняется в каждом эпизоде, не говоря уже о вставных «номерках», прямой речи Игрека, жандарма, доброжелателя. Кажется, впервые у Ахмадулиной здесь прозвучали публицистические строки, а рядом с ними можно встретить и вульгаризмы и — что уж вовсе не характерно для нее! — прозаизмы.

Пробный публицистический заряд, выпущенный Ахмадулиной в «Моей родословной», кое-кого обнадежил (в том числе и меня). Казалось, что строки об Александре Стопани, о сибирском гимназисте, о революционном предгрозе, строки сильные и страстные, стимулируют дальнейшие поиски гражданской активности, повышение общественного тонуса поэзии. Пока эти ожидания не сбылись...

Опыт «Моей родословной», с одной стороны, обогатил стилистический арсенал Ахмадулиной, с другой — обострил ее внимание к *разным*, в том числе современным, разговорным, отнюдь не изысканным, элементам языка. В какой-то мере это означало преодоление камерности, частичное освобождение из-под власти традиций. Ведь Ахмадулина не чурается новаций, щедро использует современную, очень приблизительную, ассонансную рифму (горевал — гононар, возьму — весну, угла — ума), не прочь порою щегольски озвучить строку («Среди гардин зимы, среди гордынь...», «Виновен ли немой, что он не мог...»). Ахмадулину нельзя упрекнуть в консерватизме и слепой верности традиции. Ею же написаны стихотворения «В метро, на остановке «Сокол», «Мои товарищи». В них звучит обычная речь.

Мои товарищи по лестнице идут,  
и поднимаются их голоса обратно.  
Им надо долго ехать — до Арбата,  
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памяты давно  
мне все приметы этой обстановки,  
Мои товарищи стоят на остановке,  
и долго я на них смотрю в окно.

И все же привычная, разговорная речь не вошла в поэзию Ахмадулиной. Пленительная власть старой речевой традиции, по сути дела, осталась непоколебимой. Именно от ее присутствия, от ее дыхания создается в стихах Ахмадулиной теперь уже хорошо знакомый, легко узнаваемый колорит изысканности, артистизма, возвышенной игры ума и воображения.

Камерность поэтического мира Ахмадулиной не лишает этот мир привлекательности. В нем не то чтобы уютно и непринужденно, нет, без вечернего костюма туда не войдешь и в кресле не развалишься, но ощущение собственной значительности остается, потому что атмосфера стихов обязывает быть и тонким, и изысканным, и умным.

Конечно, если захочется большей непринужденности, широты, то можно раскрыть книгу другого поэта: каждому, как говорят, свое. Но, с другой стороны, не расточительство ли это, что такой блестящий талант почти целиком подчинен интроспекции?

Кажется, нет предмета, из которого Ахмадулина не могла бы извлечь поэзию. С чего она начинает? С поэтизации обыденности, с самолюбивой уверенности в своем умении открывать красоту в любом предмете.

Вот течет молоко. Вы питаетесь им.  
Запиваете твердые пряники.  
Захочу — и его вам открою иным,  
драгоценным и редким, как праздники.

Сумев доказать это, поэтесса скоро, очень скоро углубилась в себя. В себе же ее привлекло более всего состояние непокоя, психология творчества, вдохновение. За последние годы она написала несколько стихотворений на эти темы. Среди них «Воскресный день», стихотворение, дополняющее наши представления о том, как индивидуально неповторимо состояние творческого воодушевления, как блаженно-томительно ощущение свободы после исполненного труда и как неотвратима, почти фатальна для художника внутренняя потребность творить.

Были и еще стихотворения — «Другое», «Я думаю: как я была глупа...», «Ночь», «Немота». Тоже о состоянии непокоя, о муках немоты, о вдохновенье. Вдохновенье фетишизируется Ахмадулиной, без него она не мыслит поэзии. Душа поэта должна быть так настроена, чтобы улавливать мгновенье (вдохновенье — «вздых мгновенья душою немой»). В концепции Ахмадулиной нет места насилью над собой, прозаической *работе* до седьмого пота, которую имел в виду даже возвышенный Блок. Ее поэтический инструмент необычайно хрупок и подвержен всяким влияниям, но он имеет свое достоинство.

Я думаю, это достоинство, когда поэт, сознавая возможность жить поэзией только в минуты вдохновенья, в иное время «не допускает руку до блаженства затеять ямб в беспечности былой!». Даже в часы ночных бдений, когда велико нервное возбуждение, когда весь романтический антураж, вплоть до свечи, создает иллюзию душевного настроения, иллюзию вдохновенья, — внутренний инструмент чистой поэзии протестует. Даже «под пыткой немоты» он не дает воли руке, застывшей на белом листе бумаги.

Вдохновенье проецируется на чисто эстетическую и в общем виде обозначенную ка-

тегорию — писать хорошо. Чисто эстетическую, потому что «не хорошо, но справедливо» можно и без вдохновенья.

Белла Ахмадулина особенности своей натуры, очень артистичной, утонченной, невольно противопоставляет правде (справедливость у нее читается как синоним правды). Противопоставление правды жизни и эстетического идеала искусства не имеет серьезного обоснования, доказывать это вряд ли надо, или тогда надо говорить о правде вне искусства и об искусстве для искусства. Ахмадулина, конечно, не имела в виду ни того, ни другого.

В стихотворении «Плохая весна» фетишизация вдохновения уступает место неврастеческим метаньям и сомненьям в таланте, безжалостному самоуничуженью, жестокому насилью над собой, чтоб «мукой обострить свой ум, побрезговав его несовершенством», пока наконец не приходит успокоение:

...всегда пребуду только тем, что есть,  
пока не стану тем, чего не стало.

И все же состояние покоя — лишь эпизод, оно редко посещает лирического героя Ахмадулиной. Субстанция его характера — беспокойный, мятущийся, страстный дух.

Честность перед собой, «перед листом бумаги», перед поэзией в ее высоком понимании — как перед большим искусством — охраняет Беллу Ахмадулину от соблазна писать беспечно, «не хорошо».

Велико обаяние традиций. На их стороне сила привычки и бесспорная, неуязвимая эстетическая ценность великих образцов. Революционное новаторство в искусстве не исключает уважительного отношения к традициям, их постепенного развития и обновления. Опыт современной русской поэзии показывает, как по-разному, индивидуально они трансформируются в творчестве целого ряда поэтов, какой из этого извлекается эффект.

Без уважительного отношения к традициям мы сегодня не имели бы многих прекрасных страниц поэтического дневника современности.

## УБЕЖДЕННОСТЬ ПОЭТА

Среди тех многих — может быть, даже бесконечно многих — качеств, коими должен обладать настоящий поэт, есть одно исходное и безоговорочно необходимое, о котором не часто вспоминают. Это вера или, точнее, убежденность: то, что я создаю, — действительно поэзия, имеющая общезначимую и безусловную ценность.

Об этом редко говорят, по всей вероятности, лишь потому, что это как бы само собой подразумевается: ведь такая убежденность необходима, в конце концов, во всяком серьезном деле вообще. Но, как мне кажется, сейчас об этом очень важно напомнить, ибо, на мой взгляд, в сегодняшней лирической поэзии на каждом шагу сталкиваешься если не с отсутствием, то хотя бы с «недостаточностью» этой веры, этой убежденности.

Вполне понятно, что сама по себе подобная вера не создает поэзию. Нужно не только верить в свое призвание, но иметь, что сказать, и уметь, как сказать. Этой верой, кстати, в полной мере обладают многие графоманы, которые с завидным упорством, не обращая внимания на то, что никто не признает их произведений, продолжают писать и писать. Однако без веры в безусловную ценность и незаменимость своего творчества поэт все же не может достичь тех высот, на которых стихи в самом деле становятся безусловно ценными и ничем не заменимыми. Но именно этой веры очень часто не хватает ныне...

Конечно, о таких вещах сами поэты редко говорят публично (впрочем, один достаточно известный автор недавно опубликовал стихи, которые начинаются недвусмысленно: «Я не поэт»; и это не единственный случай), но в частных беседах я не раз слышал признания вроде: «Мне бы только мысль высказать, тенденцию...» Или иное: «Нам бы только прочные, крепкие стихи создавать, а о другом и думать нечего». И создают...

Но дело-то вовсе не в подобных признаниях. Отсутствие веры в себя неизбежно воплощается в самих стихах. Даже у любимых моих поэтов я то и дело чувствую сейчас какую-то неуверенность, боязнь, сомнения. А вдруг, мол, это не поэзия? Здесь вот слишком прозаично, а там — чересчур поэ-

тично. Тут я впал в абстракцию, отчужденность, а вон там, напротив, даю непереверенную интимность и т. д.

Приведу один резкий пример. В предшествующем «Дне поэзии» опубликован большой цикл стихов Игоря Шкляревского, который как бы представляет здесь за всю сегодняшнюю молодую — тридцатилетнюю — поэзию (и он, на мой взгляд, имеет на это право). Читаем начало одного стихотворения:

Мороз! На улицах темно.  
Себя почувствуешь подростком,  
Ударить в конское дерьмо —  
Звенит и катится по доскам!

Слово «дерьмо» явно выпирает из стиха. И конечно, не потому, что его вообще нельзя вращать в стих, — примеры есть. Но потому, что — это ощутимо — поэт сам не убежден, необходимо ли здесь это слово. Он сомневается, боится — не слишком ли? Эти сомнения выдает даже восклицательный знак в следующей строке, который призван как бы заглушить их. Нет необходимости — и, значит, нет поэтической *свободы*.

И хотя очень трудно и, пожалуй, даже невозможно убедительно показать все это путем анализа, такие вещи чувствуешь при внимательном чтении неопровержимо, бесспорно.

Толстой, сравнивая переводы гомеровских поэм с подлинниками, писал, что переводчики «поют каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающим голосом. А тот чорт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его может слушать».

Да, именно это: «и поет, и орет во всю грудь...» А сейчас даже в лучших стихах замечаешь постоянные оглядки и прислушивания — к самому себе, к вероятному мнению собратьев по стиху, к критике. Или даже прямое заигрывание с читателем, стремление увлечь, заинтересовать, поразить его чем-либо, что не принадлежит к поэзии в собственном смысле слова. Читаешь иные стихи, и так хочется спросить словами замечательной вологодской частушки: «Что ж ты ежишься, корежишься?..»

Непризнанный, но призванный поэт, один из главных учителей Пушкина, Павел Катенин писал, подводя итоги жизни:

Что ж делать? Петь, пока еще поется,  
Не умолкать, пока не онемел.  
Пускай хвала счастливейшим дается;  
Кто от души простой и чистой пел,  
Тот не искал сих плесков всенародных;  
В немногих он, ему по духу сродных,  
В самом себе получит мзду свою.  
Власть — слушать, власть — не слушать; я пою.

Дело здесь даже не в проблеме «плесков всенародных». Главное — не прислушиваться, не смотреться в зеркало и не оглядываться вокруг себя. Главное — петь всей грудью, чувствуя, что твое пение *необходимо*, что если ты не скажешь, то и никто этого не скажет! Только тогда сами стихи могут стать необходимыми, звучать так, словно они *были всегда* и поэт лишь извлек их из языка, где они тайно пребывали.

Я могу без оговорок назвать одного современного поэта, который пишет «безоглядно». Но это не русский поэт, и я должен все же сделать обязательную оговорку — «насколько я могу судить по переводам». Речь идет о Кайсыне Кулиеве. Читая его лучшие вещи, чувствуешь, что эти стихи *необходимо* должны были родиться. А про многие ли стихи мы можем сейчас это сказать?



Естественно встает вопрос о причинах этой «недостаточности». Но я просто не берусь ответить на него — он слишком сложен. Для ответа здесь необходимо целое исследование. В частности, пришлось бы сопоставить сегодняшнюю поэзию с предшествующей — ну, скажем, с поэзией послевоенного десятилетия.

Это может вызвать недоумение, так как многие убеждены, что как раз послевоенное десятилетие дало крайне мало в области поэзии, что между 1945 и 1956 годами лежит полоса поэтического безвременья и затишья.

Но подобный взгляд зиждется на простом незнании, вина за которое лежит, правда, не столько на критиках, сколько на издателях поэзии и самих поэтах, которые часто не публикуют свои произведения.

За последние годы в серии «Библиотека поэта» вышли первые имеющие научный характер собрания стихотворений Заболоцкого, Пастернака, Луговского. Не все даты здесь выверены, но, во всяком случае, ясно, что *высший* расцвет творчества этих поэтов приходится именно на послевоенное десятилетие. Есть все основания полагать, что примерно то же положение станет очевидным,

когда выйдет в свет научное издание произведений Ахматовой.

Недавно издан двухтомник Леонида Мартынова, где все стихи впервые датированы поэтом. И оказалось, что его стихи, вызвавшие наибольший интерес и волнения начиная с 1956 года, написаны значительно ранее. Вот даты создания получивших широкую известность и признание стихотворений поэта: «Первый снег», «Любовь» («Ты жива, ты жива...»), «Вода» («Вода благоволила литься...») — 1946; «Праздник» («Я слышу — вы славите будни...»), «Камин» — 1947; «Из смиренья не пишутся стихотворенья...», «Балерина», «В чем убедить ты стареющих...» — 1948; «Костер» («Чего только кажется...»), «И вскользь мне бросила змея...», «Богатый нищий» — 1949; «Клинок», «Удача» («Жизнь моя все короче, короче...»), «Усталость» — 1950; «Ночные звуки», «У ночи — мрак...», «Листья» («Они лежали на панели...») — 1951.

Эти даты, по всей вероятности, удивили многих. Не меньшее удивление, я уверен, вызовут — когда мы их дождемся — датированные собрания сочинений поэтов так называемого «третьего» поколения — таких, как В. Боков, Н. Глазков, Вл. Львов, А. Межиров, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Н. Тряпкин и другие.

Окажется, что послевоенное десятилетие с точки зрения поэзии не только не уступает последующему, но и... Впрочем, не будем гадать, прежде нужно бы составить антологию из всего лучшего, что создали тогда наши поэты.

Я хочу сказать о другом — о том, что в лучших стихах тех лет воплощена та глубокая убежденность, та вера в необходимость и ценность поэтического творчества, о которой идет речь. В «философских» вещах Заболоцкого, в «Стихах из романа» Пастернака, в наиболее значительных стихотворениях о минувшей войне тогдашней поэтической молодежи есть та очевидная «интонация необходимости», недостаток которой остро ощущается теперь. Назову хотя бы такие стихи, как «Приближался апрель к середине» Заболоцкого (1948) и «Воспоминание о пехоте» Межирова (1954).

Я не знаю, как могут и должны в наши дни поэты преодолевать эту — сравнение тут уместно — *сердечную недостаточность*. Но я считал уместным просто выразить свою тревогу на страницах «Дня поэзии».

# Михаил Львов Владимир Цыбин

## МИХАИЛ ЛУКОНИН

Исполнилось пятьдесят лет Михаилу Луконину.

Фронтное поколение советских поэтов прочно и навсегда вошло в литературу, в историю литературы, в историю нашей поэзии и в историю самой нашей жизни. Имена представителей фронтного поколения сейчас хорошо известны и молодым и старым нашим читателям, и в нашей стране и за ее рубежами. Мы были буквально потрясены, когда мэр города Жерармер — во Франции, в Лотарингии, — принимая у себя советских туристов, прочитал стихи Михаила Кульчицкого на французском языке. Стихи Кульчицкого — нашего товарища и ровесника — дошли до Вогезов! Они перешагнули и океан! Имена Николая Майорова, Павла Когана и Михаила Кульчицкого стали легендой в глобальных масштабах!

Герой стихов Михаила Луконина пришел с войны победителем — не зазнавшимся триумфатором, не воякой, совершившим удачный поход, а человеком серьезной, глубокой судьбы, выстрадавшим победу, победившим в войне и физически и морально. Пройдя нелегкие испытания, боль отступления, ранения, потери друзей, он закалился и еще более укрепился в своей вере в Жизнь, в Людей, в Родину. Он не был раздавлен войной, тяжестью ее:

В этом зареве роковом  
Выбор был небольшой.  
Но лучше придти с пустым рукавом,  
Чем с пустой душой.

Окончилась война. Как жить дальше? — этот вопрос встал перед миллионами людей. И — появляется стихотворение, которое помогло многим разобраться в происходящем, решить для себя — снова! — главный вопрос, один из главных вопросов:

Нам не речи хвалебные,  
Нам не лавры нужны,  
Не цветы под ногами,  
Нам, пришедшим с войны...

Стихотворение написано как решение задачи жизни, важнейшей задачи жизни в то

время, и написано великолепно, написано не просто пером, а всей судьбой и биографией человека.

...Истинный талант всегда мужествен. Он не утешает читателя, не обманывает его, не усыпляет приговорами, прибаутками, хождением вокруг да около, не убаюкивает красивой ложью. Таков талант Михаила Луконина. Поэт говорит читателю правду и вооружает его для жизненной борьбы, для труда, для творчества, для счастья.

Биография Луконина начала обогащаться жизнью и стихами еще давно. Сталинград. Тракторный завод. Учеба в Литературном институте — сначала заочно, потом на очном отделении. Финская война, куда он юношей ушел — добровольно. Уже после финской войны он опубликовал стихотворения, которые сразу же обратили на себя внимание литературной общественности. Пока что только литературной. И может быть, части молодежи. Это были очень живые, молодые стихи. Война, любовь, жизнь, смерть, любимая и Родина — все сплелось в один веночек, называемый жизнью. Эта жизнь ставила перед юношей множество загадок. И манила. Он еще мало в ней разбирался — еще нет у него в стихах таких умудренных жизненным опытом мужественных выводов, как в стихах периода Отечественной войны. Но он любит ее, и он очень внимателен к ней, к жизни. Много видит. Он — наблюдатель на фронте. И в жизни он — еще больше наблюдатель:

В жизни я наблюдать любил...  
Жизнь понравилась мне и ты,  
Книжеч тоненькие листы,  
Площадь Пушкина и мосты...

Позднее — после войны 1941—1945 годов — он уже не скажет: «жизнь мне понравилась». Нет, он уже возьмет ощущения, понятия большие. Он уже за эту жизнь пролил кровь, перенес многое, и теперь сказать о жизни, что она ему нравится, — будет слишком мало... Но мы еще — в сороковом году. Поэт еще юноша. Находящийся где-то между книгами и жизнью. Еще для него война

была в дымке книжных представлений, и только первые испытания первой войны подведут его к тому, что он больше и глубже начнет ценить человеческие отношения, — оказывается, все это очень дорого, а юность еще не знает, не ценит этого; как ребенок к материнской заботе, он привык к тому, что вокруг него много хорошего — в родных, в друзьях, в ласке, в любви. Он любит жизнь опьяняющей любовью молодого нерастраченного сердца:

Прекрасно, заманчиво дело —  
Хмельное занятие — жить!

...Начинается Отечественная война. Луконин с первых дней — на фронте. Он — вместе со своим поколением. О своей военной биографии он сам хорошо рассказал в поэме «Дорога к миру», ее герой прошел путь от горьких дней сорок первого года до победного мая сорок пятого. Луконин — поэт-новатор, вы не найдете у него избитых штампованных фраз, образов, сравнений. Все — свое, все найдено в живой жизни. И все подчинено главной цели — образ существует не ради образа:

Плотнее стянув непромокаемые обмотки,  
Автоматчики едут, не думая о простуде.  
Идут, покачиваясь, лобастые самоходки,  
Выпрямив указательные пальцы орудий.

Все здесь как нельзя на месте. Лобастые — речь идет о наших самоходках. О них сказано с любовью, как о людях, — они умные. Лобастые. (И внешне это верно. Точно увидено!) «Вытянув указательные пальцы орудий» — потому что они идут в наступление, указуют на врага грозящим, карающим жестом.

Другие образы находит поэт, когда описывает вражеские танки. Казалось бы, внешне танки, самоходки — и наши и вражеские — более или менее схожи. Но внутренне, по существу это — противоположные силы, светлое и темное. Поэтому и образы их, даже описание их «внешности» различно:

«Тигр» молчит, краснея от злобы,  
Уже ржавеет, дождями освистан.  
Как руку, завернул он свой хобот,  
Будто решил  
покончить самоубийством.

Образы у поэта — не равнодушные образы. Не объективистские. Это не фотография, а выражение внутренней сути описываемых явлений, вещей.

Еще в сороковом году на финском фронте Луконин писал:

Я бы всем запретил охать.  
Губы сжав — живи!  
Плакать нельзя!  
Не позволю в своем присутствии  
плохо  
Отзываться о жизни,  
за которую гибли друзья.

Это звучит современно и сегодня — как ответ некоторым забывчивым людям.

В дни войны и в дни мира поэзия Михаила Луконина, и душа, и мысли его — всегда находятся на передовой. Луконин в своих стихах всегда открывает новое, нужное, существенное и важное, и воздействие его стихов рассчитано надолго. Это — поэзия дальнего следования!

Стих Михаила Луконина исполнен высокого внутреннего драматизма. Это не рассказ, не повесть, не просто лирическое самоописание, — это мужественный монолог, когда слова как бы теснят друг друга, одна мысль перебивается другой, когда торопливость, идущая от нестерпимой необходимости, сменяется медленным жестом, и все подчинено неукротимому желанию — сейчас же, немедленно высказаться до конца, без пауз, без передышки. Вот почему пауза в луконинском стихе наступает только тогда, когда у поэта перехватило дыхание, и порою кажется, что все стихи Михаила Луконина — из какой-то большой поэтической пьесы:

Друзья боевые,  
Я видел, вас помню, —  
И нежными помню, и грозными  
На перекрестке дорог.  
Все остались под фанерными  
звездами.

Хожу по вашей земле,  
повернувшейся к маю.  
Грузины, с войны не пришедшие, —  
Вас вспоминаю.

В суровом, как фронтовой окоп, изломе, в самом рисунке луконинского стиха угадывается поэтическая воля. Это волевой стих, не любящий внешней стройности, стих свободный для слов, не регламентированный, когда строка в зависимости от наличия материала то вдруг растягивается, то вдруг концентрируется в одно единое слово.

Новые книги Михаила Луконина, как и прежде, — об испытаниях. Испытание верностью, испытание на разрыв, испытание вершинной славой, испытание дорогой. Эта



обойтись и поэту-профессионалу, и каждому, кому дороги судьбы поэзии, кто хочет иметь о ней углубленное, всестороннее знание.

Эта книга не создана для увлекательного чтения. Она требует усидчивого штудирования ее с карандашом в руке; и в то же время она, при углубленном знакомстве с нею, способна зажечь и увлечь дотошного, вдумчивого читателя. Она вносит новое слово в наши познания истории и практики русского и мирового стиха. Русские советские поэты старшего поколения обучались в начале двадцатых годов технике стихосложения по прекрасной и обстоятельной для своего времени книге Н. Шульговского «Теория и практика поэтического творчества. Технические начала стихосложения» (СПб., 1914). Теперь эту книгу днем с огнем не сыщешь! Да она уже и устарела, восходит к символизму и другим изжитым литературным течениям предреволюционной поры.

Подвижнический труд А. Квятковского углубляет, расширяет и предельно осовременивает пособия такого рода.

Тем самым книга А. П. Квятковского требует и особого разговора-беседы. Она будит разные мысли; ведь она не просто перечень сведений о русском и всечеловеческом стихе. Она боевито ставит новые вопросы в области поэзии и дает ответы на них! Книга добрая — и полна воинствующего начала. Тем самым она живая, а не сухой академический словарь. Новое слово она вносит не столько в понимание поэзии, сколько в понимание природы русского стиха и законов управления «стихов российских механизма» (А. Пушкин). Это не мертвые, застывшие, закостеневшие догмы «стиховедения»; это, наоборот, вызов, война закостенению, дерзостная попытка создать новую теорию и практику русского современного стиха, на основе преемственности с предшествующим его историческим развитием.

Труд А. П. Квятковского предельно проясняет то, что мы знаем только смутно и общо. Что такое стих? — ставит вопрос А. Квятковский — и отвечает: греческое слово «стихос» означает «ряд», «порядок». Спасибо! А. П. Квятковский напомнил то, что мы часто забываем или — еще вернее — не знаем. Да, стих — это порядок, строгая соразмерность: это порой чистая математика, если брать классический размер и разлагать его на составные ритмические доли; это —

как челнок,двигающийся туда и сюда по строго определенному, закономерному порядку.

У русского народа, правда, есть чудесная замена этому сухому понятию: «стих — это порядок»; народ говорит — «складность». У нашего народа стих должен быть прежде всего складным; если нет складности — нет и стиха! Так просто, так точно и неопровержимо правильно укладывает в одно слово и угадывает наш народ то, что называется стихом, хотя он — народ — и не проходил литературных премудростей.

«Было время поисков новых стиховых форм», — говорит автор книги. ...И опять эти поиски! Никуда от них не денешься. Надо искать. Еще Н. Г. Чернышевский говаривал, что надо раздвигать рамки русского канонического стиха, уже к той поре достаточно затвердевшего, закостеневшего, и, в частности, надо раздвигать пределы и для русской рифмы. Границы для нее оказались сравнительно узки — и Н. Г. Чернышевский, один из первых, заговорил о приблизительных звуковых повторах (ассонансах), имея в виду богатый вековой опыт русской народной поэзии. Н. Г. Чернышевский внушал: чем не новые рифмы и не новые звучания такие народные повторы в пословицах и поговорках: «Мирская молва что морская волна»...

Очень хорошо и четко сказано А. Квятковским: «Отказ поэта (В. Маяковского) от общепринятых стиховых размеров, закостеневших в своей обыденности, и переход на рифмованный свободный стих дал возможность Маяковскому с неслыханной силой выдвинуть на первый план самое важное в новом искусстве — его новое содержание». «Подземные, подспудные пласты народной и авторской поэзии» — вот что проследил в своем исследовании А. П. Квятковский. Это все верно. Мы должны благодарить автора.

Квятковский борется за расширение и обновление русского стиха, за выявление и утверждение новых законов его построения, исходя из самой природы русского языка и русской устной поэзии. То, что сказано о русской народной песне (исключая сопоставления ее с верлибром), о нашем народном эпосе, надо особенно выделить в работах А. П. Квятковского; в этом следует видеть главную ценность его изысканий и исследований. Он блестяще развил и доказал первородность ритмики русской народной

песни и поэзии, показывая на примерах, как безошибочно, искусно, складно угадан и выработан народом ритм стиха, самобытного и ни с чем не сравнимого, ни с каким верлибром (последнее мы утверждаем уже вопреки А. П. Квятковскому!). Вот где надо и у кого надо учиться нам — поэтам! «Мы ходим по родной земле, не подозревая о том, какие сокровища таятся под ногами у нас» — так вы утверждения и мысль А. Квятковского. Мысль здравая и счастливая!..

«За двести лет поэзия ушла далеко вперед, — настойчиво, непримиримо-воинственно укрепляется на этой своей позиции А. Квятковский и продолжает: — теория же застряла на месте и продолжает с серьезным видом играть в детские кубики ямбов и хорея...»

Вот каким взрывчатым содержанием наполнена эта книга с таким внешне спокойным академическим заглавием — «Поэтический словарь»! Но это и обширная сумма знаний по теории и истории русской и мировой поэзии, при всей сжатости изложения. Поистине энциклопедия стиха!..

Если книга Н. Шульговского «Теория и практика поэтического творчества» отражает в основном развитие русской поэзии эпохи символизма, футуризма и других предреволюционных течений в литературе, почему в качестве примеров обильно приводятся стихотворные строки виднейших поэтов того времени — В. Брюсова, Вяч. Иванова, К. Бальмонта, И. Северянина и других, то

«Поэтический словарь» А. Квятковского подкрепляет свои утверждения стихотворными строчками самых ультрасовременных молодых, «модных» или «спорных» советских поэтов, как Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и другие, равно как советских поэтов-классиков — В. Маяковского, С. Есенина, Н. Тихонова, Б. Пастернака, С. Маршака, Н. Ушакова, А. Твардовского, М. Светлова, В. Луговского и многих других, что вполне закономерно, обогащает и освежает книгу, вселяет в нее «душу живую». Каждый, читая и изучая «Поэтический словарь» (а не изучать его нельзя!), скажет, что книга эта — детище середины XX века; так будут ее воспринимать и будущие поколения... И если она рождает разные мысли, побуждает даже вступать с нею в горячий нешуточный спор (есть даже сторонники утверждения, что она — «энциклопедия формализма»; но мы — не из их числа!), то уже и в этом ее большая заслуга.

Практическое же значение и ценность «Поэтического словаря» несомненны. Без этой книги теперь действительно уже не обойтись каждому грамотному человеку, и, как справедливо говорит в своем предисловии сам автор, она будет «служить справочником для всех, кто интересуется искусством поэзии, — будь то литературовед или преподаватель литературы, писатель или студент-словесник, известный поэт или начинающий стихотворец».

## Варлам Шаламов

### ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ АКАДЕМИИ НАУК

В 1861 году бывшие царскосельские лицеисты, отмечая пятидесятилетие Лицея, где учился Пушкин, организовали Комитет по сбору средств на памятник поэту. Добровольные пожертвования, в которых приняла участие вся Россия, значительно превысили требуемую для постройки памятника сумму в сто тысяч рублей. В 1880 году опекунский памятник был поставлен на Тверском бульваре в Москве. По выражению академика Я. Грота, средств было достаточно «на прославление поэта двояким памятни-

ком: вещественным в Москве и литературным в Петербурге, в Академии наук». Оставшиеся деньги, двадцать тысяч рублей, были переданы Академии наук с тем, чтобы на проценты от этих денег была учреждена Пушкинская премия. Правила были утверждены 17 августа 1881 года (изменены с 1895 года). Сначала раз в два года, потом ежегодно, а с 1895 года по нечетным годам Академия наук присуждала одну тысячу рублей. Эта тысяча рублей была полной премией или делилась на половинные, по пять-

сот рублей. Отделение русского языка и словесности Академии наук имело право выдавать поощрительные премии в триста рублей (отменены с 1895 года). Труды автора могли отмечаться почетным отзывом. Неприсужденные премии не присоединялись к основному капиталу — они могли быть присуждены в конкурсах будущих лет. В 1895 году этот пункт правил был изменен — не выданные вовремя деньги включались в основной капитал и в дальнейшие годы не присуждались.

Каждый автор сам представлял свои работы на конкурс.

Отделение русского языка и словесности Академии наук составляло (каждый раз особо) Комитет для присуждения премий. Помимо академиков почетных и ординарных в него входили приглашенные «со стороны» литераторы. Члены Комитета и были рецензентами представленных сочинений. На каждое сочинение представлялся подробный разбор-отзыв, иногда весьма значительный по объему — более печатного листа.

Премия присуждалась за литературные произведения трех родов:

а) ученые сочинения по истории народной словесности, истории русской, а также и по иностранной литературе, «насколько таковая имела влияние на отечественную в означенном пространстве времени»;

б) произведения изящной словесности в прозе или стихах, отличающиеся внешними художественными достоинствами;

в) обстоятельные критические разборы.

Переводы оценивались наравне с оригинальными сочинениями. Первый конкурс был объявлен в 1881 году. 19 октября 1882 года академик Грот прочел первый отчет. В качестве «посторонних лиц» в Комитет Академии наук вошли Н. Д. Ахшарумов, Ф. Ф. Миллер, И. А. Гончаров и Н. Н. Страхов.

Из представленных на конкурс четырех сочинений удовлетворяющими правилам и достойными полной Пушкинской премии признаны два — поэма Аполлона Майкова «Два мира» и сборник стихов Якова Полонского «На закате». О последнем рецензент (Ф. Ф. Миллер) выразился так:

«Думается, что тень Пушкина благосклонно взглянула бы на увенчание премией поэтического «Заката» Полонского, купно с его поэтическим днем».

Обоим лауреатам были присуждены половинные премии.

В дальнейшем Комитет по Пушкинским премиям часто практиковал награждение половинными премиями вместо одной полной.

Так, в 1903 году Иван Бунин представил на конкурс свой «Листопад» и знаменитый впоследствии перевод «Гайаваты» Лонгфелло. Бунин получил половинную премию, так же как и П. А. Вейнберг — известный переводчик Гейне.

В 1909 году Бунин разделил премию с Куприным.

В 1888 году половинной Пушкинской премией был награжден Чехов, представивший сборник «В сумерках» (рецензент академик А. Ф. Быков). В своем отзыве рецензент писал:

«Рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют, однако же, выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе».

Мнение и аргументы рецензента не всегда одобрялись членами Комитета. Баллотировка была закрытой. В 1909 году «августейший» рецензент К. Р. дал разносный отзыв о сборниках стихов и рассказов Бунина (тома 3 и 4 полного собрания сочинений), указывая на «туманность образов», «отсутствие логики», уверяя, что ряд стихов Бунина недоступен пониманию читателя. Возмущение рецензента вызвало выражение поэта «жестокий» по адресу бога.

Рецензия была обширной, и автор ее заключал, что Бунин недостоин Пушкинской премии. Следует помнить, что великий князь Константин Романов (К. Р.) был председателем отделения русского языка Академии наук.

Закрытой баллотировкой Комитет присудил премию именно Бунину (пополам с автором «Поединка» Куприным).

Кстати, в этом же заседании К. Р. усиленно рекомендовал стихи некоего Рудича, которые, по мнению К. Р., «безусловно достойны увенчания Пушкинской премией».

Последнее присуждение — 23-е — состоялось в 1919 году. На нем полная Пушкинская премия была присуждена В. В. Вересаеву за перевод Гезиода: 1) «Работы и дни», 2) «О происхождении богов». Текст работы Вересаева был представлен на пишущей машинке. Рецензировал эту работу профессор Ф. Ф. Зелинский.

Так Пушкинская премия была присуждена в последний раз 6 декабря 1919 года.

На XI заседании Общего собрания Российской Академии наук «непременный секретарь» (академик С. Ф. Ольденбург) читал:

«Опыт последних двух лет показал, что, со времени национализации капиталов Российской Академии наук, выдача премий стала совершенно невозможной, притом и работы на соискание премий почти не представляются авторами. Ввиду сего казалось бы правильным отменить на 1920 год конкурсы по соисканию премий.

Положено отменить все конкурсы на соискание академических премий в 1920 году с тем, чтобы в конце 1920 года Непременный Секретарь вновь запросил указаний Общего Собрания по этому предмету, в связи с состоянием к тому времени капиталов по премиям».

ПОЛНЫМИ Пушкинскими премиями за 37 лет (с 1882 по 1919 год) были награждены: А. А. Фет (за перевод Горация), Л. Н. Майков (за издание сочинений Батюшкова), А. А. Голенищев-Кутузов (за собрание стихотворений), Де ла Барт (за перевод «Песни о Роланде»), А. А. Соколовский (за перевод всех сочинений Шекспира), Д. Мин (за перевод «Божественной комедии» Данте), Н. А. Холодковский (за перевод 1-й и 2-й части «Фауста» Гёте) и В. В. Вересаев (за перевод Гезиода — «Работы и дни» и «О происхождении богов»).

Половинные Пушкинские премии были выданы: Ап. Майкову (за поэму «Два мира»), Я. Полонскому (за сборник стихов «Закат»), С. Юрьеву (за перевод «Макбета» Шекспира), Н. П. Семенову (за перевод из Мицкевича), С. Я. Надсону (за собрание стихотворений), А. П. Чехову (за сборник «В сумерках» в 1888 году), М. И. Кудряшову (за перевод «Песни о Нибелунгах»), Д. Л. Михаловскому (за перевод двух трагедий Шекспира), Я. П. Полонскому (за сборник стихов «Вечерний звон»), Д. П. Аверкиеву (за сочинение «О драме»), П. А. Вейнбергу (за перевод «Марии Стюарт» Шиллера), Головину (за исследование «Русский роман»), К. Станюковичу (за «Морские рассказы»), О. Чюминой (за перевод Милтона), И. Бунину (за «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»), П. Вейнбергу (за переводы Шиллера и Гейне и редактирование сочинений Гейне),

Мирре Лохвицкой (за 5-й том ее стихотворений), О. Чюминой (за перевод Данте), А. Куприну (за рассказы и повесть «Поединок»), И. Бунину (за 3-й и 4-й тома сочинений), И. Пороховщикову (за книгу «Искусство речи на суде»), П. Щеголеву (за очерки о Пушкине), Свириденко (за перевод «Песни о Сигурде»).

Поощрительные премии (300 рублей) присуждались: В. И. Саитову (за работу по подготовке к изданию сочинений Батюшкова), Л. П. Бельскому (за перевод «Калевалы»), В. С. Лихачеву (за переводы из Мольера), И. Н. Потапенко (за «Повести и рассказы»), Л. И. Поливанову (за перевод Расина).

Почетными отзывами были награждены: переводчик В. С. Лихачев (перевод «Тартюфа»), П. А. Козлов (перевод «Дон-Жуана» Байрона), Шляпкин (издание сочинений Грибоедова), А. Д. Львова («Поэмы и песни»), А. М. Жемчужников (стихотворения), Д. Н. Цертелев (стихотворения), Л. И. Поливанов (перевод «Мизантропа» Мольера), К. Баранцевич (за роман «Две силы?»), Луговой («Рассказы»), К. Случевский, Л. Поливанов (перевод «Федры»), М. Лохвицкая («Стихи»), П. Якубович (стихотворения), Стешенко (работа «Котляревский»), В. Льдов (сборник стихов «Отзвуки»), Гальковский («Сербский эпос»), Ф. Зарин (стихотворения), А. Навроцкий (драмы), В. Лихачев (перевод двух трагедий Шекспира), Милицына (рассказы), А. и П. Ганзен (перевод Ибсена), Б. Лазаревский (рассказы), Н. Тхоржевский, Хвостов (сборник стихотворений «Под осень»), М. П. Чехов (брат А. П. Чехова, получил почетный отзыв за книгу «Очерки и рассказы»), О. Чюмина (перевод «Королевской идиллии» Теннисона), В. Рудич (за сборник «Новые стихи»), Ю. Айхенвальд (за «Силуэты русских писателей»), Волкович (за «Стихи и повести»), Северцев-Полилов (книга «Наши деды-купцы»), О. Чюмина (переводы из Леконта де Лиля), В. Шуф (сонеты «В край иной»), Л. Федоров («Стихи и проза»), Т. Щепкина-Куперник («Сказание о любви»), А. М. Федоров (книги «Жатва», «Утро»), С. Дрожжин («Песня старого пахаря»), В. А. Мазуркевич (стихотворения и поэмы), Н. А. Крашенинников («Амеля»).

Дважды отмечались Пушкинскими премиями поэты И. А. Бунин, Я. П. Полонский, переводчики П. А. Вейнберг и О. Чюмина.

Большинство Пушкинских премий выдано за стихотворения. Удельный вес прозаиков меньше. Значительно место переводов: из восьми полных Пушкинских премий шесть присуждено за переводы и ни одной полной премии не выдано за прозу.

Станным сейчас выглядит награждение полной Пушкинской премией поэта А. А. Голенищева-Кутузова. Всего одно поколение понадобилось, чтобы этот лауреат был все забыт, — он даже для литературоведов не представляет интереса.

Большинство имен поэтов, награжденных почетными отзывами Академии наук, широкому читателю вовсе неизвестны: Д. Цертелев, В. Льдов, Ф. Зарин, Хвостов, В. Рудич, Волкович, В. Шуф, А. Федоров.

В половинных Пушкинских премиях удельный вес прозы больше, но тоже уступает стихам и стихотворным переводам.

Исследовательские работы награждены лишь три (Аверкиева, Щеголева и Головина).

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. НОВОЕ

- А. Яшин. Из книги «День творенья». Мы были молодцы. Чего еще сердце просит? С добрым утром! Там небо выше. Эко дело! «Я обречен на подвиг...». Перед исповедью. Свое добро. Последняя глава (5—9).
- Л. Татьяначева. Лишь цвело бы мое Отечество (10).
- А. Твардовский. Памяти Гагарина (10).
- Н. Грибачев. Из размышлений. 1. «Было — горе, были — мор и голод...». 2. «Мы все из атомов...». 3. «Седлай, рассвет, зеленого коня...» (11—12).
- В. Туркин. Петрищево (12).
- М. Луконин. Обугленная граница (13).
- М. Алигер. Воспоминание о Париже. 1. Каждый вечер. 2. Стихи Доменик. 3. Всю ночь. 4. «Мистраль» (16—18).
- А. Алдан-Семенов. Бессонница странствий. «Ежевика над сонной Тарусой...» (19).
- Б. Ахмадулина. Дождь и сад (19).
- Э. Балашов. «День сегодняшний только мой...» (20).
- Я. Беллинский. Потолки (21).
- И. Бауков. Молодость прошла на Днепрострое (21).
- М. Беляев. Слово о ливенской воде (22).
- Е. Благинина. Старики. Мне жаль. Твист. Мадонна. Дароносица (23—24).
- В. Боков. Родина моя — бугры да кочки. Снега России. Слово в день своего рождения (24—25).
- А. Брагин. «В войну мне выдали бесплатно...». «Отца забрали на войну...» (26).
- В. Бурч. «Удивительно, что я делал...» (27).
- Н. Букин. Баллада о встрече с землянкой (28).
- Н. Бялосинская. Элегия (28).
- К. Ваншенкин. «Пусть не везет, пусть отвернулось счастье...». Одинокая. Беда (29).
- Л. Васильева. Иней (30).
- Вегин. Сиреневая ночь. В сорок шестом (30).
- Винокуров. Монгол в Кракове. «Я понимаю все как есть...». Жест. Полемика с веком (31—32).
- И. Волгин. «Сойди у Покровских ворот...». «Все пройдет. И останутся только...» (32).
- И. Волобуева. Ленин. Муром (33).
- Н. Глазков. Красные цветы. «Я с детства не любил лото...» (34).
- А. Говоров. «Лань пугливая, свет печальный...» (34).
- Д. Голубков. Музыка (35).
- Ю. Гордиенко. «Беспокойный сосед...» (35).
- А. Горюшкин. Переправа. «И снова со скрипом качнулись весы...» (36).
- О. Дмитриев. Колодец. Прохожий. Две работы (37).
- Н. Доризо. «Выходит возраст мой на линию огня...» (38).
- С. Дрофенко. «Ровесник живет в Костроме...». «Ударили к ночи морозы...». «День долог, а ночь коротка...» (39—40).
- Евг. Ветушенко. «Цвет статуи Свободы...» (40).
- Г. Еремеев. Опавшие листья. На Чистых прудах (41—42).
- А. Жигулин. «Иду в полях, куда — не знаю...». В больнице. «Вот и снова мне осень нужна...». «Душой распахнутой приемлю...». «Заколоченные дачи...» (42—43).
- Т. Жирмунская. В отделе рукописей (44).
- А. Заяц. Слова. Футбол (44—45).
- Л. Завальнюк. Облепиха (45).
- В. Звягинцева. «Я любила земли другие...». «Разбушевалась планета...». «О, как говорят над могилой...» (46).
- М. Зенкевич. Чудо Грузии. Иван Грозный и Петр Первый (47).
- Н. Злотников. «Ради этого длинного дня...». «Моя тоска по Украине...». «Движение и шум толпы...». Пречистенка (47—48).
- Ф. Искандер. Дом моего деда. Разлука. «Сирень и молнии и пригород Москвы...» (49—50).
- Р. Казакова. Слова (51).
- А. Кафанов. «Я не знаю, может, отменили...» (51).
- И. Кашежева. Последняя ночь (52).
- Д. Ковалев. Солнечные снега. Недолгий день. Вода горит (52—53).
- А. Коваль-Волков. Моряк с «Авроры». Сыну (54).
- Я. Козловский. «Как ждут погоды под дождем...» Заимодавцы (54—55).
- А. Кондратьев. «Какие добрые снега...». «Невзначай, по прихоти судьбы...» (55).
- Н. Коржавин. «Видать, была любовью...». «В Кишиневе снег в апреле...» (56).
- А. Коркина. «Мы встретились с подружкой...» (57).
- Г. Корин. «Хорошо ели летчики на войне...» (57).
- В. Костров. «Землею пустынной, сырою...». «Встань к Уралу лицом...» (58).
- А. Кронгауз. Битники (59).
- Э. Котляр. Якиманка. Сирена. «Моя телефонная трубка...» (59—60).
- В. Кузнецов. Сокол. Город-лес (60).
- С. Кузнецова. «Заря на снега не брызгала...» (61).
- Т. Кузовлева. «Ночь майская темным-темна...» (61).
- С. Куняев. «Стадион, золотая пора...». «Еще осталась тишина...». «Голубь ворочается в гнезде...» (61—62).
- Ю. Левитанский. Из книги «Кинематограф». Время, бесстрашный художник... Как показать осень (63).
- С. Липкин. Впечатления от одной поездки. Памятное место. Зола. Отстроенный город. Союз. Ночи в лесу (64—65).
- И. Лиснянская. «Горела свеча...». «Моя работа бедная!» (66).
- М. Лисянский. Яблоки (66).
- В. Лифшиц. Баллада о последнем уроке (67).
- Е. Лучковский. «Подсолнечник косынкой желтой...». «Приходи — открою двери...» (67—68).
- М. Львов. Мое лицо. В ресторане «Юрас Перле». Прощание с молодостью (68—69).
- С. Марков. «Овидий знал наречья скифов...». «Я вспомнил Север...». «Дни мои прошумели...». Змея. Кыпчаки (70—71).
- Л. Мартынов. Птица Сирин. Пряжки. Яблоко. Рифма. Явление зимы (71—73).
- Н. Матвеева. Сонеты. Тайна мастерской. Смех Фавна (73—74).
- Ю. Медведев. Карьера (74).
- А. Межиров. «Парк культуры и отдыха имени...». «Как я молод — и страх мне неведом...» (75).
- В. Михалев. Подарок (75).

- Ю. *Мориц*. Пять стихотворений о болезни моей матери (76).
- С. *Наровчатов*. Последняя строка (77).
- Л. *Наптельбаум*. Озеро. «Бытие ландшафтов и племен...» (79).
- А. *Николаев*. Ликбез. Календарь (80–81).
- Е. *Николаевская*. Звонарь (81).
- Л. *Озеров*. В мастерской скульптора (82).
- В. *Павлинов*. Сочувствие Фаддею Булгарину (82).
- Н. *Панченко*. Стихи мгновенья (83).
- А. *Передерев*. «Когда луна над нами встанет...». Станция Самашки. «Разбуди эту землю, весна...». «Когда весь мир перед его трудом...». Памяти поэта. Песня (84–85).
- С. *Подделков*. Поэзия. «Дни теплились — и осень шла едва...» (86).
- С. *Поликарпов*. «Теплый свет настольной лампы...». «Нахохлившись, как раненая птица...». Инок Епифаний (87).
- А. *Поперечный*. Железные матросы. Порт (88).
- Э. *Портнягин*. Учительница. Холм славы, 1945 (89–90).
- О. *Постникова*. «И стать босою и давнишней...» (90).
- А. *Преловский*. Полжизни. Петр Алексеевич Анисимов. Поэт (91–92).
- Б. *Примеров*. «Вошел я в совершенные лета...» (92).
- Б. *Пуцыло*. «Углублены спокойные протоки...» Ожидание. (93–94).
- В. *Рабинович*. «В прекрасном и яростном мире...». «А на дворе прощанье мая...» (94–95).
- И. *Ринк*. Мой генерал (95).
- Р. *Рождественский*. «Над камином стучат ходики...» (96).
- Н. *Рубцов*. У размытой дороги. Последний путь (97).
- В. *Савельев*. «Облезлый шкаф...» (98).
- И. *Савельев*. «Гляди и принимай как есть...» (98).
- Д. *Самойлов*. Ночной сторож. Фейерверк. (99–100).
- Г. *Семенов*. Грачи. С английского (100–101).
- М. *Скурагов*. Пьяный Бык (101).
- Б. *Слуцкий*. «Силу тяготения земли...». Песня для старика. «Письма пишут сыновья родителям...». Цветы. Искра. «Я зайду к соседу...» (102–103).
- Я. *Смеляков*. Образование. Юрий Гагарин. Желтая кофта. Степное стихотворение. Мартин Лютер. (104–105).
- Л. *Смирнов*. Погрузка лимонов (106).
- А. *Смольников*. Последняя встреча (106).
- М. *Соболь*. Перед атакой. «Постарел я, все иначе вижу...» (107).
- В. *Соколов*. «И самый юный в мире дождь...». «На влажной планке ограды...». «Все чернила вышли вся бумага...». «Скоро — черные, сырые...». Шадринск. «Нужно плотно прижаться лицом к стеклу...» (108–111).
- В. *Солоухин*. «От меня убегают звери...». «Жизнь моя, что мне делать с нею...» (111–112).
- А. *Стройло*. Если вы потеряли друг друга (112).
- Д. *Сухарев*. Ужин. «На смиренной лошади каурой...» (113).
- Т. *Сырышева*. «Казалось, я не жила...». «Руки хирурга к моей прикасались судьбе...» (114).
- А. *Тарковский*. «Лиловая в Крыму и белая в Париже...». Восьмистишья. «Струнам счет ведут на лире...». «Пляшет перед звездами звезда...» (115–116).
- М. *Терентьева*. Встреча с юностью. Сад (116–117).
- Д. *Терещенко*. Любовь. Ведь я с Магнитки. «Я услышала зов...». «Звучит во мне твое «Приду»...» (117–118).
- Н. *Тряпкин*. «Когда мой дед оплакивал коня...» (119).
- Н. *Ушаков*. Поэзия. Под голубыми парусами (119–120).
- Ф. *Фоломин*. Постоялец. «Выцветали красками солнечные фрески...» (120–121).
- И. *Федорин*. «Всё руки бабки предо мной снуют...» (121).
- И. *Френкель*. «Из земли — хоть в стужу да наружу...». Старые стихи (122).
- И. *Харабаров*. «Мне скоро тридцать...» (123).
- Я. *Хелемский*. «То воспряну, то пригорюжусь...». «Вновь недоспал я... Опять спозаранок...». Из фронтовых записей (123–124).
- Е. *Храмов*. Любовь. «Вселенная безмерно расширяется...» (125).
- В. *Цыбин*. «И хочется рано проснуться...». «Посреди лесной глуши...». Подснежник. «Ушла. Мимо жизни моей промелькнула...» (125–127).
- Ф. *Чуев*. «Солдаты хоронили генерала...». «Как прожить и прекрасным остаться?...». «Уже дымитесь запоздалый ужин...» (128).
- О. *Чухонцев*. Осенины. «А в нашем саду поселились вороны...». В грозу (129).
- Ю. *Шавырин*. Провинциал. «Сугробов холодную пену...» (130).
- В. *Шаламов*. «Я северянин, я ценю тепло...». «Твой дед и прадед — плугари...». Мария Кюри. «Не в пролитом море чернил...». Ястреб. «Птица спит, и птице снится...». Таруса. «Нет, память не магнитофон...». «Ощутил в душе и теле...» (130–132).
- И. *Шкляревский*. Партизанская роща. Хохот 48-го года. «За лесопилкой и болотом...». «Спасибо тебе, Елена...». «Ты хлюпаешь в город по грязи...». «Год 52-й...» (132–134).
- С. *Щипачев*. Крылья. Спит женщина (134).
- Н. *Эскович*. Памятник в Старой Рузе. Зеленая роща Мурат и вечность (134–135).

## ПАРОДИИ

- Ю. *Левитанский*. Вышел зайчик погулять. Сто двадцать лет спустя... (Михаил Светлов). Баллада о зайце Роуфе, охотничьем сыне Баграте, чурке и чебуреке (Фазиль Искандер). Песенка о факире Абу-Закире (Новелла Матвеева). Я помню, за окошком дождик лил... (Степан Щипачев). По угорью, по заречью... (Александр Прокофьев). Яр-пар. Из книги «Сыр-бор» (Виктор Боков) (136–138).

## 2. АНКЕТА «ДНЯ ПОЭЗИИ»

- Нам отвечают: Л. Аннинский, В. Гусев, Е. Ермилова, В. Кожин, Д. Ковалев, С. Лесневский, А. Михайлов, И. Мотяшов, Е. Осетров, Д. Стариков, А. Тарковский. Письмо Александра Яшина (141–150).

## 3. КРИТИКА, ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ

- В. *Перцов*. «Слово — полководец человеческой силы» (153).
- А. *Безыменский*. Страница воспоминаний (155).

- Н. Харджиев.* Из материалов о Маяковском (156).
- В. Шершеневич.* Из воспоминаний о Маяковском (Вступление Н. Реформатской) (161).
- Н. Асеев.* Светлый день. «Дорогая моя дорогиня...». «Ты забыла зарю на снегу...» (163—164).
- А. Ахматова.* «Если б все, кто помощи душевной...». «Где-то ночка молодая...». «Привольем пахнет дикий мед...» (165).
- В. Инбер.* Михаил Светлов (166).
- Б. Шиперович.* Поэзия в жизни Николая Островского (168).
- И. Заболоцкий.* (Вступ. статья Н. Степанова). «Собор как древний каземат...» (отрывок). «Мир однолик, но двойственна природа...». Пастухи (отрывок) (171—172).
- Р. Шацева.* Пламенная песня (173).
- С. Подельков.* О Павле Васильеве (175).
- П. Васильев.* Прощание с друзьями. «Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала...». Лагерь. Дорога (отрывок из поэмы «Большой город» (176—179).
- Л. Озеров.* Памяти Ильи Сельвинского (179).
- И. Сельвинский.* Серебряная свадьба. Песня. Элегия (180—181).
- Н. Ушаков.* Игорь Юрков (182).
- И. Юрков.* Арабески. Тень рассказывает сказки. Рублев (183—184).
- В. Португалов.* Егор Оболдуев (185).
- Е. Оболдуев.* Осенний лес. Свет и тьма. Насечки (186).
- К. Некрасова.* Автобиография. Украинка. Огни. Девушка моего времени. Из детства. Отдых. «Из года в год хожу я по земле...» (187—189).
- Л. Славин.* Мужество Бориса Лапина (190).
- Б. Лапин.* Самарканд. Поступь коня. Сестра убитого комиссара (190—191).
- М. Цветаева.* (Вступление В. Швейцер). Из книги «Юношеские стихи». «Солнцем жилки налиты — не кровью...». С. Э. «Над Феодосией угас...».
- Из цикла «Подруга». «Даны мне были и голос любый...». «Что видят они? — Пальто...». Анне Ахматовой (192—195).
- К. Поздняев.* Иван Рогов (195).
- И. Рогов.* Далекой девчонке. Разрыв (196).
- В. Португалов.* Поэт из подмосковной деревни — Иван Пулькин (197).
- И. Пулькин.* Рыбалка (глава из поэмы «Луга»). Деревенский репертуар (глава из поэмы «Яропольская волость») (198—203).
- М. Соболев.* Борис Сибиряков (203).
- Б. Сибиряков.* Теремок (203).
- М. Зорин.* Русской песни запеваля (204).
- С. Смирнов.* Александр Шевцов (206).
- А. Шевцов.* Фрунзенский район. Кресты. Мир (207—210).
- В. Тушинова.* «В темных соснах замолчали птицы...». «Знаю я бессильное мученье...». «Дремлет стужа, сок из веток выжав...» (210—211).
- Л. Аннинский.* Об Александре Николаевиче Макарове (211).
- А. Макаров.* Семен Кирсанов. «Зеркала». Вера Звягинцева. «Вечерний день». Стихи. Михаил Скуратов. «На рубеже времен». Катиба Киньябулатова. «Травинка» (213—216).
- Г. Шенгели.* Встреча. «Он просиял над родиной унылой...». (216—218).
- С. Бобров.* «И новый Берингов пролив засинеет...» (218).
- Д. Голубков.* Пиитическая вольность (Заметки о книге стихов Сергея Маркова «Топаз») (219).
- А. Михайлов.* Еще раз о силе традиций (222).
- В. Кожин.* Убежденность поэта (227).
- М. Львов.* *В. Цыбин.* Михаил Луконин (229).
- М. Скуратов.* Разговор о «Поэтическом словаре» А. Квятковского (231).
- В. Шаламов.* Пушкинская премия Академии наук (233).

**ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1968 г.**

М., „Советский писатель“, 1968, 240 стр. Тем. план вып. 1968 г. № 154

Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор В. В. Медведев  
Техн. редактор Т. С. Ступникова. Корректоры: Л. И. Жиронкина и  
Л. К. Фарисеева

Сдано в набор 3/IX 1968 г. Подписано к печати 12/XI 1968 г.  
A09939. Бумага 84×108<sup>1/16</sup>, № 2. Печ. л. 15 + 1 накладка (25,62).  
Уч.-изд. л. 22,90. Тираж 75 000 экз. Заказ № 3088. Цена 1 руб. 86 коп.

Издательство „Советский писатель“. Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР.  
Москва, Ж-54, Валуевая, 28.

1 p. 86 к.

